АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В 1952 ГОДУ

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

3

МАЙ—ИЮНЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
МОСКВА—1976

СОДЕРЖАНИЕ

Ф. П. Филин (Москва), Ф. П. Сороколетов, К. С. Горбачевич (Ленинград). О новом издании «Словаря современного русского литературного языка» (в семнадцати томах) 3

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

Б. Н. Головин (Горький). Лингвистические термины и лингвистические идеи 20
А. В. Десницкая (Ленинград). О некоторых вопросах балканистики в связи с изучением карпатского лингвистического ареала 35
М. А. Кумахов (Москва). Теория генеалогического древа и вопросы дифференциации западнокавказских языков 47
А. К. Матвеев (Свердловск). Этимологизация субстратных топонимов и моделирование компонентов топонимических систем 58
Я. И. Рословец. О второстепенных членах предложения и их синтаксических функциях 74
Л. С. Бархударов (Москва). Проблема предложения в трактовке различных грамматических направлений 89

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

О. Д. Мешков (Москва). Заметки о композитной омонимии 101
Г. А. Отаина (Владивосток). Слова со значением качества в нивхском языке 107

ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ

Р. Р. Гельгардт (Калинин). Некоторые общелингвистические идеи и фольклористические интересы акад. Н. Я. Марра в освещении научной критики 118

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Рецензии

О. С. Ахманова (Москва). *H. Parret.* Discussing language 131
Д. М. Насилов (Ленинград). «Орфография тюркских литературных языков СССР» 137
Ю. М. Скребнев (Горький). «Русская разговорная речь» 140

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

А. Д. Швейцер (Москва). По поводу одной рецензии 145

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Хроникальные заметки 147

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

О. С. Ахманова, Р. А. Будагов, А. В. Десницкая, Ю. Д. Дешериев, Г. А. Климов (отв. секретарь редакции), *В. З. Панфилов* (зам. главного редактора) *Б. А. Серебренников, В. М. Солнцев* (зам. главного редактора), *О. П. Трубачев, Ф. П. Филин* (главный редактор), *В. Н. Ярцева*

Адрес редакции: 103031, Москва К-31, Кузнецкий мост, д. 9/10. Тел. 228-75-55

Зав. редакцией *Н. В. Соболева*

© Издательство «Наука», «Вопросы языкознания», 1976 г.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1976

Ф. П. ФИЛИН, Ф. П. СОРОКОЛЕТОВ, К. С. ГОРБАЧЕВИЧ

О НОВОМ ИЗДАНИИ «СЛОВАРЯ СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА»

(в семнадцати томах)

Постановление Бюро Отделения литературы и языка АН СССР о переиздании «Словаря современного русского литературного языка» положило конец дискуссиям и спорам относительно путей продолжения работы над академическим словарем современного языка: создавать ли новый словарь или в ближайшее время осуществить исправленное и улучшенное второе издание семнадцатитомника (в дальнейшем — БАС). Переиздание БАС, однако, не снимает вопрос о выработке принципов создания словаря нового типа. Центральной проблемой русской академической лексикографии по-прежнему остается создание нормативно-стилистического словаря современного русского литературного языка. Предыдущие толковые словари советского времени, в том числе и БАС, не выполнили во всем объеме этой задачи. Все они являются «не только пособием, раскрывающим образцовые нормы употребления лексики русского литературного языка в ее современном состоянии, но и лексикографическим справочником, призванным помогать читателю правильно понимать произведения русской литературы, начиная со времен Пушкина» [1].

Наше время выдвигает перед словарями русского литературного языка основную задачу — быть активным пособием по культуре русского языка. Эту задачу в свое время выдвинул В. И. Ленин, предложив составить словарь «для учения всех». Создание такого словаря связано с определенными трудностями теоретического и практического характера. Оно предполагает решение таких проблем, как хронологические границы словаря, проблема словника, нормативность, толкование, фразеология в словаре и мн. др., а также и накопление лексических материалов, отражающих процессы, протекающие в современном языке [2].

Однако в настоящее время на передний план выдвинуты вопросы, связанные с переизданием БАС, так как переиздание из области теоретических споров и обсуждений переведено в план практической работы на ближайшее десятилетие. История русской и мировой лексикографии свидетельствует о том, что словарь национального языка, отражающий нормы современного словоупотребления, постоянно возобновляется. Причем возобновление это может осуществляться по-разному: это может быть или создание нового словаря, или новое издание словаря, но издание, учитывающее изменения в языке и отвечающее уровню теоретической разработки словарного состава языка, его грамматики и стилистики

[1] Ф. П. Филин, О новом толковом словаре русского языка, ИАН ОЛЯ, 1963, 3, стр. 179.

[2] О проблемах и трудностях, связанных с созданием такого словаря, см.: Л. В. Щерба, Опыт общей теории лексикографии, ИАН ОЛЯ, 1940, 3; Ф. П. Филин, О новом толковом словаре русского языка; Ю. С. Сорокин, О нормативно-стилистическом словаре современного русского языка, ВЯ, 1967, 5; А. М. Бабкин, Новый академический словарь русского языка. Проспект, Л., 1971.

Приступая к работе по переизданию БАС, следует отдать себе отчет в том, насколько его первое издание удовлетворяет требованиям, предъявляемым к лексикографическим трудам подобного рода. Необходимо установить бесспорные достоинства этого словаря и вместе с тем вскрыть его лексикографические пробелы и недостатки.

БАС занимает особое место среди толковых словарей русского языка. Это самый полный словарь литературного языка, в нем собрано и объяснено более 120 000 слов, употребительных в русском языке на протяжении последних полутора столетий — со времен Пушкина до наших дней. Все это богатство лексико-фразеологического материала получило всестороннюю и глубокую семантическую, грамматическую и стилистическую характеристику в соответствии с уровнем теоретической разработки русского языка времени создания словаря. Особую ценность представляет предпринятый впервые в истории русской лексикографии показ различных типов сочетаемости слов и богатый иллюстративный материал, сопровождающий каждое значение, каждый оттенок значения и употребление слова. Базой для создания БАС послужила многомиллионная картотека карточек-цитат, извлеченных из лучших литературно-художественных, публицистических, научно-популярных и научных произведений XIX—XX вв.

Все это делает словарь незаменимым пособием не только для различного рода справок, но и для исследования лексических, грамматических и стилистических процессов в русском литературном языке XIX—XX вв. БАС явился необходимой базой для создания целой серии специальных словарей русского языка, был и продолжает оставаться важным пособием и образцом при составлении словарей национальных языков Советского Союза. Семнадцатитомный словарь существенно обогатил многими ценными материалами и способами их разработки и практику, и теорию русской лексикографии, и вообще науку о русском языке. В нем была намечена разработка таких важнейших проблем, как связь лексикологии и семасиологии с этимологией, положение словарного состава в ряду других сторон языка, вопрос об устойчивых и переменных элементах в словарном составе русского языка нового времени, проблема лексико-фразеологических связей и сочетаемости, структура и сущность нормы и т. п.

Советские и зарубежные филологи рассматривают БАС как крупнейшее явление в русской лексикографии и лексикологии. В обзоре развития науки о русском языке к пятидесятилетию Советской власти он был назван в числе наиболее важных фундаментальных работ по русскому языку. Говоря о значении БАС, академик В. В. Виноградов писал: «Завершение работы над многотомным обширным словарем родного языка — всегда огромное событие... для всего народа, говорящего на этом языке, для всего общества. Это — важное национальное дело, особенно если такой словарь не только большой, но и ценный по своим высоким качествам» [3]. БАС несомненно является таким словарем. Он подвел итог исканиям и попыткам прошлого «осмыслить сокровищницу родного слова» и открывает дальнейшие перспективы в этой области.

Семнадцатитомный словарь получил широкое общественное признание, им пользуются писатели, научные работники, журналисты, переводчики, педагоги — все, кто изучает русский язык в нашей стране и за рубежом. В 1970 г. руководящие сотрудники «Словаря современного русского литературного языка» были удостоены Ленинской премии.

В наши дни, когда русский язык является не только языком русского народа, но и стал средством межнационального общения народов СССР

[3] В. В. Виноградов, Семнадцатитомный академический словарь современного русского литературного языка и его значение для советского языкознания, ВЯ, 1966, 6, стр. 3.

и одним из важнейших языков мира, потребность в словарях русского языка значительно возрастает, увеличивается роль словарей как пособий для изучения русского языка. Это относится прежде всего к таким капитальным сокровищницам русской лексики и фразеологии, как БАС.

Между тем, как это уже неоднократно отмечалось, все словари, вышедшие в нашей стране, быстро становятся библиографической редкостью. Библиографической редкостью давно уже стал и семнадцатитомный «Словарь русского литературного языка», изданный крайне малым тиражом (от 26 000 до 13 600 экземпляров каждый том). Надо надеяться, что новое издание БАС будет опубликовано массовым тиражом.

Ни четырехтомный академический «Словарь русского языка» (второе издание которого уже подготовлено), ни постоянно переиздаваемый «Словарь русского языка» С. И. Ожегова из-за сравнительно небольшого объема не выполняют полностью задачу описания современного словарного состава русского языка, они не могут быть всеобъемлющими справочниками по литературному словоупотреблению XIX—XX вв. По количеству и объему словарного материала, по полноте его характеристики БАС значительно превосходит все другие русские толковые словари нашего времени и в качестве справочного пособия по современному словоупотреблению стоит на первом месте.

Все это делает насущно необходимым переиздание БАС, причем переиздание должно быть осуществлено в достаточно сжатые сроки.

Основная цель переиздания БАС — дать широкому читателю словарь, раскрывающий образцовые нормы современного литературного словоупотребления, словарь — сокровищницу лексики русского языка, справочник, призванный помогать читателю правильно понимать произведения русской литературы от Пушкина до наших дней, хорошее пособие по культуре речи. Основная задача переиздания заключается в приведении разработки лексического материала в словаре в соответствие с этими целями, с учетом тех изменений, которые произошли в языке за последние 30—40 лет, т. е. за время, прошедшее после начала работы над первым изданием. БАС во втором издании должен адекватно отразить состояние лексики русского литературного языка наших дней.

Трудность выполнения этой задачи прежде всего связана со сложностью и многообразием лексической системы языка, разноплановостью и многогранностью отношений, формирующих эту систему. На эти отношения, как известно, оказывает воздействие принадлежность слов к определенным структурным разрядам, особенности словообразования и семантической близости, общности значения и противопоставленность по смыслу, синтагматические и парадигматические связи и отношения, функционально-стилистическая роль отдельных слов и целых пластов лексики. В понятие системных отношений входят также отношения устойчивых и подвижных элементов словарного состава, центральных и периферийных, активных и пассивных.

Общеизвестно, что язык находится в состоянии постоянного развития и изменения, что наиболее подвержен изменениям словарный состав (воздействие социальных сил и условий проявляется здесь особенно отчетливо). Интенсивные изменения наблюдаются в разрядах лексики, связанных с производственной деятельностью людей и складывающимися в этой деятельности отношениями. Происходящая на наших глазах научно-техническая революция приводит к резкому обогащению языка специальными наименованиями понятий науки, техники, производства, культуры, т. е. терминами. Наряду с лексическими изменениями происходят изменения и сдвиги в семантической и стилистической и других сферах языка.

БАС во втором издании не может не отразить все эти процессы и явления. В то же время следует подчеркнуть, что этот словарь не будет историческим. Для создания исторического словаря, в котором полностью была бы показана история огромной массы слов, их значений, грамматических форм, словосочетаний, стилистических окрасок и т. п., время еще не настало. Установка на историзм словаря, сформулированная в предисловии к первому изданию, оказалась неоправданной и невыполнимой. В БАС будут представлены только элементы историзма — материалы для будущего исторического словаря русского литературного языка XIX—XX вв.

Основой для работы над переизданием БАС явится текст первого издания (с переработкой первых трех томов, составленных полугнездовым способом; теперь весь словарь будет строго алфавитным). В постановлении Бюро ОЛЯ о переиздании БАС ясно выражено требование о сохранении основной концепции словаря, нашедшей выражение в его корпусе и в Инструкции 1958 г.[4]. В настоящее время не ставится задача преобразовать тип Большого академического словаря; новое издание будет исправленное, дополненное и улучшенное.

Вместе с тем необходимо сделать все, чтобы второе издание БАС стало новым шагом в развитии русской лексикографии. Опыт русской академической лексикографии свидетельствует о том, что даже самые лучшие словари не бывают безукоризненными в своих первых изданиях. Поэтому простое, непереработанное издание словаря, переиздание лишь с незначительными поправками и улучшениями, как правило, не оправдывает себя. Второе издание в этом случае, осуществленное через довольно значительный срок после первого, уже не отражает состояние языка данного времени, особенно в эпоху, отличающуюся быстрым темпом языковой эволюции. Так получилось, например, со вторым изданием «Словаря Академии Российской, по азбучному порядку расположенному» (1806—1822), который в новой редакции не имел уже такого теоретического и практического значения, как «Словарь Академии Российской» (1789—1794). «В лексике русского литературного языка конца XVIII— начала XIX в. произошли существенные изменения. Ломоносовская теория трех стилей отходила в прошлое. Ломались старые нормы литературных стилей. Создавалась новая стилистика... Обновлялась литературная фразеология. Ширилась струя живой речи в составе литературного языка, и сдавались в архив истории архаизмы высокого стиля. Эти изменения в литературной лексике почти не нашли отражения в азбучном „Словаре Академии Российской[66]»[5]. Уже тогда стало очевидно, что переиздание словаря современного языка целесообразно лишь в том случае, если в него будут внесены изменения, отражающие соответствующие сдвиги в самом языке, если обработка лексического материала будет соответствовать уровню научных знаний о языке, а задачи, решаемые в словаре, будут отвечать изменившимся запросам общества.

Выделяется несколько направлений, требующих наибольшего внимания при подготовке второго издания БАС. Это — актуализация словника, усиление принципа нормативности в оценке языковых фактов, исправление различного рода ошибок и неточностей, унификация разработки однородных языковых явлений, уточнение стилистических квалификаций, проверка и по возможности экономная подача цитатного материала и др.

Некоторые из этих направлений составляют основное содержание настоящей статьи. Конкретное обсуждение выдвинутых направлений необ-

[4] «Инструкция для составления „Словаря современного русского литературного языка“ (в пятнадцати томах)», М.— Л., 1958.

[5] В. В. Виноградов, Толковые словари русского языка, в кн.: «Язык газеты», М.— Л., 1941, стр. 369.

ходимо предварить общим замечанием о том, что при сохранении прежней концепции, целей и задач БАС второе издание будет отличаться усилением нормативного принципа в отборе слов и в оценке языковых фактов.

I. **Актуализация словника.** Поскольку задачей БАС во втором издании по-прежнему является стремление охватить словарное богатство русского литературного языка от эпохи Пушкина до наших дней, и поскольку «Словарь, являясь нормативным, в то же время преследует широкие цели справочного характера: помочь читателям находить справки о значениях и употреблении непонятных или малопонятных теперь слов, ранее употреблявшихся в литературном языке, а также новых слов» [6], принципы отбора слов во втором издании остаются прежними. Эти принципы достаточно отчетливо были изложены в I главе Инструкции — «Состав словника (отбор слов)», написанной Ф. П. Филиным (стр. 10—17). Задача второго издания заключается в последовательном применении этих принципов к состоянию лексики русского литературного языка наших дней, т. е. времени переиздания БАС.

Сразу же после выхода в свет последнего, семнадцатого тома БАС довольно настойчиво стала выдвигаться идея об издании дополнительного тома, который включил бы в себя новые слова и новые значения уже известных и отраженных в БАС слов. Для этого были достаточно веские основания. Известно, что первый том БАС должен был выйти в свет еще в 1941 г. и лишь война помешала этому. Следовательно, с момента начала работы над словарем до опубликования последнего тома (1965) прошло четверть века. За это время в языке, особенно в его словарном составе, произошли заметные изменения. БАС, создававшийся в течение длительного времени, естественно, не мог их отразить. Уже давно отмечено, что словари отстают с регистрацией языковых процессов, происходящих в современном языке. Между тем, установить и зарегистрировать состав лексики современного литературного языка (живого языка) в каждую эпоху — одна из главных задач больших толковых словарей.

Таким образом, проблема словника второго издания БАС приобретает первостепенное значение: именно составом словника второе издание более всего должно отличаться от первого.

Непрерывные изменения и постоянное обновление словарного состава языка общеизвестны. Особенно заметно и интенсивно эти процессы протекают в эпохи, характеризуемые интенсивным развитием производственной, научной, культурной и общественной сфер жизни общества. К таким эпохам относится и наше время. В связи с бурным развитием социалистической культуры, науки, техники, промышленности и сельского хозяйства словарный состав русского языка заметно пополняется новыми словами и значениями, развившимися у «старых» слов; многие слова и целые разряды лексики расширили сферу своего употребления. О значительности этих изменений и перемещений можно до некоторой степени судить по словарю-справочнику «Новые слова и значения» (М., 1971), в котором собрано и объяснено около 3500 слов и значений [7], не вошедших в толковые словари русского языка. Эти слова были выбраны из источников (пресса и литература), появившихся в 60-х годах. В настоящее время готовится второй выпуск словаря новых слов и значений, который отразит изменения в словарном составе русского языка в 70-е годы. По объему словника он не будет уступать первому (1971). Конечно, не все слова и значения, включенные в словарь новых слов, найдут место во втором издании БАС: принципы

[6] «Инструкция для составления „Словаря современного русского литературного языка“ (в пятнадцати томах)», стр. 10.

[7] Условность термина «новые слова» оговаривается в Предисловии к Словарю (стр. 5—7).

отбора слов в академический толковый словарь должны быть значительно строже и последовательнее. Однако уже сейчас можно сказать, что большая часть слов и значений из справочника «Новые слова и значения» войдет во второе издание БАС. Более того, количество слов, которое пополнит второе издание БАС, значительно превысит словник справочника. Тщательный просмотр новых поступлений картотеки словаря современного языка Словарного сектора и ряда наиболее значительных одноязычных русских и русско-иноязычных словарей показал, что в настоящее время, например, на букву «а» активно функционируют 438 слов, отсутствующих в БАС (в словаре новых слов их 210), на букву «б» соответственно — 449 (150 — в словаре новых слов), причем многие слова из справочника «Новые слова и значения» в число лексем, предлагаемых для второго издания БАС, не войдут [8]. Можно предполагать, что словник нового издания БАС увеличится на несколько десятков тысяч лексических единиц (хотя часть устарелых и редких недокументированных слов из него будет устранена).

Включению в БАС подлежат: а) новые слова (и значения), которых в период создания БАС не было в русском языке: *акваланг*, *аквалангист*, *биокибернетика*, *видеотелефон*, *лазер*, *мазер* и т. п.; б) слова, имевшиеся в русском языке в период составления БАС, но ставшие употребительными в литературных текстах лишь в последние 20—30 лет: *алгоритм*, *абстракционизм*, *внеземной* и т. п.; в) слова, случайно пропущенные, ошибочно не включенные в БАС: *партгосконтроль*, *сверхзвезда* и т. п.

Эти пополнения словаря включают в себя различные тематические и структурно-грамматические разряды лексики.

В широкое употребление вошли слова различных тематических разрядов: а) общественно-политическая лексика: *альтинг*, *антисоветизм*, *антисоветчик*, *антисоветчица*, *апартеид*, *бандеровцы*, *битник*, *бундестаг*; б) многочисленные разряды специальной лексики (термины различных наук, производственные термины, специальная лексика из области искусства, спортивная терминология и т. п.): *австралопитек*, *акселерация*, *акваланг*, *биокибернетика*, *видеотелефон*, *антиматерия*, *нейтрино* и т. п.; в) этнографизмы: *аксакал*, *базука*, *бармен*, *бистро*, *бренди*, *азу*, *беляши*, *боржоми* и т. п.; г) названия тканей, одежды: *банлон*, *болонья*, *ацетатный* (шелк), *букле*; д) названия, рыб, животных, птиц: *аргентина*, *белек* и т. п.; е) названия конфет, кушаний: *ассорти*, *батончики* и т. п.; ж) обиходно-разговорная и просторечная лексика: *алкаш*, *амба*, *балабон*, *бандюга*, *бедолага*, *блямба*, *братуха* и т. п. и других тематических групп.

Особенно значительны пополнения в сфере специальной терминологии, которые создаются за счет «истинно» новых терминов, появившихся в последние два-три десятилетия, и за счет терминов, ранее существовавших в языке, но расширивших границы своего употребления лишь в последнее время. Постоянное возрастание количества терминологической лексики в общем употреблении связано с происходящей теперь научно-технической революцией, с ростом и широким распространением научных и технических знаний. Это, как уже неоднократно отмечалось, приводит к сокращению времени, в течение которого термин из узкой сферы специального словоупотребления переходит в разряд слов, известных широкому кругу говорящих и пишущих по-русски. Специальная лексика в наше время

[8] Были просмотрены следующие словари: «Velký rusko-český slovník», I—V, Praha, 1952—1962; «Velký rusko-český slovník», VI dodatky, A — Я, Praha, 1964; «Veľký rusko-slovenský slovník», I—V, Bratislava, 1960—1970; «Русско-украинский словарь», 1—3, Киев, 1969; «Обратный словарь русского языка», М., 1974 (содержащий около 125 000 слов) и некот. др. Авторы благодарят Г. П. Галаванову за предоставленные в их распоряжение данные, извлеченные из этих источников.

стала ведущим источником пополнения словарного состава общеупотребительного литературного языка.

Большие трудности вызовет отбор специальных терминов во второе издание БАС. Это — одна из постоянных и актуальных проблем лексикографии. Здесь часто сталкиваются диаметрально противоположные точки зрения: терминология, по мнению одних,— «бедствие для языка» и поэтому толковые словари должны как можно меньше включать в свой состав специальных слов; по мнению других, обилие терминологии — одна из характерных черт современного состояния языка, и, следовательно, БАС должен соответствующим образом отразить это. Думается, что позиция толкового словаря не может совпадать ни с «минималистами», ни с «максималистами». Отбор терминов в толковый словарь должен рассматриваться на фоне общих требований к отбору лексического состава. Из необозримого количества специальных слов и терминов (их миллионы) в толковый словарь необходимо ввести лишь те, которые стали достоянием общеупотребительной лексики. Особое внимание должно быть уделено борьбе с засорением русского языка, с неоправданными заимствованиями англицизмов (точнее, американизмов), которые, к сожалению, во множестве появляются в некоторых наших изданиях.

Однако это общее положение не создает еще условий для решения вопроса о включении или невключении во второе издание БАС отдельных терминов или целых разрядов специальных слов. Критерии отбора этого разряда слов еще должны уточняться.

В структурно-грамматическом плане лексика, которая пополнит БАС, также разнообразна. Самую значительную часть пополнения составляют имена существительные: а) названия лиц по разным признакам: *абхазец*, *аварка*, *авангардист*, *аккуратист*, *анонимщик*, *байдарочник*, *блокадник*, *бодрячок*, *богатырша*; б) существительные на *-ость*: *амбициозность*, *аскетичность*, *безудержность*, *благоразумность*, *боевитость*; в) существительные на *-ание* (*-ение*): *анодирование*, *агрегатирование*; существительные на *-ка*: *анодировка*, *брикетировка*; существительные на *-изм*: *авангардизм*, *аннексионизм* и другие словообразовательные разряды. Расширится словник за счет многочисленных прилагательных: *амбициозный*, *баобабовый*, *беспилотный*, *боевитый*, *бунтовщический* и т. п.; отпричастных прилагательных: *американизированный*, *авторизованный*, *адаптированный*, *асфальтированный*, *бодрствующий*, *быстродействующий*, *буксируемый* и т. п.; наречий: *автономно*, *агрессивно*, *академично*, *амбулаторно*, *априорно*, *бдительно*, *буднично* и т. п.; глаголов: *активничать*, *балабонить*, *беленитьcя*, *банкировать*, *бюллетенить* и т. п.

В БАС будет также введено большое количество сложных и сложносокращенных слов, ставших особенно продуктивными в наше время (слова с *авто-*, *космо-*, *радио-*, *теле-*, *кино-* и мн. др.).

Наряду с пополнением БАС новыми словами, в нем будут отмечены новые значения и оттенки значения, развившиеся у слов, включенных в первое издание. Выделение новых значений и оттенков будет опираться на принципы разработки семантической системы слова, изложенные в Инструкции 1958 г.

Базой для отбора новых слов и фразеологических выражений для второго издания БАС должны явиться: картотека новых выборок из произведений советской литературы, публицистики, прессы, научно-популярных и научных произведений, насчитывающая в общей сложности более одного миллиона карточек-цитат, все словари, вышедшие в свет за последние 20—25 лет, многие русско-иноязычные словари (русско-украинский, русско-словацкий, русско-чешский), новое издание Большой советской энциклопедии и некоторые другие источники.

Актуализация отбора лексики предполагает не только включение новых слов и терминов, получивших в языке широкое распространение, ставших общеупотребительными, но и исключение из словника БАС архаизмов, малоупотребительных дериватов (таких, например, немало в четвертом томе БАС), которые были введены в первое издание или в нарушение принципов отбора слов, или на основе расширительного толкования понятия «современный литературный язык», характерного особенно для первых томов БАС, а также исключение слов, которые в современном живом языке полностью вышли из употребления, потеряли актуальность.

1. Представляется необходимым вывести из БАС все слова, подтверждаемые только функционированием их в литературном языке XVIII в., которые уже в эпоху Пушкина вышли из активного употребления. Это слова типа: *воспящáть* «препятствовать, мешать; обращать вспять» (цитаты только из Державина и Ломоносова), слова, производные от прилагательного *вéлий* — *велеглáсный*, *велеглáсно*, *велелéпный*, *велелéпый*, *велелéпие*, *велемýдрый*, *велерéчие*, *велерéчить* (сопровождаемые пометой «устар.» и «церк.»). Хотя эти слова и подтверждаются цитатами из произведений Пушкина, Горького, Маяковского, но эти лексемы используются для стилизации. Из всего гнезда на прилагательное *велий* необходимо оставить во втором издании БАС только два слова — *велеречúвый* и *велеречúво*, которые, кроме исходных значений «многословный, красноречивый», приобрели новый оттенок «высокопарный» и сохраняются в современном словоупотреблении. Исключению подлежат и такие слова, как *врáтник*, *áгнчий*, *вы́печатать*, *вóи*, *взаúмственный* «взаимный», *взаúмство* «взаимность», подтвержденные цитатами из произведений XVIII в. или вовсе ничем не подтвержденные.

2. Видимо, нет необходимости оставлять в новом издании слова, которые возможно и употреблялись в XIX в. в определенных стилях речи, но не подтверждаются цитатами из источников, охватывающих период от Пушкина до современности. Ср., например, такие лексемы, как *возревéть* и под.

Таким образом, все, что было неактуально уже в пушкинское время, должно быть исключено из БАС, так же, как и то, что не находит никакого подтверждения в источниках, составивших материалы словарной картотеки. Это не будет противоречить одной из задач БАС — быть справочником при чтении литературных произведений XIX—XX вв., но освободит словник от омертвелого груза прошлого.

II. Усиление принципа нормативности в оценке языковых фактов. Переиздание БАС предполагает не только актуализацию отбора лексики, но и пересмотр нормативных характеристик многих слов и словоформ под углом зрения современного восприятия языковых фактов. Эти уточнения, не нарушая общей концепции словаря, имеют в то же время не частный, а принципиальный характер и могут в некоторой мере помочь в решении трудной задачи — соединения принципов историзма и нормативности (как сказано выше, словарь не будет историческим).

Во втором издании БАС сохраняется традиционная хронологизация современного русского литературного языка (от Пушкина до наших дней), хотя такое понимание нижней границы отсчета все чаще подвергается переоценке, толкуется как расширительное [9], как дань традиции и т. п. Удовлетворительное и теоретически обоснованное решение этого вопроса пока не найдено. Думается, однако, что какое бы ни сложилось окончательное представление о хронологических границах современного литера-

[9] Ф. П. Филин, Заметки по лексикологии и лексикографии, «Лексикографический сборник», I, М., 1957, стр. 36.

турного языка в отношении отбора фактов, их нормативная оценка может производиться только с точки зрения языкового сознания наших дней. В сущности, о таком понимании соотношения историзма и нормативности писал и В. И. Чернышев: «принцип историчности... требует оценки всего огромного лексического материала, живущего от Пушкина до наших дней, с точки зрения современности» [10]. Стремление к такому подходу нередко наблюдается при сопоставлении сходных фактов в первых и последующих томах семнадцатитомного словаря. Ср. во 2 томе: род. мн. *валенок* и *валенков* — как равноценные варианты нормы и в 13 томе: род. мн. *сапогов* — с пометой «устар.», несмотря на наличие этой формы у Пушкина, Гоголя, Достоевского, Тургенева, Л. Толстого, Чехова и др.

Приведение нормативных указаний в соответствие с современной теорией нормы и живыми представлениями о правильном или неправильном будет способствовать, с одной стороны, усилению нормативного режима во втором издании словаря, а с другой — поможет устранить элементы излишнего лексикографического консерватизма. Некоторое «ужесточение» нормативных оценок вовсе не предполагает исключения всех вариантных форм. Более того, в некоторых случаях целесообразно даже введение новых, не отмеченных словарем, но укрепившихся в современной речевой практике конкурирующих форм выражения.

Таким образом, одна из задач нового издания БАС заключается не только в исключении, но главным образом в переоценке вариантов в соответствии с их реальным (сегодняшним) положением в системе литературного языка, в преодолении неоправданного уравнивания неравноценных вариантов (что было присуще первому изданию словаря в связи с его ориентацией одновременно на язык классической литературы XIX в. и словоупотребление современных авторов). При этом следует учитывать, что медленное развитие литературного языка с богатой культурно-исторической традицией и особое отношение к языковым новообразованиям требует осторожного и плавного изменения нормативных характеристик. Излишний нормализаторский радикализм, как свидетельствует история языкознания, был отнюдь не лучшим оружием языковой политики.

В качестве оснований для нормативной переоценки могут быть использованы: а) характеристики слов и словоформ, содержащиеся в новых лексикографических работах (словарь-справочник «Трудности словоупотребления и варианты норм русского литературного языка». Л., 1973; словарь-справочник журналиста «Трудности русского языка», М., 1974) и переиздания словарей (четырехтомный «Словарь русского языка» 1957—1961 гг.; «Словарь русского языка» С. И. Ожегова, 10-е изд., М., 1975; «Орфографический словарь русского языка». 13-е изд., М., 1974 и др.); б) материал словоупотребления современных писателей и поэтов, публицистики, прессы, научно-популярной литературы и т. д.; в) монографические исследования тенденций развития русского языка и его современного состояния. Естественно, что нормативные оценки во втором издании БАС не должны существенно расходиться с указаниями других, изданных в последние годы словарей современного русского языка.

Осуществление нормативной переоценки языковых фактов при подготовке второго издания мыслится посредством трех лексикографических приемов, не нарушающих общей структуры словаря и словарных статей.

Первый прием. Устранение мнимо равноценных заголовочных пар и перемещение неактуального (уходящего или входящего) или стилистически маркированного варианта из заголовка в справочный отдел сло-

[10] В. И. Чернышев, Принципы построения академического словаря современного русского литературного языка, в кн.: «Избранные труды», I, М., 1970, стр. 349—350.

варной статьи с типовым указанием: «в иной форме», «с иным удар.» или с соответствующей пометой: «устар.», «разг.» и т. п. Подача в заголовке словарной статьи исходных форм слова через союз *и* особенно характерна для первых томов БАС, например: *амбрóзия* и *амврóзия*, *акушéрка* и *акушёрка*, *англи́йский* и *áнглийский*, *аннекси́ровать* и *аннекти́ровать*, *багровéть* и *багрóветь*, *боти́нок* и *боти́нка*, *вальси́ровать* и *вальсировáть*, но нередко встречается и в последующих томах: *жабó*, ср. и м., *звéрёк* и *звéрóк*, *камы́шевый* и *камышóвый* и т. п. Такое расположение вариантов создает ложное представление об их равноценности в современном языке. Ведущими, предпочтительными вариантами в указанных парах являются: *амбрóзия*, *акушéрка*, *англи́йский*, *аннекси́ровать*, *багровéть*, *вальси́ровать*, *жабó*, ср., *звéрёк*, *камышóвый*. Некоторые устарелые варианты, например, *амврóзия*, *аннекти́ровать*, *автенти́чный*, *синтакти́ческий* и т. п. не соответствуют требованиям современной орфографии. Естественно, что в заголовочные пары не должны выноситься словообразовательные единицы, т. е. разные, самостоятельные слова. Нарушение принципа отдельности слова было особенно характерно для первых томов (*альбуми́нный* и *альбуми́новый*, *взгóрок* и *взгóрье* и т. п.), но встречается и в последующих (например: *террáриум* и *террáрий*, *студиóз* и *студиóзус*, *э́ллипс* и *э́ллипсис*). Рассмотрение таких образований в отдельных словарных статьях будет соответствовать общей структуре словаря (ср.: *óпий* — — то же, что *óпиум*; *эпидéрма* — то же, что *эпидéрмис*) и современной теории отдельности и тождества слова.

Сохранение заголовочных пар допустимо лишь в следующих случаях:

1. При отсутствии выраженной тенденции в развитии вариантов или их действительно равнозначном употреблении в современном языке. Например: *óбух* и *обýх*, *трáпеза* и *трапéза*. Равноправность фонетико-орфографических вариантов должна в этих случаях подтверждаться новейшим изданием орфографического словаря (например, в «Орфографическом словаре» 1974 г. приведено около 50 пар вариантов исходных форм слов: *автовакци́на* и *аутовакци́на*, *акселерáция* и *акцелерáция*, *баты́рь* и *баты́р* и т. п.).

2. При наличии отчетливой смысловой специализации или функционально-стилистического своеобразия употребления вариантов. Это в особенности относится к многозначным словам, где приуроченность формального варианта к определенным значениям или кругу сочетаний раскрывается в разработке словарной статьи. Например: *ноль* и *нуль*, *развóдный* и *разводнóй*, *хáос* и *хаóс*, *лéбедь*, м., и *лéбедь*, ж.

3. В тех случаях, когда сама лексема принадлежит к слою устарелого просторечия (например: *сéльщина* и *сельщи́на*) или характерна для обиходно-разговорной речи (например: *рóвненько* и *ровнéнько*, *таракáшек*, м. и *таракáшка*, ж., *худýщий* и *худю́щий*). Выраженные коннотативные свойства слова в таких случаях часто не позволяют кодифицировать его варианты.

Разъединение заголовочных вариантных пар во всех других случаях и помещение «второсортного» варианта в справочный отдел будет способствовать более правильному и точному отражению норм современного словоупотребления.

Второй прием. Уточнение нормативных характеристик форм слова в словарной статье и замена неоправданных при современном состоянии литературного языка уравнивающих указаний справочного отдела: «с иным произнош.», «с иным удар.», «с иным напис.», «в иной форме» и т. д.— более жесткими ограничениями: «с иным (устар.) произнош.», «с иным (устар.) напис.», «в иной (устар.) форме» и т. п.

Относительно рассматриваемых в словаре фонетико-орфографических

вариантов это положение касается всех томов. Ср.: *Валькúрия*, с иным произнош. и напис.: *валкúрия*; *заснéженный*, с иным произнош.: *заснежённый*; *коленопреклонённый*, с иным произнош.: *коленопреклонéнный*; *кифáра*, с иным напис. и произнош.: *китáра*; *табáчный*, *табáчник*, *табáчница*, *табáчничать*, с иным. напис. и произнош.: *табáшный*, *табáшник*, *табáшница*, *табáшничать*. Наличие в классической литературе ненормативных орфограмм, отражающих устарелое произношение, весьма важно с исторической точки зрения и должно быть отмечено БАС. Однако это не является основанием для уравнивающих характеристик. Формула «с иным напис. и произнош.» во втором издании в подобных случаях должна быть уточнена: «с иным (устар.) напис. и произнош.».

Указания на фонетико-орфографические варианты, отражающие, например, вокализм 1-го предударного слога (в БАС: *вязúга*, с иным напис.: *визúга*; *пескáрь*, с иным напис.: *пискáрь*; *хозáры*, с иным напис.: *хазáры* и т. п.), должны быть приведены в соответствие с современными правилами орфографии. Например: *визúга*, с иным (устар.) напис.: *вязúга*. Это же относится к произношению и написанию гласных во 2 и 3-м предударных слогах.

Отражаемая орфографически редукция гласных в заударных слогах, видимо, как и в первом издании, должна последовательно отмечаться лишь у существительных на *-ние/-нье* (*спасéние* — *спасéнье*).

Следование строгой орфографической норме, естественно, распространяется и на типичные в прошлом дублетные написания с согласным в слабой позиции. Ср. в семнадцатитомном словаре: *адсóрбция*, с иным напис.: *адсóрпция*; *кóбчик* (птица), с иным напис.: *кóпчик*; *хлúбкий* и *хлúпкий* (как равноценные варианты в заголовке). «Правила русской орфографии и пунктуации» 1956 г. закрепили единственно возможное написание: *адсóрбция*, *кóбчик* (птица), *хлúпкий*. Наличие устарелых орфограмм в современной художественной литературе [это касается и тех понятий, относительно которых данный писатель является знатоком дела, например, *копчик* (птица) у Пришвина] никоим образом не может оправдать уравнивания их с узаконенным написанием.

Особое выделение в справочном отделе устарелых орфографических вариантов (в типовой формуле: «с иным напис.») должно быть внутренне оправдано. Такие указания могут свидетельствовать о произношении (*пустя́шный*, *порт-монé*), об истории образования слова (*в-засóс*, *па декáтр*), содержать намек на этимологию слова (*террьéр*) и т. п. Если же устарелые орфографические написания не несут подобной полезной информации о слове (например, указания на устарелое слитное написание прилагательных, обозначающих оттенки цветов: *светлорозовый*, *светлорусый*, *светлорыжий* и т. д.), то целесообразность их выделения в справочном отделе при втором издании словаря становится сомнительной (в таких случаях вполне достаточно тех свидетельств об устарелом написании, которые извлекаются из предшествующих словарей).

Последнее касается и многих других орфографических колебаний, несущих полезную информацию, т. е. отражающих произношение или историю слова.

При показе устарелого написания целесообразнее основываться на данных предшествующих словарей, чем на случайных литературных примерах, орфография которых меняется от издания к изданию.

В Инструкции 1958 г. говорится: «Иллюстративный материал Словаря, взятый из источников, изданных по старой орфографии, переводится на новую орфографию. Что же касается орфографических колебаний и особенностей, оговоренных в § 2 (а там говорится об орфограммах, отражающих произношение и грамматические формы.— *Авторы*), то они сохра-

няются в цитатах» (гл. VIII, § 3). Орфографические колебания постепенно устраняются и в орфографических словарях, и в новых изданиях классиков. По этому пути должен пойти и БАС во втором издании.

Переиздание БАС, преследуя общую цель — усиление принципа нормативности, должно строго следовать современной орфографической норме и, по-видимому, пожертвовать иллюстрированием устарелых написаний цитатами из художественной литературы в связи с изменением орфографии в новых изданиях. Принципу же элементов историзма будут удовлетворять справки об устарелом произношении и написании (без подтверждающих цитат), извлекаемые из предшествующих словарей [11].

Существенного пересмотра требует характеристика ударения у многих слов и словоформ. Произошедшие изменения в акцентологической системе русского литературного языка не позволяют уже считать нормативно равноценными такие, например, акцентные варианты, как: *ва́ришь*, *ва́рит* и *вари́шь*, *вари́т*; *кла́дбище*, с иным удар.: *кладби́ще*; *лыжня́*, с иным удар.: *лы́жня* и мн. др. (ударения *вари́шь*, *кладби́ще*, *лы́жня* устарели). Уравнивание таких вариантов в БАС искажает их современное соотношение и противоречит нормативным рекомендациям других словарей, изданных в последние годы. С другой стороны, некоторые продуктивные акцентологические новообразования могут быть теперь признаны нормативными. Например, в семнадцатитомном словаре: *заво́дский*, в иной (простореч.) форме: *заводско́й*; *и́скриться*, с иным (простореч.) удар.: *искри́ться*. Судя по материалам современной речи, варианты *заводско́й*, *искри́ться* являются сейчас если не ведущими, то по крайней мере равноценными.

В связи с этим встает и общий вопрос об оправданности применения стилистических помет по отношению к акцентным вариантам. Дело в том, что лексикографическая характеристика акцентологических вариантов при данном состоянии русского литературного языка — проблема в большей степени нормативная, чем стилистическая. Стилевая маркированность в акцентологии практически не наблюдается. Различие акцентологических вариантов, как правило, не связано с ситуацией высказывания, которая является главной приметой стилевой принадлежности слова (высокое, нейтральное, разговорное, просторечное). Это обстоятельство, интуитивно, видимо, ощущалось лексикографами, весьма скупо применявшими в последних томах при оценке ударения пометы «разг.», «простореч.» и др. В тех же случаях, когда такие пометы и указывались, они оставались бездоказательными. Стилистическая характеристика здесь в сущности подменяет нормативную. Неравноценные варианты ударения могут рассматриваться и оцениваться в трех аспектах: 1) нормативном, или ортологическом; 2) временно́м и 3) функционально-стилистическом (*ра́порт* и профессиональное *рапо́рт*).

Серьезного внимания при подготовке издания потребует уточнение грамматических характеристик слов и словоформ применительно к нормам современного литературного языка. Примеры неоправданного уравнивания морфологических вариантов имеются и в заголовочной части словарной статьи (*боти́нок*, м. и *боти́нка*, ж.), и при характеристике словоформ, и в некоторых других случаях.

1. Вариантность в грамматическом роде и типе склонения. В БАС указывается: *амфи́бия*, ж. — в иной форме: *амфи́бий*, м.; *харч*, м. — в иной форме: *харчь*, ж., с оправдательными примерами: *вся харчь* (Гоголь,

[11] В тех же случаях, когда картотечная цитата с устарелой орфограммой необходима для иллюстрации других особенностей употребления слова (семантики, сочетаемости и т. д.), а издания после 1956 г. не имеется, составитель должен следовать общему положению Инструкции 1958 г. и перевести это написание (например, *хлибкий*) на новую орфографию (*хлипкий*).

Тарас Бульба); *моя харчь* (Тургенев, Постоялый двор). С точки зрения современной грамматической нормы, *амфи́бия* — только жен. рода, а *харч* — только муж. рода (*обильный харч*, а не *обильная харчь*). В этих случаях регистрации БАС (в иной форме: *амфи́бий*, *харчь*) противоречат и правилам современной орфографии. Гоголевское *вся харчь* и аналогичные формы будут отмечаться как устарелые.

2. Характеристика падежных форм. Во втором издании БАС необходимо более целенаправленно и последовательно осуществить характеристику вариантных падежных форм, в том числе — род. падеж ед. числа у существительных муж. рода. В БАС применительно к существительным с вещественным значением используются три приема: а) указание на наличие вариантных форм (*-а* и *-у*) сразу после исходной формы (например, *чай*, *ча́я* и *ча́ю*; *кипято́к*, *тка́* и *тку́*; *клей*, *кле́я* и *кле́ю*); б) форма на *-у* приводится в справочном отделе (например, *лак*, *а* — в иной форме: *ла́ку*; *карто́фель*, *я* — в иной форме: *карто́фелю*); в)форма на *-у* считается малопродуктивной и вообще не указывается (т. е. нормой признаются только формы на *-а*: *бензи́на*, *габарди́на*, *кероси́на*, *кефи́ра*, *кодеи́на*, *нарза́на*, *сала́та* и т. п.).

Очевидно, что такая характеристика вариантных форм во многом (если не целиком) опирается не на грамматическую теорию, а зависит от наличия в картотеке цитат с формой на *-у*. Такой прием, естественно, нельзя назвать удачным. Внутренние непоследовательности БАС здесь достаточно отчетливы. Ср., например, *лимона́д*, *а* и *у*, но *нарза́н*, только *а*; *пирамидо́н*, *а* и *у*, но *кодеи́н*, только *а*.

Адекватное отражение парадигматики слова в ряде случаев не может быть достигнуто без анализа и характеристики синтагматических условий функционирования его в речи. Более полный набор типичных словосочетаний (речений), приуроченных к определенным словоформам, мог бы служить лексикографическим приемом, не только иллюстрирующим лексические связи, но и разграничивающим индивидуальные грамматические особенности конкретного слова.

Второе издание не должно, на наш взгляд, следовать чрезмерно либеральному подходу к грамматической норме, который частично обнаружился в последнем (13-м) издании «Орфографического словаря русского языка». В нем равноценными признаны, например, формы им. мн.: *корре́кторы* и *корректора́*, *та́бели* и *табеля́* и т. п. Ни данные социолингвистического обследования, ни материал художественной литературы не представляют еще веских доказательств их стилистической равноценности.

3. В нормативной переориентации нуждаются некоторые формы вторичных образований глаголов несовершенного вида на *-ыва-*(*-ива-*), которые постепенно становятся ведущими вариантами по сравнению с формами на *-а*(*-я*). Если раньше формы *накоплять*, *затоплять*, *одолжать*, *отряхать*, *приспособлять* и т. п. свободно употреблялись во всех стилях речи, то в последние десятилетия резко возросла продуктивность вторичных форм с суффиксом *-ыва-*(*-ива-*) (*накапливать*, *затапливать*, *одалживать*, *отряхивать*, *приспосабливать* и т. п.). Во втором издании БАС эти реальные языковые сдвиги несложно показать посредством изменения места отсылочных определений. Вместо: *затапливать* — то же, что *затоплять*; *приспосабливать* — то же, что *приспособлять* и т. п. — ведущими вариантами во многих случаях следует признать вторичные образования с суффиксом *-ыва-*(*-ива-*) (*затапливать*, *приспосабливать*), а формы на *-а*(*-я*) снабдить отсылочными определениями: *затоплять* — то же, что *затапливать*, *приспособлять* — то же, что *приспосабливать*. Некоторые формы (например, *восстановлять*, *отряхать*) нужно уже квалифицировать как устарелые.

Третий прием. Включение во второе издание БАС продуктивных новообразований (акцентологических, морфологических, синтаксических).

Усиление принципа нормативности во втором издании мыслится, главным образом, как внутренняя нормативная переоценка, т. е. уточнение нормативных характеристик уже представленных в БАС слов и словоформ. Однако в отдельных случаях появляется необходимость включения в БАС новых, продуктивных форм, а также исключения некоторых, уже не свойственных современному языку образований.

В новом издании БАС, вероятно, должны быть показаны такие продуктивные акцентные варианты, как: род. ед. *гуляша́* (в первом издании только: *гуля́ша*), формы жен. рода кратких прилагательных с накоренным ударением: *жесто́ка*, *скло́нна*, *стра́стна* и др., новые ударения в исходных формах существительных и прилагательных: *при́кус*, *фреза́*, *праде́довский* и т. п. Некоторые акцентологические образования целесообразно привести в справочном отделе с необходимым комментарием. Например: *фре́за*.— С иным (обычно в профессиональной речи) удар.: *фреза́*.

В существенных добавлениях нуждается грамматическая характеристика слова. Речь идет о включении и нормативной квалификации продуктивных морфологических новообразований и пропущенных по тем или иным причинам грамматических форм слова. Целесообразно, например, характеризовать им. мн. слова *взвод* (*взво́ды*, *ов* и простореч. *взвода́*, *о́в*), нет в Словаре форм им. мн. при слове *клевер* (*кле́веры* или *клевера́*?), не показаны «трудные» формы род. мн. от слов *взгорье* (*взго́рий* или *взго́рьев*?), *предгорье* (*предго́рий* или *предго́рьев*?) и мн. др. Некоторые слова требуют пересмотра родовой характеристики. Например, аббревиатура *ТАСС* квалифицируется как слово среднего рода (в соответствии с этимологическим принципом: стержневое слово *агентство*). Но для современного языка характерно установление грамматического рода не по смысловому, а по формальному признаку, поэтому аббревиатура *ТАСС* употребляется сейчас обычно как слово муж. рода (ср.: *ТАСС уполномочен заявить*).

Многие грамматические новообразования целесообразно приводить в справочном отделе словарной статьи. Такой прием, с одной стороны, незначительно повлияет на увеличение объема переиздания, а с другой — повысит информативное содержание справочного отдела, предназначенного, в основном, для специалистов-филологов. Указания на новые, продуктивные формы, снабженные необходимым стилистическим комментарием, соответствуют не только узконормативным задачам БАС, но удовлетворяют и принципу историзма, понимаемому как отражение ретроспективы и перспективы в развитии языковой единицы.

III. Стилистическая оценка слов. Усилению принципа нормативности БАС будет способствовать также уточнение стилистических оценок и характеристик слова, некоторое усовершенствование способов и приемов показа сферы и условий его функционирования. Набор стилистических помет, принятых в БАС, остается неизменным и во втором издании, несмотря на то, что именно эта сторона БАС вызывала наиболее острые критические замечания (В. В. Виноградова, Ф. П. Филина, Ю. С. Сорокина, А. М. Бабкина и др.). Известно, что основные трудности определения стилистического статуса слова в БАС связаны с совмещением нормативно-стилистического и исторического принципов. Задача здесь сводится к тому, чтобы все стилистические характеристики давались с точки зрения стилистической дифференциации словарного состава современного языка. Однако задача эта представляется нелегкой прежде всего потому, что в русском языкознании до сих пор еще слабо разработана стилистика, ее категории и соотношения.

IV. Унификация разработки однородных языковых явлений. БАС создавался в течение длительного времени, принципы его составления не раз менялись и уточнялись, над ним работал большой коллектив составителей и редакторов, не все части БАС были одинаково хорошо обеспечены картотечными материалами. Все это с неизбежностью приводило к излишне большому, а порой и неоправданному диапазону приемов и способов разработки в БАС идентичных языковых фактов и явлений. Если с этим приходилось мириться в первом издании, то во втором издании случаи разнобоя в разработке одинаковых явлений должны быть по возможности сведены к минимуму.

Задачи толкового словаря не могут быть ограничены только раскрытием и истолкованием значений слов, как отдельных лексических единиц языка. В них входит также показ места каждого слова в лексико-семантической системе языка, раскрытие его отношений к другим словам. Это достигается прежде всего и главным образом выработкой однотипных определений (моделей, способов определений) для тех или иных групп (категорий) лексики. Эти типы определений должны применяться к производным словам (так называемые «грамматические» определения, к определенным лексико-грамматическим классам слов, к тематическим и лексико-семантическим группам, однотипные толкования названий растений и животных, домашней утвари и одежды, построек и земельных участков и т. д.). А. П. Евгеньева на материале 4 тома БАС хорошо показала, что эти однотипные определения далеко не всегда выдерживаются и это в известной мере затрудняет возможность наиболее полного раскрытия значений слова и условий его функционирования в языке [12].

А. П. Евгеньева указывала на необходимость унификации разработки глаголов с аффиксом *-ся* (имеются в виду собственно-возвратные и страдательные значения), относительных прилагательных, существительных на *-ние*, *-ство* и других разрядов производных слов [13].

Разработка этих категорий словарного состава сильно различается от тома к тому, а нередко эти различия обнаруживаются и в одном томе БАС. Нуждаются в унификации способов разработки сложносокращенные слова и аббревиатуры, числительные и многие тематические и лексико-семантические группы слов (термины родственных отношений, названия дней недели, глаголы звучания и т. п.). В период издания БАС и после его выхода в свет в специальной литературе появилось много рецензий, статей, затрагивающих эти стороны БАС. При выборе наиболее оптимального способа подачи тех или иных явлений необходимо творчески использовать все эти работы.

V. Исправление различного рода ошибок и неточностей. Как всякий большой лексикографический труд, БАС не лишен разного рода неточностей, ошибок, промахов. Эти ошибки касаются и разработки семантической структуры слов, и грамматической и стилистической характеристик, и цитатного материала, и сведений, содержащихся в справочном отделе [14]. Одной из главных задач второго издания является исправление всех этих ошибок и неточностей. Однако следует подчеркнуть, что исправлению подлежат только те случаи, которые допущены в нарушение принципов БАС, изложенных в Инструкции 1958 г., ибо, как уже говорилось,

---

[12] См.: А. П. Евгеньева, О некоторых лексикографических вопросах, связанных с изданием Большого словаря современного русского литературного языка АН СССР, «Лексикографический сборник», II, М., 1957.

[13] См. там же.

[14] Здесь нет необходимости указывать на конкретные ошибки в разработке отдельных слов или отдельных категорий лексики. Читатель может найти примеры таких ошибок в рецензиях и отзывах на БАС (впрочем, не всегда справедливых).

в настоящее время не ставится задача пересмотра приемов и способов семантической характеристики слов. Безусловно должны быть устранены все случаи неверного, неточного или несколько неполного истолкования значения слов, неоправданного выделения значений и оттенков, неверного распределения значений внутри словарной статьи, стилистические шероховатости в тексте толкования и т. п. Это относится и к таким случаям, как выделение в слове *толка́ч* (15 том) значения «мельничный жернов» на основе ошибочной интерпретации цитат из Никитина (*От грома мельница дрожит, Идет работа толкачами*) и В. Овечкина [*Бабы говорят: толкач муку покажет* (здесь *толкач* употреблено в значении «пест»,— речь идет о толчее)] и к случаям более сложным, но не менее курьезным.

Особое внимание должно быть обращено на проверку толкований специальных терминов и слов, примыкающих к специальной терминологии. Как уже отмечалось, в БАС нередко проявлялось стремление к неоправданному энциклопедизму в толкованиях терминов [15]. Задача второго издания заключается в устранении этих отступлений от принципов разработки специальных слов в толковом словаре. В толковом словаре языка нет необходимости характеризовать термин с такой же точностью, детальностью, доступной лишь специалисту. Задачи филологического словаря — истолковать значение термина, а не описать понятие, которое этим термином обозначается.

VI. Иллюстрации. Одной из наиболее сильных сторон БАС является богатейший иллюстративный материал, делающий его не только справочником, но и своеобразной книгой для чтения. Иллюстрации (цитаты), сопровождающие каждую словарную статью, не только подтверждают наличие в языке того или иного слова, но нередко дополняют его семантическую характеристику, показывают специфику употребления и сферу жанрово-стилистического функционирования, особенности сочетаемости слова и его связей с другими словами. Второе издание БАС должно сохранить и улучшить эту сторону.

Однако представляется возможным и необходимым пересмотреть или уточнить некоторые принципы иллюстрирования во втором издании БАС.

В БАС (особенно в восьмом и последующих томах) проявилось увлечение пространными цитатами, когда они нередко уводят в область энциклопедизма, хрестоматийности, сообщая массу сведений, вовсе не необходимых для понимания условий функционирования слова. Это относится к статьям на обычные слова, но особенно заметно проявилось в словарных статьях на термины [16]. Во втором издании БАС необходимо избежать этого путем соответствующей обработки и сокращения пространных цитат, а также и их количества. Мы сознательно не ставим перед собой цели давать в словаре весь цитатный материал, имеющийся в картотеке. Цитаты из картотеки должны отбираться со строго заданными целями и экономно.

Представляется неоправданным и неэкономным реализованное в БАС правило (особенно во второй его половине) сопровождать каждое значение или оттенок значения, словосочетание, форму и т. п. двумя-тремя (а часто и более) цитатами. Для многих общеупотребительных слов в их исходных значениях (например, *вода*, *дом*, *стол*, *корова*, *лошадь* и т. д. и т. п.) достаточно одной хорошо подобранной цитаты, а в целом ряде случаев необходимо ограничиваться сочетанием (речением), ибо не всякое слово или значение нуждается в сопроводительной документации. Речение вместо цитат

---

[15] См. об этом: Ф. П. Сороколетов, Смысловая характеристика терминов в толковых словарях, «Лексикографический сборник», V, М., 1962; А. М. Бабкин, указ. соч.

[16] См. об этом: А. П. Евгеньева, указ. соч., стр. 177; А. М. Бабкин, указ. соч., стр. 31—32.

целесообразнее приводить в словарных статьях на многие специальные термины. Во многих случаях цитата и речения и вовсе не нужны

Не останавливаясь более подробно на характеристике требований к иллюстративному материалу во втором издании БАС, заметим, что рекомендации относительно оправдательных цитат, предложенные А. М. Бабкиным в Проспекте нового академического словаря русского языка, могут быть положены в основу правил цитирования при подготовке второго издания БАС [17]. Это не только приведет к значительному сокращению объема БАС (а это очень важно, так как он заметно пополнится новыми материалами), но и сделает сами словарные статьи более обозримыми и стройными.

Надо также иметь в виду, что первые тома БАС составлялись на основе картотеки, значительно более бедной, чем последующие. Это неизбежно приводило к тому, что многие слова на начальные буквы алфавита проиллюстрированы далеко не лучшими примерами на употребление их в письменных источниках. Когда первые тома БАС были уже составлены и опубликованы, картотека значительно обогатилась материалами, извлеченными из произведений классической и особенно советской литературы. Естественно, что при переиздании БАС цитатный материал в этих томах (а отчасти и в последующих) должен быть в значительной мере обновлен и «осовременен».

Весь цитатный материал, содержащийся в БАС, нуждается в проверке и тщательном пересмотре. В цитатах наиболее ощутимо проявляется время составления словаря с его политическими, идеологическими и философскими взглядами, с его успехами в развитии производства, науки, культуры. С течением времени определенные цитаты могут устаревать по содержанию или перестать удовлетворять тем или иным требованиям другого характера. Естественно, что такие цитаты при переиздании должны быть заменены.

В этой статье затронуты далеко не все вопросы, встающие в связи с подготовкой второго издания семнадцатитомного «Словаря современного русского литературного языка». Работа над подготовкой нового издания уже начата, однако и в процессе осуществления этого важного, но в то же время весьма трудного лексикографического предприятия будет продолжаться уточнение некоторых принципов БАС и способов разработки лексического материала. Будет продолжаться и обогащение его материальной базы — картотеки цитат, выбираемых из произведений современной художественной, публицистической, научно-популярной и научной литературы.

---

[17] А. М. Бабкин, указ. соч., стр. 31—34.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1976

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

Б. Н. ГОЛОВИН

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ И ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ИДЕИ

1. Проблема, обозначенная в заглавии статьи,— одна из серьезнейших в современной лингвистической науке. Сама по себе она не может быть решена и требует обращения к другим, не менее сложным проблемам,— таким, как значение языкового знака, слово и понятие, научное мышление и его языковое выражение, история и современное состояние лингвистических идей. Но каждая из этих проблем также еще ждет своего решения, несмотря на обилие опубликованных работ и многообразие высказанных мнений.

Лингвистическая терминология в ее отношении к лингвистическим идеям настоятельно требует осмысления и в прагматическом, утилитарно-практическом плане. Всем известны затруднения, возникающие в науке и в преподавании и порождаемые либо «неустроенностью» самой лингвистической терминологии, либо неосмотрительным и необдуманным ее применением. И хотя в последнее десятилетие возросло число публикаций в области терминоведения, в самой лингвистической науке, кажется, все еще не пробудился достаточно глубокий интерес к взаимосвязям лингвистических терминов и лингвистических идей, несмотря на обилие требующих этого пробуждения фактов.

2. Так как в этой статье осуществляется попытка наметить некоторые (лишь наметить и лишь некоторые) из отношений между лингвистическими терминами и лингвистическими идеями, возникает потребность пояснить, в каком именно смысле будут применяться слова «термин» и «идея». Термином я буду называть слово или словосочетание (построенное на базе подчинительных связей), имеющее профессиональное значение, формирующее и выражающее профессиональное понятие, применяемое в процессе (и для) познания и освоения некоторого круга объектов и отношений между ними — под углом зрения определенной профессии. По условиям места здесь не даются ни аргументация в защиту предложенного определения термина, ни возражения против неприемлемых для автора определений. Словом идея я буду обозначать понимание, истолкование, объяснение объектов познания, т. е. содержательные компоненты научных гипотез и теорий. Идея не совпадает ни со значением термина, ни с понятием, термином выраженным, однако идея и термин взаимодействуют в процессе познания, в чем и заключается одна из трудностей проблемы. В принципе, один и тот же термин может оказаться, при его повторении, участником выражения одной и той же идеи и может выражать идеи разные, несовпадающие и даже далекие друг от друга. Почему, в каких условиях возникает идейная моно- и полифункциональность термина, к чему ведет та и другая — вот один из острых вопросов современного развития и функционирования лингвистической теории.

3. Осмысление соотношения «термин — идея» неизбежно ведет к тому или иному пониманию значения языкового знака, и прежде всего — слова. В числе других может быть предложено и такое понимание значения, которое будет опираться на смысл термина «информация», при условии, что этот термин будет применяться в смысле качественном, а не количественном (шенноновском). Допустив, что информация — это след, оставляемый в системе (объекте) Б воздействием системы (объекта) А, мы можем также допустить, что значение слова — это его способность «нести» информацию о чем-то, что отличается от него самого. В речи производимой слово информацию выражает, в речи воспринимаемой — возбуждает, т. е. заставляет мозг слушателя или читателя извлекать информацию из кладовых памяти и преобразовывать.

Грубо можно наметить три типа информации, которую способно «нести» слово: а) информация о предметах и отношениях реального, объективного мира; б) информация о различных состояниях сознания субъекта — производителя речи; в) информация об элементах самой языковой системы и связях между ними. В соответствии с этим можно наметить типы словесных (шире — языковых) значений. Если слово несет информацию о предметах и отношениях объективного мира, оно имеет о б ъ е к т н о е значение (*поле*, *самолет*, *бежать*, *говорить*, *глиняный*, *весенний*). Если слово несет прежде всего информацию о различных состояниях сознания субъекта — производителя речи, оно имеет с у б ъ е к т н о е значение (*ноченька*, *дармоед*, *здоровенный*, *малюсенький*, *прошляпить*, *выклянчить*), при этом слово не утрачивает обычно и своего объектного значения. Если, наконец, слово несет информацию о других словах или иных элементах системы языка, оно имеет с т р у к т у р н о е значение (*высокий — низкий*, *грустно — весело*, *вежливый — деликатный — обходительный — чуткий*, *речистый — речь*, *перейти — идти*, *чересполосица — полоса*, *отдаленно — отдаленный — даль — удалить — далекий*). Как правило, слово совмещает в себе значения двух или трех типов, хотя в речи актуализируется лишь один из них, другие же оказываются затененными; по-видимому, чаще и очевиднее актуализируются объектные значения слов.

Изложенный только что подход к словесным значениям имеет много общего с другими подходами, допускающими, что значение — это выраженное словом отображение предмета, что это понятие, закрепленное за словом, или что это отношение слова к предметам и понятиям. Автор статьи не имеет возможности обсуждать здесь все pro и contra каждой гипотезы словесного значения. Но какая бы гипотеза ни была принята, сохраняется возможность признать существование трех типов отношений слова к чему-то, что находится вне самого слова. Эти отношения названы наукой — денотативное (отношение к предмету), сигнификативное (отношение к понятию), структурное (отношение к другому слову). Эти три типа отношений хорошо согласуются с тремя типами словесных значений, намеченными выше. И это принципиально важно для осмысления хотя бы некоторых сторон проблемы «термин — идея».

4. Достаточно поставить, казалось бы, простой и естественный вопрос, что обозначает (выражает) термин — реальный объект или понятие о нем, чтобы увидеть, что на этот вопрос не очень просто ответить и что от принятого ответа многое будет зависеть в осознании и решении проблемы «термин — идея». Так, если лингвистический термин обозначает некоторый реальный языковой объект (выражая, разумеется, и понятие о нем), мы обязаны беспокоиться о том, чтобы применение одного и того же термина разными лицами, представителями различных лингвистических течений, школ, методов было ориентировано на одну и ту же языковую реалию. Если же лингвистический термин выражает лишь некоторую

абстрактную логико-языковедческую идею, некий конструкт, становится необязательной его устойчивая предметная отнесенность, что открывает широкий простор для понятийно-терминологического и идейно-содержательного произвола.

Многие факты языковедческой жизни последних двух десятилетий заставляют с тревогой думать и говорить именно о таком произволе, причиной которого является ошибочность философских позиций отдельных лингвистов, их желание уйти от жесткой необходимости следовать известному материалистическому принципу, утверждающему первичность бытия и вторичность сознания. Бытие языка, народа первично по отношению к индивидуальному сознанию усваивающего язык и применяющего его человека. Язык как исторически сложившийся сложнейший знаковый механизм общения — объективен и реален в своем материально-идеальном «естестве». Это не исключает, а предполагает участие субъекта и моменты субъективности в усвоении, а также в использовании языка в речи. Но если язык — объективен и реален, должны быть признаны объективными и реальными все его структурные стороны (или «уровни») и образующие их элементы, включая предложение, слово, морфему и фонему.

Между тем в современных публикациях, отечественных и зарубежных, нередки высказывания, объявляющие язык системой абстрактных сущностей, а такие его стороны и элементы, как грамматика, фонетика, глагол, фонема и подобные, — конструктами, созданными абстрагирующей работой ученых. Конечно, сами по себе упомянутые высказывания еще не говорят о том, что их авторы не видят объективности языка, его независимости от лингвистических понятий и гипотез. Однако утверждения о том, что язык, его структура и система, его единицы и категории не что иное, как абстракции и конструкты, несут на себе печать методологической двусмысленности и нечеткости, допускающей, будто объект лингвистической науки конструируется самой наукой.

Небесполезно вспомнить о том, что следует различать реальный объект, его стороны, элементы и отношения, и понятия о них, закрепленные в терминах и выражаемые ими. Есть реальная, объективная единица языка — фонема. И есть понятие, отражающее существенные свойства и признаки этой единицы, оно выражается термином «фонема». Фонема — объективная, материальная языковая величина. «Фонема» — конструкт, абстракция, созданная мыслью ученых в результате наблюдения и обобщения «обнаружений» и применений фонемы. Между фонемой и «фонемой» существуют отношения, понимание которых принципиально важно для предупреждения и устранения теоретической методологической путаницы и нечеткости — в понимании и описании языка, в осмыслении задач и возможностей науки, в изучении лингвистической терминологии и ее связей с лингвистическими идеями. Фонема — предмет наблюдения и познания, «фонема» — результат познания, отображающий не только реальные свойства фонемы, но и различия между научными школами и отдельными учеными в ее понимании.

Аналогичны описанным отношения между структурой языка как объективной реальностью и «структурой языка» как лингвистической абстракцией, созданной учеными на основе наблюдения и обобщения многих и разных проявлений, обнаружений реальной языковой структуры, которая не предписывается языку учеными, а лишь познается ими для ее более разумного применения. Диалектический материализм и его теория познания позволяют трезво и непредвзято увидеть действительные, реальные соотношения между тем, что познается, и тем, что формируется в процессе познания, включая терминологию с ее идейно-понятийным наполнением и использованием.

Единственным конечным объектом лингвистики был и остается реальный язык людей во всем многообразии его этно-исторических вариантов и во всей сложности и многосторонности его структуры, ее функционирования и развития. Язык реален и объективен — в своем сложном целом, во всех своих сторонах, «частях» и единицах. Именно поэтому как объект наблюдения, описания, обобщения, познания язык один и тот же — для разных ученых, лингвистических школ, направлений и методов. Ученые, представители разных лингвистических школ и направлений, воспринимают язык под разными углами зрения, в аспекте неодинаковых методологических установок — в том числе и таких, которые порождают иллюзии, побуждающие говорить о языке и его структурных «подразделениях» как о конструктах, полученных на разных ступенях научной абстракции. Между тем конструктами оказываются не язык и его структурные «подразделения», а отображающие его (и их) лингвистические понятия и термины. На каком-то этапе развития науки эти понятия и термины сами становятся предметом наблюдения и анализа, превращаются, в их совокупности и системе, в особый, вторичный, объект лингвистики. В головах отдельных лингвистов происходит подмена первичного объекта их науки вторичным, что и порождает опасную для науки и образования иллюзию «конструктивности», «абстрактности» языка, его структуры, ее областей, «частей» и единиц. Возникает даже мысль о том, что объект науки как бы создается самой наукой и что различные типологии и классификации языковых единиц, различные членения языковой структуры обусловлены не реальными ее свойствами, а подходами к ней ученых, аспектами и углами зрения исследователей. Между тем подходы, аспекты, углы зрения могут, если они разумны, лишь обнаруживать разные стороны, разные аспекты реальных сложных систем (или структур), но не могут эти реальные стороны и аспекты создавать. Типологии и классификации языкового материала зависят прежде всего от его свойств и особенностей, в противном случае возникают искаженные и неверные его описания. Для науки о языке, если она ищет объективную истину, т. е. стремится построить лингвистические теории и описания, адекватные объекту (реальному языку реальных людей), далеко не безразлично, какие из возникающих типологических схем принимать, а от каких отказываться. По-видимому, нельзя оставаться в сфере науки и думать, что все кошки серы. Верное методологическое отношение к объекту лингвистического изучения — не желание, а жесткая необходимость. Одним из главных показателей понимания (или непонимания) этой необходимости становится примененная лингвистом терминология и то, как и для чего она применена.

5. В развитии науки неизбежны изменения научных теорий, гипотез, систем описания фактов. Без этого нет ни искания истины, ни тем более ее открытия, т. е. нет самой науки. Это общеизвестно и применимо к любой области знания. И это означает, что ученые, представители и носители различных теоретических концепций, идей, взглядов, должны были бы понимать, что же именно, какие предметы и явления они имеют в виду, когда в спорах ищут истину,— в этом смысле они всегда должны были бы понимать друг друга. Но в действительности так получается далеко не всегда. И одна из причин этого — в неустановленности, неопределенности применения, субъективной сдвинутости объектного значения терминов, их предметной отнесенности. Сдвиги объектного значения лингвистического термина (имеются в виду термины, уже освоенные наукой, а не вновь входящие в нее в речевой практике) могут вызываться разными причинами, в ряду которых свое место занимает методологическое смешение реального лингвистического объекта и его понятийного научного отображения, о чем речь только что шла; сдвиги объектного значения термина могут порож-

даться и личностными мотивами. Но каковы бы ни были причины и мотивы лингвистического, терминологического переодевания языка, его структурных сторон, его единиц и категорий, в любом случае такое переодевание оказывается разрушающим науку, подтачивающим основы ее здорового развития. Иным было бы положение вещей, если бы сдвиги объектного значения лингвистических терминов вызывались великим открытием ошибочности всех наших знаний о языке и необходимости ломки представлений, связанных с понятиями об основных единицах языка, его главных структурных областях, его морфологических классах слов и т. д. Но такого открытия никто не сделал. Видимо, оно и невозможно.

Примеров деструктивного сдвига объектного значения лингвистических терминов более чем достаточно в нашей лингвистической литературе, в особенности в литературе 50—70-х годов. Особой терминологической беззаботностью отмечены, к сожалению, многие работы представителей нашего молодого в недавнем прошлом структурализма, так горячо защищавших «точность и строгость научного описания». Вот один из многих примеров.

В 1960 г. увидела свет статья И. А. Мельчука «К вопросу о „грамматическом" в языке-посреднике» [1], вошедшая позже, в несколько сокращенном виде, в известную лингвистам книгу О. С. Ахмановой, И. А. Мельчука, Е. В. Падучевой, Р. М. Фрумкиной «О точных методах исследования языка» (М., 1961). И если первоначально (в статье) необычные терминологические новации как-то смягчались ссылками на потребности машинного перевода, то позже (в сборнике «О точных методах...») смягчающие ссылки на машинный перевод сняты, а предложенные читателю решения мотивируются общими запросами научной теории и необходимостью... уточнения терминологии. Так что же и как уточнялось?

Глава III в книге «О точных методах...» называется «О некоторых типах языковых значений», и в ней прямо или косвенно рассматриваются и «уточняются» такие термины, как «грамматика», «лексика», «синтаксис», «морфология», а также — «грамматическое значение», «лексическое значение», «синтаксическое значение» и некоторые другие из числа основных в учении о структурной организации языка.

По мнению И. А. Мельчука, «все, что выражается в языке, представляет собой план содержания, или совокупность языковых значений. Языковые значения („означаемые") с точки зрения того, что именно выражается, бывают двух типов» (стр. 33). Если означаемыми оказываются отношения между языковыми элементами, предлагается говорить о с и н т а к с и ч е с к и х значениях. Если означаемыми являются внеязыковые факты, предлагается говорить о л е к с и ч е с к и х значениях (там же).

Нетрудно заметить несоответствие предложенного читателю различения лексических и синтаксических значений как отечественной (и не только отечественной!) лингвистической традиции, так и реальной логике языка. Лексическими традиционно принято называть значения лексических единиц языка, т. е. слов. Эти именно значения показываются и описываются в лексиконах (разумеется, возможны и существуют словари, в которых описываются значения словообразовательные и грамматические). Синтаксическими принято называть значения синтаксических единиц языка — таких, как предложение простое и сложное, сложносочиненное и сложноподчиненное, союзное и бессоюзное, значения членов предложения, категорий обособления и вводности и т. д. Что касается источника информации, которую «несут» лексические или синтаксические значения, то их не два, а три (об этом я уже сказал) — объект, сознание производящего речь субъекта и сама структура языка. Внеязыковая действитель-

[1] Сб. «Машинный перевод и прикладная лингвистика», 4, М., 1960.

ность сигнализируется в языке не только отдельными словами, т. е. лексически, но и грамматическими классами слов и их форм, т. е. морфологически, а также различиями построения предложений, т. е. синтаксически. Такое различение лексики, морфологии и синтаксиса, лексических, морфологических и синтаксических значений общеизвестно и соответствует тому, чем структура языка в действительности располагает.

Вслед за деструктивным применением терминов «лексическое значение» и «синтаксическое значение» читателю предлагается столь же деструктивное использование термина «грамматическое значение». «Те конкретные (в смысле — эти, данные, определенные.— *Б. Г.*) значения, которые в данном языке выражаются обязательно, мы будем называть грамматическими значениями данного языка. Те значения, каждое из которых в отдельности в данном языке выражается не обязательно, будем называть неграмматическими значениями данного языка» (стр. 34). Автор этого высказывания видит, что оно неопределенно, неточно и двусмысленно, и потому пытается спасти его: «Выражение „грамматическое значение данного языка обязательно выражается в данном языке“ означает следующее. Для этого значения имеется ряд показателей, один из которых обязательно появляется в любом высказывании, где есть такой элемент, значение которого может сочетаться (по смыслу) с данным грамматическим значением. Таким образом, в данном языке слово некоторого класса не может быть употреблено без показателей соответствующих грамматических значений» (там же). После ссылок на английский и китайский языки, в одном из которых значение числа — грамматическое, а в другом — неграмматическое, и некоторых дополнительных пояснений признака обязательности выражения грамматического значения, автор несколько неожиданно заявляет: «Для каждого конкретного значения (и, соответственно, для его показателей) обычно требуется специальное исследование. Однако эта проблема лежит вне рамок данной работы; для наших целей достаточно считать, что так или иначе мы умеем отличить грамматические значения данного языка от неграмматических» (стр. 35; разрядка наша.— *Б. Г.*).

Далее утверждается, что «грамматические значения могут быть и лексическими и синтаксическими. Например, значение числа существительных в русском языке является лексическим (различия существительных в числе связаны с внеязыковыми различиями) и грамматическим (так как число существительных в русском языке выражается обязательно). Значения рода, числа и падежа у прилагательных в русском языке также грамматические, но уже синтаксические (различия прилагательных в роде, числе и падеже не связаны ни с какими внеязыковыми различиями, а отражают только синтаксические связи прилагательного)» (стр. 35). Удивляет в этом высказывании та необыкновенная легкость, с которой преодолевается традиционное и привычное деление грамматических значений на морфологические и синтаксические. Вызывает недоумение и аргументация, ссылки на особенности грамматических категорий русских имен существительных и имен прилагательных. Но ведь даже в «Грамматике современного русского литературного языка» 1970 г., авторы которой очень хотели быть новаторами, утверждается: «По отношению к категории числа все существительные делятся на слова с выраженным противопоставлением по числу и слова с невыраженным противопоставлением по числу» (стр. 323). И далее, в §§ 794, 795, 796, 797 слова с невыраженным противопоставлением по числу описываются. И если нет выраженности противопоставления по числу, нет и оснований для утверждения, будто число существительных (значение числа) в русском языке выражается обязатель-

но. Что же касается значений рода, числа и падежа русских имен прилагательных, то связь у этих значений с внеязыковыми различиями есть, но не прямая, а косвенная, вторичная, через соответствующие значения имен существительных. В случаях *взял карандаш* и *взял зеленый карандаш*, *пишу карандашом* и *пишу зеленым карандашом* грамматические значения зависимого объекта, воспринимающего действие, и объекта — орудия действия сигнализируются прямо—окончаниями имени существительного, и косвенно, вторично, дополнительно — окончаниями имени прилагательного *зеленый*.

Далее в цитируемой статье написано: «В соответствии со сказанным теорию языка можно было бы подразделить на лексику, синтаксис и грамматику. Лексика изучает выражение внеязыковых факторов, а синтаксис — выражение всевозможных отношений между языковыми элементами. Грамматика занимает промежуточное положение между лексикой и синтаксисом: она изучает и лексические и синтаксические значения, но только те, выражение которых обязательно в данном языке» (стр. 36; разрядка наша.— *Б. Г.*).

Перед нами не только резкое смещение объектного значения освоенных наукой о языке ее базовых терминов, что само по себе должно вызывать тревогу: как же можно обсуждать с И. А. Мельчуком и его последователями проблемы изучения лексики, синтаксиса и грамматики, если этими словами обозначается совсем не то, что принято, по крайней мере, в отечественной лингвистической традиции? Перед нами и очевидный идейный поворот, пересмотр устоявшихся как будто представлений об объективном, в самой языковой действительности, существовании таких структурных областей, для именования которых были избраны историей науки о языке термины «лексика», «грамматика», «морфология» и «синтаксис». Терминологическим переодеванием проблема объективного структурного членения языка на основные области, или уровни, как бы снимается и замещается проблемой членения теории языка. При таком повороте дела результаты получаются отнюдь не конструктивные. Положение усугубляется все новыми терминологическими «трансформациями». После цитированного высказывания о промежуточном, между лексикой и синтаксисом, положении грамматики, сказано: «Термин „грамматика“ употреблен здесь в более узком смысле, чем это повсеместно принято: обычно под грамматикой понимают не только учение о грамматических значениях, но и синтаксис — учение об отношениях между элементами языка. Чтобы избежать двусмысленности в термине и, вместе с тем, не вступать в противоречие с общепринятой терминологией, мы будем употреблять слово „грамматика“ в обычном традиционном смысле, а учение о грамматических значениях назовем „собственно грамматикой“» (стр. 36; разрядка наша.— *Б. Г.*).

Как все просто и даже трогательно! Перелицовывая и переворачивая традиционную терминологию, автор не хочет вступать с ней в противоречие! Но ведь даже одно только что цитированное высказывание криком кричит о таких противоречиях. В «обычном традиционном смысле» грамматика не понимается как учение о грамматических значениях, не понимается и как учение об отношениях между элементами языка. В «обычном традиционном смысле» грамматика — это, во-первых, грамматический строй самого языка, включающий в себя морфологию и синтаксис, а, во-вторых, это учение именно об этом грамматическом строе, т. е., говоря грубо, учение о частях речи и структуре и типологии предложений. Точнее и полнее грамматику можно определить (если иметь в виду учение, совокупность идей, а не сам язык) как науку, изучающую закономерности и средства построения и изменения слов в системе частей речи, закономер-

ности и средства построения предложений различных типов. Такая грамматика (и морфология, и синтаксис) изучает соответствующие грамматические значения в единстве со средствами и способами их выражения.

В обсуждаемых теоретических построениях И. А. Мельчука пока не нашлось места морфологии. Выход из положения указывает, по-видимому, следующее высказывание: «Все сказанное до сих пор относилось только к характеру языковых значений независимо от способов их выражения. Перейдем теперь к этим способам, которые в зависимости от того, выражаются ли с их помощью какие-либо значения в пределах слова или нет, бывают двух типов:

1. Морфологические, т. е. такие способы, которые состоят в выражении каких угодно языковых значений обязательно в пределах слова. К морфологическим способам относится аффиксация, чередование, редупликация, инкорпорация и т. д.

2. Неморфологические, т. е. способы выражения значений в не пределов слова. К неморфологическим способам относится способ служебных слов, порядок слов и т. д.

(Весьма сложный вопрос о границах слова здесь не рассматривается; для целей настоящей работы достаточно считать, что мы умеем как-то определять границы слов...)» (стр. 37; разрядка наша.— *Б. Г.*).

Так нашлась исчезнувшая было морфология. Но ведь она, оказывается, не соотносится с лексикой: основания ее выделения совсем иные. «Первое и второе противопоставления лежат в разных плоскостях. Поэтому принятое подразделение теории языка на лексику, морфологию и синтаксис представляется неудачным с точки зрения терминологии» (стр. 37; разрядка наша.— *Б. Г.*).

Вот ведь как! Принятое, т. е. традиционное, привычное подразделение теории неудачно. А новое — удачно? Если в это «новое» вдуматься, возникает горькое недоумение, вызываемое немотивированной перекройкой традиционной терминологии, необоснованным смещением предметной отнесенности опорных терминов учения о языковой структуре. Лексические значения принято связывать с лексикой, словарным составом, лексемами. Теперь оказывается, что это терминологически неудачно, и лексические значения выражают «нечто, лежащее вне языка». Значения синтаксические принято связывать с теми структурными единицами языка, которые образуют его синтаксис (предложение, его члены, его типы и т. д.). Предлагается называть синтаксическими значения, выражающие отношения между языковыми элементами. Морфологические значения, по-видимому, вообще устраняются, и такие значения, как видовые, залоговые, значения форм времени должны числиться по разряду лексических. Издавна признанное соотношение лексических и грамматических значений как свойственных отдельным словам и классам слов (и их форм) предается забвению. Привычный, традиционный и достаточно трезвый взгляд на язык, его структуру, ее организацию отвергается, так как фонемный, морфемный, лексический, словообразовательный, морфологический, синтаксический пласты и уровни языка вступают в очевидный конфликт с новой «теорией». Что же предлагается взамен?

6. Можно сказать, что терминологические новации, о которых только что сказано, дело в общем прошлое, что их автор теперь не тот, каким он был в 1960 г. В какой-то мере это справедливо. Но вместе с тем все эти (и подобные) новации остаются фактами современной лингвистической жизни, и они заслуживают самого серьезного осмысления ради самой науки, ее здоровья, ради тех молодых сил, которые в нее пришли недавно и

приходят теперь и которые легко поддаются влияниям действительного и мнимого новаторства. Кроме того, пока нет оснований думать, что в позднейших работах авангардистов отечественного структурализма идейно-терминологические убеждения и соответствующая им практика стали иными. Можно было бы думать, что сам И. А. Мельчук, отойдя на более чем десятилетнее расстояние, посмотрит на свою работу о типах языковых значений критически и известит об этом коллег по науке. Этого пока не произошло. Больше того, в недавно увидевшей свет большой работе «Опыт теории лингвистических моделей „Смысл ↔ Текст“» (М., 1974) просматривается старая принципиальная позиция отбрасывания «обычного», «традиционного» применения лингвистических терминов, позиция разрушения их объектного значения. Любопытно при этом, что автор, созидая теорию лингвистических моделей «Смысл ↔ Текст», даже не вспоминает свою десятилетней давности теорию типов языковых значений. Почему? Видимо, потому, что та, «старая», теория стала ненужной и неудобной в новых условиях и она легко заменяется новой, построенной, как и старая, на той же самой принципиальной основе деструктивной перестройки лингвистических терминов и выражаемых ими лингвистических идей.

Книга «Опыт теории лингвистических моделей „Смысл ↔ Текст“» — большое по объему произведение, написанное рукой опытного в своем деле человека. В книге, естественно, большое место занимают базовые для всей теории термины, в их числе — «язык», «модель», «смысл», «текст». Попытаемся присмотреться к их использованию автором книги и к их идейно-лингвистическому функционированию. И как бы внимательно ни присматривался читатель к жизни этих терминов в тексте книги, он, читатель, не может, к сожалению, уловить их предметную отнесенность. Но зато отчетливо проступает размытость, если не сказать резче, их объектного значения.

Моделью (чего? по-видимому, языка) называется громоздкое и по существу не воспринимаемое в его целом описание соответствий между «смыслами» и «текстами»; это описание включает «семантический компонент», «синтаксический компонент» (они изложены в книге) и «морфологический компонент» (он будет изложен во второй книге, еще не изданной). Каждый из «компонентов» имеет внутреннее членение. Видимо, термины «семантический компонент», «синтаксический компонент» и «морфологический компонент» соотнесены с терминами, обозначающими «уровни представления» (а «представление» это не что иное, как описание); вводятся пять таких уровней — семантический, синтаксический, морфологический, фонологический и фонетический (стр. 33—35). Эти уровни представления как будто соотнесены со структурными сторонами (уровнями) самого языка. Но это всего лишь предположение. Когда вчитываешься и вдумываешься в высказывания о внутреннем членении каждого уровня представления (стр. 32—35), начинаешь замечать, что, например, семантический уровень содержит символы элементарных смысловых единиц — сем — и сведения о теме и реме, об актуальном членении (по-видимому, что-то вроде лексической семантики и семантического синтаксиса?); синтаксический уровень включает, в числе прочего, символы обобщенных, или абстрактных, лексем, которые могут иметь некоторые морфологические характеристики на этом же «уровне»,— сведения о коммуникативной организации фразы, о тождестве денотатов тех или иных именных групп и т. д.; «синтаксический уровень представления» оказывается соотносимым с разными структурными сторонами языка. Сознание автора и читателей все время вращается в каком-то порочном кругу замкнутых в себе конструктов, выходы из которого в реальную структуру языка как будто намечаются, но не осуществляются. Изложение, основанное на необычном, перелицованном применении привычной терминологии и на обильном включении

новых терминов, оказывается столь усложненным и столь неясным, что становится не по себе от сознания невозможности пробиться через паутину фраз к их реальному, соответствующему свойствам языка смыслу, если он есть. Читателя автор все время держит в плену недоговоренностей, теоретических недомолвок и «недоводок», в плену такой системы мышления и изложения, которая постоянно порождает двусмысленность: может быть, автор говорит о языке, а может быть, он имеет в виду лишь некоторое абстрактное его описание, которое, по допущению, могло бы быть отнесено к некоему языку *L*.

Любопытно, как сформулировано понимание сути работы И. А. Мельчука в краткой аннотации к его книге: «Лингвистическая модель типа „Смысл ↔ Текст" — это способ описания естественного языка, предполагающий создание системы правил, механическое применение которых позволяет устанавливать соответствие между данным смыслом и всеми текстами рассматриваемого языка, выражающими этот смысл... По существу автором предлагается определенная теория языка, иллюстрируемая на примере таких понятий, как семантическое представление, несвободная лексическая сочетаемость, глубинно-синтаксические и поверхностно-синтаксические структуры, глубинно- и поверхностно-синтаксические актанты, модель управления и т. д.» (разрядка наша.— *Б. Г.*). Едва ли текст аннотации не был прочитан и одобрен автором книги,— тем более допустимо это сомнение, что в основном тексте книги выражены, и неоднократно, сходные мысли. Значит, автор развивает не только теорию описания языка, но и теорию самого языка? Видимо, так. Иначе необъяснимы те сдвиги в привычной терминологии, которыми изобилует весь текст работы.

Е. В. Падучева недавно предложила читателям статью «Некоторые проблемы моделирования соответствия между текстом и смыслом в языке»[2]; статья посвящена изложению и, видимо, популяризации взглядов, высказанных в книге И. А. Мельчука о теории лингвистических моделей «Смысл ↔ Текст». Е. В. Падучева убеждает читателя в том, что эта книга является вкладом не только и не столько в методику описания языка, сколько в лингвистическую теорию. Вот два высказывания из статьи Е. В. Падучевой: «Исследования в области функционального, т. е. ориентированного на семантику, описания различных уровней языка ведутся учеными разных стран и разных лингвистических школ... Мы рассмотрим ниже один из наиболее глубоких и продвинутых подходов к описанию языка, ориентированных на функционирование языка в качестве средства выражения смысла — так называемую теорию лингвистических моделей „смысл — текст" — в той форме, в которой она изложена в наиболее полной из появившихся публикаций — книге И. А. Мельчука» (стр. 548). «Особенность данной концепции языка состоит в ее глобальности: речь идет не об описании отдельного языкового явления, отдельного уровня языковой структуры и т. д., а именно об описании языка в целом. Это обеспечивает не только последовательность (т. е. требует от авторов согласованного решения огромного количества проблем), но и, главное, проверяемость описания. Лингвистическая теория, чтобы быть проверяемой, по необходимости должна быть в достаточной мере крупномасштабной» (стр. 550).

Но если перед нами крупномасштабная, проверяемая и даже глобальная новая теория языка, позволяющая описывать язык в целом, тем настоятельнее потребность читателя понять, ясно увидеть, что же скрывается у автора этой теории за применяемыми им терминами.

---

[2] ИАН ОЛЯ, 1975, 6.

Нет сомнения, что один из самых базовых в лингвистике терминов — язык. Вот как раскрыто его значение в книге И. А. Мельчука: «Естественный язык — это особого рода преобразователь, выполняющий переработку заданных смыслов в соответствующие им тексты и заданных текстов в соответствующие им смыслы.

Другими словами, язык рассматривается нами как определенное соответствие между смыслами и текстами (или, что то же самое, как много-многозначное отображение множества смыслов на множество текстов) плюс некоторый механизм, „реализующий" это соответствие в виде конкретной процедуры, т. е. выполняющий переход от смыслов к текстам и обратно» (стр. 9).

Как видим, термин «язык» получает в книге иную предметную отнесенность, иное объектное значение, чем это принято. Правда, по мнению Е. В. Падучевой, новая формулировка, определяющая язык, отличается от традиционных «лишь сдвигом логического акцента» (ИАН ОЛЯ, стр. 550). На самом же деле происходит коренная переоценка лингвистических ценностей. Язык для автора книги вовсе не знаковый механизм общения, при помощи которого сознание человека «смыслы» преобразует в «тексты». И, конечно, не случайно на стр. 13 книги ее автор утверждает: «...язык-преобразователь выступает для лингвистики в роли широко известного „черного ящика". Лингвист может наблюдать только результаты функционирования языка в различных речевых актах, но не может непосредственно наблюдать сам функционирующий преобразователь, т. е. собственно язык. При этом, однако, лингвистов интересует прежде всего и больше всего именно язык: исследуя речь, они всегда стремились понять и описать стоящую „за" речью и порождающую ее систему (= язык).

В такой ситуации для лингвистов естественно обратиться к построению функциональных моделей языка».

Итак, язык — «черный ящик», он не поддается непосредственному наблюдению. Трудно поверить, что все это говорится всерьез и от имени науки — надо думать, и отечественной. От Ломоносова до Виноградова можно назвать имена многих выдающихся филологов и лингвистов, для которых азбучной истиной было признание реальности и наблюдаемости языка, его единиц, категорий, связей и отношений между ними. И разве не единицы и категории языка описываются в толковых словарях и грамматиках? Разве не языковые реальности осмысливаются и показываются в труде В. В. Виноградова «Русский язык»? Конечно, никакое индивидуальное «лингвистическое сознание» не может охватить систему языка в целом, и эта система «разымается» на ее составные части и единицы, а затем «собирается». Но ведь это не может служить основанием для утверждений о ненаблюдаемости самого языка, который, кстати, стоит не «за» речью, а находится в ней, образует ее. Понимание и применение термина «язык» автором книги о лингвистических моделях «Смысл ↔ Текст» нисколько не похоже на общепринятое и вносит несусветную путаницу в лингвистические взгляды, гипотезы и теории.

Еще более затемняется понимание языка высказываниями, заставляющими думать, что их автор смешивает язык как знаковый механизм общения и психо-физиологические процессы его использования. Вот одно из таких высказываний: «Подчеркнем, что наша модель является сугубо функциональной. Прежде чем те или иные ее особенности не будут проверены в психолингвистическом эксперименте, она не может, строго говоря, претендовать на отображение реальных нейрологических механизмов речи или реальных процессов, протекающих в мозгу говорящих — слушающих» (стр. 15).

Получается, что модель отображает, хорошо ли, плохо ли, нейрологические механизмы речи, протекающие в мозгу людей? Значит, язык и нейрологические механизмы его использования уравниваются, отождествляются? И определение языка как преобразователя «смыслов» в «тексты» и «текстов» в «смыслы» — не оговорка, а убеждение? Одно это ставит с ног на голову важнейшие теоретические проблемы лингвистики, а заодно психологии и физиологии высшей нервной деятельности. Преобразователь «смыслов» в «тексты» и «текстов» в «смыслы» действительно существует. Он находится действительно в голове человека и представляет собою нейрофизиологический механизм применения языка — другого механизма, построенного из знаков и служащего для общения и других, связанных с общением, социальных задач. Механизмом общения управляет нейрофизиологический механизм и, выбирая из механизма общения знаки, организуя их в речевые цепи, преобразует смыслы в тексты и тексты в смыслы.

Не менее любопытные и горькие метаморфозы происходят в книге И. А. Мельчука и с терминами «смысл», «текст», «семантика», «синтаксис», «глубинная структура» и многими другими.

О термине «смысл» говорится как о синониме соответствующих его коррелятов у Фреге, Морриса, Карнапа и Соссюра и утверждается, что «традиционным соответствием всем этим терминам в лингвистике является весьма расплывчатый термин „значение“ (не по Фреге!)» (стр. 10). Далее сказано: «Хотя в существовании смысла и, более того, в его ведущей роли при речевом общении никто не сомневается, он не доступен лингвисту в прямом наблюдении. Смысл, как и текст, представляет собой конструкт, только еще более сложный, еще более удаленный от уровня наблюдения. Для того, чтобы со смыслом можно было как-то обращаться в рамках научного исследования, мы, естественно, должны уметь описывать его на некотором (в достаточной степени формальном) языке» (стр. 10). И несколько ниже: «Назовем переход от одного из равнозначных текстов к другому синонимическим преобразованием; тогда смысл есть, по определению, инвариант всех синонимических преобразований, т. е. то общее, что имеется в равнозначных текстах» (там же). «Предварительно можно мыслить себе „смысл“ (т. е. то, что должно поступать на вход модели при движении от смысла к тексту и выдаваться ею на выходе при обратном движении) как некоторый сложный граф, вершины которого помечены символами „смысловых атомов“ (некоторых порций смысла, выбранных в данном описании в качестве элементарных), а дуги — символами связей между ними» (стр. 11).

Итак, для того чтобы иметь смысл и работать с ним, мы должны получить несколько синонимических преобразований... текстов. Но автор модели обещает нам на ее входе задать смысл и на выходе получить текст. Смысл же мы получим только тогда, когда в наших руках будут тексты. Подозрительно знакомый замкнутый круг, из которого не могут вывести никакие упражнения с графами!

А вот как вводится в книгу термин «текст»: «Эмпирической действительностью лингвистики является звучащая (устная) речь; ее образцы — высказывания — даны исследователю непосредственно и притом (для живых языков) в неограниченном количестве. Однако в рамках предлагаемой модели рассматривается не реальная речь как последовательность непрерывных акустических сигналов, а ее некоторое специально вводимое дискретное представление — особый конструкт, который и называется текстом (соссюровское signifiant). Это достаточно детализированная фонетическая транскрипция речи; кроме того, там, где это целе-

сообразно, может использоваться обычная орфографическая запись („письменный текст")» (стр. 9; разрядка наша.— *Б. Г.*). Комментатор модели Е. В. Падучева говорит по этому поводу: «Следует иметь в виду, что термин „текст" используется здесь не вполне обычно — как обозначающий не двустороннюю сущность, которая обладает как планом выражения, так и планом содержания, а только план выражения текста в обычном смысле слова» (ИАН ОЛЯ, стр. 549). Все бы ладно, но ведь и план выражения И. А. Мельчуком понимается не в обычном смысле и низводится до фонетической транскрипции или орфографической записи!

Возьмем для анализа еще один термин — «глубинно-синтаксическая структура». Казалось бы, сама неопределенность и смутность понятия «глубинная структура», начавшего агрессивное наступление на умы и речь лингвистов всего три — четыре года назад, требовали четкого и обоснованного его применения в книге, где глубинно-синтаксическим структурам отведено почетное место и в «структуре» излагаемых гипотез, и на постраничной площади книги. Но ни четкости, ни обоснованности читатель в книге не найдет. «Глубинно-синтаксические структуры... вводятся как средство представления высказываний на некотором промежуточном уровне: не чисто смысловом (как семантическое представление), но еще достаточно глубинном. При движении от смысла к тексту уровень ГСС, т. е. глубинно-синтаксическое представление, является выходом семантического компонента модели „Смысл ↔ Текст" и входом в ее синтаксический компонент» (стр. 141; разрядка наша.— *Б. Г.*).

Вновь перед нами — «представление», конструкт, а что ему соответствует в языке, остается неясным. Да и в качестве представления глубинно-синтаксическая структура (ГСС) оказывается в книге вещью в себе, несмотря на многочисленные высказывания о ней и символьно-графические иллюстрации. Вот еще одно из таких высказываний: «ГСС есть дерево зависимостей, узлы которого помечены символами характеризованных обобщенных лексем, а ветви — символами глубинно-синтаксических отношений» (стр. 146). Едва ли это высказывание можно принять за определение хотя бы потому, что одно неизвестное («глубинно-синтаксическая структура») разъясняется через другие неизвестные («обобщенная лексема», «глубинно-синтаксическое отношение»).

Правда, на стр. 144 читатель находит следующие пояснения: «Итак, элементами ГСС являются символы четырех типов: реальные лексемы (данного языка); лексические функции; фраземы, не представимые в терминах ЛФ (для краткости мы будем называть их все идиомами), и фиктивные лексемы, в частности — символы для „нулевых" выражений... Условимся — ради простоты формулировок — называть все эти четыре категории объектов обобщенными лексемами».

А на стр. 145 говорится: «Ветви ГСС помечаются символами глубинно-синтаксических отношений, которых здесь различается шесть.

Отношения 1, 2, 3, 4 связывают слово, являющееся именем предиката, с именами его первого, второго, третьего и четвертого аргументов, или „мест". Места предиката, стоящего в узле ГСС, мы будем также называть его актантами; это глубинно-синтаксические актанты...» [На стр. 86 сказано, что глубинно-синтаксические актанты лексемы, являющейся именем ситуации,— это «ее зависимые (в глубинно-синтаксической структуре), соответствующие в конечном итоге подлежащему и сильным дополнениям (в случае, если данная лексема реализуется глаголом-сказуемым)».]

«Отношение 5... связывает слово и любое его „определение", понимаемое в самом широком смысле; это отношение можно назвать атрибутивным. Под отношение 5 подводятся и действительные определения, и любые об-

стоятельства, и разного рода вспомогательные единицы, как-либо модифицирующие слово... Зависимый член отношения 5 мы будем называть адъюнктом.

Отношение 6... связывает соседние члены любого однородного ряда; оно направлено от предшествующего (в тексте) члена к последующему... Заметим, что отношение 6 (сочинительное или однородное) должно быть направленным, как и прочие глубинные отношения...».

Ни место, отведенное мне на страницах журнала, ни уважение к читателю не позволяют мне продолжать цитирование — тем более, что и только что предложенные читателю цитаты сами говорят за себя. На «поверхностном уровне» все обстоит более или менее благопристойно: термин «глубинно-синтаксическая структура» пояснен терминами «обобщенная лексема» и «глубинно-синтаксическое отношение»; эти два термина также имеют некоторые пояснения. Однако на «уровне глубинном» все выглядит по-иному: термин «обобщенная лексема» колеблется и плывет (это и «символы четырех типов», и «четыре категории объектов», очень далеких друг от друга,— на какой базе они обобщены?); плывет и колеблется и термин «глубинно-синтаксическое отношение»: обратим внимание, для простоты, лишь на одно отношение — пятое, и спросим, на какой основе сведены в него «и действительные определения, и любые обстоятельства, и разного рода вспомогательные единицы»? Из-за неясности предметной и понятийной отнесенности терминов «обобщенная лексема» и «глубинно-синтаксическое отношение», из-за произвольного смешения и смещения реально-объектного и конструктивно-описательного планов мышления не получает хоть сколько-нибудь надежной смысловой определенности и термин «глубинно-синтаксическая структура», столь дорогой сердцу не одного автора книги о лингвистических моделях.

7. Таковы факты. От них можно отговориться, но нельзя уйти. Они тревожны и ясно показывают возможность деструктивного вырождения терминов под влиянием опустошенных и ложных идей. А идеи неизбежно опустошаются и становятся ложными, когда они начинают вращаться в кругу конструктов и утрачивают связи с объективно существующей, наблюдаемой, доступной описанию и познанию системой и структурой языка.

В книге о лингвистических моделях «Смысл ↔ Текст» описывается на естественном языке некий искусственный язык, из которого и конструируется громоздкая модель «Смысл ↔ Текст»; при этом предполагается, что постулируемые правила перехода от одного уровня «представлений» к другим достаточны для того, чтобы модель работала и даже допускала проверяемость описания. При построении модели как бы забывается, что ее проверяемость не может быть достигнута без ее соотнесения с реальным описываемым языком людей, между этим языком и вводимыми правилами и терминами языка «представлений» не устанавливается никаких ясных соответствий, и вообще вопрос о сущностных структурных свойствах и особенностях моделируемого объекта (т. е. реально о языке) не ставится. Громоздкий конструкт представлений вращается в освобожденном от реального языка пространстве, построенном из деструктивно сдвинутых и предметно опустошенных терминов. Правила применения искусственного языка «представлений» вводятся без обсуждения и без внимания к действительным структурным свойствам языка естественного. Ложная идея ненаблюдаемости этого языка и невозможности прямого изучения его структурных единиц и категорий (а также отношений между ними) породила производящий впечатление лабиринт, войдя в который, попадаешь во множество тупиков и, поблуждав, находишь, наконец, выход там, где вошел.

В статье не обсуждались ни система теоретических построений автора книги о лингвистических моделях, ни главные постулаты отечественного структуралистского авангарда: для обсуждения некоторых вопросов из круга «лингвистические термины и лингвистические идеи» эти постулаты брать было не обязательно. Хочу лишь сказать, что я продолжаю думать, что структурализм в целом, как лингвистический метод и направление, принес в лингвистику много сильных, положительных теоретических идей и исследовательских методик. Вместе с тем в недрах структурализма возникли под влиянием неопозитивизма деструктивные, по отношению к науке о языке, явления.

Не нужно думать, что проблема «лингвистические термины и лингвистические идеи» существует лишь внутри лингвистического структурализма. Она неизмеримо шире и в том или ином своем облике захватывает все лингвистические методы и направления, всю «традиционную» лингвистику. Но об этом нужно говорить особо и нужно привлекать к этому внимание всех языковедов.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1976

А. В. ДЕСНИЦКАЯ

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ БАЛКАНИСТИКИ В СВЯЗИ С ИЗУЧЕНИЕМ КАРПАТСКОГО ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО АРЕАЛА

В числе лингвистических проблем, встающих в связи с развертыванием работ по созданию Общекарпатского диалектологического атласа, особое место занимает вопрос об отражении в карпатской лексике исторических контактов между народами Карпат и Балкан. В частности, карпатская лексика горно-пастбищного скотоводства обнаруживает в себе определенный вклад балканского кочевого пастушества. Поэтому соответствующий круг вопросов балканистики, связанный с изучением генезиса, состава и путей распространения пастушеского словаря в языках Балканского полуострова, не может не интересовать исследователей карпатского лингвистического ареала. Также и для балканистов далеко не лишен интереса вопрос о направлениях и пределах распространения лексических балканизмов в смежных с Балканами лингвистических ареалах.

Более того, начало работы над Общекарпатским диалектологическим атласом может в известном смысле расцениваться и как начало систематического лингвогеографического изучения всего карпато-балканского пространства, так как в отношении балканской его части до сих пор не только не создано атласа, но и не проведен последовательный учет всех релевантных для балканистики фактов отдельных языков.

Изучение балканской лексики связано с решением целого комплекса взаимосвязанных вопросов. Затронутый здесь вопрос о лексике горно-пастбищного скотоводства естественно входит в нее в качестве лишь одного из составляющих. Не менее важны также другие аспекты исследования балканской лексической общности, а именно: а) земледельческая терминология, в формировании которой доминирующую роль, по-видимому, играли славянские элементы; б) лексика «балканского урбанизма», характеризуемая значительным набором слов восточного происхождения, служащих преимущественно для выражения понятий, связанных с городским бытом и домашним обиходом; в) лексика, относящаяся к области духовной культуры (народные верования, обряды, церковь), в которой, по-видимому, оказались наиболее устойчиво закрепленными остатки греческого и римского влияний, наслоившихся на субстрат древнебалканской и древнеславянской языческой обрядности. Каждая из перечисленных лексических сфер требует специального изучения, притом на основе разработки определенной исторической концепции, с помощью которой набор разрозненных языковых фактов может быть интерпретирован и представлен в виде исторически детерминированной системы.

В сравнении с названными здесь тематическими разделами общебалканского словаря, пастушеская лексика, в которой, по-видимому, преобладают древнебалканские и восточнороманские элементы, представляется наиболее трудной для изучения. Прежде всего необходимо отметить отсутствие научно разработанной концепции происхождения балканского пастушеского населения и вообще истории горнопастбищного скотовод-

ства, которое существовало на Балканах еще в эпоху античности. Хотя фигура пастуха всегда играла заметную роль в народной жизни Балкан (об этом свидетельствуют и памятники античной литературы, и изображения на средневековых фресках Сербии и Македонии), тем не менее этнический состав балканского пастушества, его общественная организация, пути передвижений и участие в политической жизни до сих пор еще остаются непрочитанной страницей в истории народов Балканского полуострова. Правда, объективную трудность в проведении соответствующих исторических исследований составляет недостаток письменной документации, которая могла бы пролить свет на события жизни этого слоя населения, в частности в период раннего средневековья, который вообще продолжает оставаться одной из наиболее темных эпох в истории народов юго-восточной Европы.

Тем не менее, при всей фрагментарности документальных данных, даже составление достаточно убедительных рабочих гипотез могло бы содействовать продвижению исследований, особенно при использовании, помимо всех других относящихся сюда исторических свидетельств, также лингвистического материала — обширного круга соответствий между языками балканского ареала, отмечаемых в лексической сфере, связанной с условиями жизни и труда пастушеского населения. Хотя все относящиеся сюда материалы по отдельным языкам еще полностью не собраны и не систематизированы, целый ряд лексических тождеств, в частности, из числа принадлежащих к области древних балканизмов, уже зафиксирован и списки их повторяются от работы к работе. К сожалению, изучение этих соответствий, представляющих значительный интерес прежде всего в аспекте ранней истории балканских народов, иногда задерживается из-за соображений не научного, но скорее престижного характера, что проявляется, в частности, при оценке возможности давних лексических заимствований из одного балканского языка в другой. Сама процедура лексического заимствования нередко трактуется при этом как обязательное проявление культурного «превосходства» одного из народов и тем самым как бы принижение другого, воспринимающего новые слова вместе с новыми понятиями. Такая односторонняя трактовка процесса лексического заимствования, выработанная на основе изучения взаимодействия между территориально стабильными языковыми коллективами, притом обычно при наличии письменности, вряд ли применима при изучении миграции слов, осуществлявшейся в условиях общения подвижных пастушеских коллективов с однородными типами хозяйства и культуры. Именно кочевой образ жизни, присущий на протяжении многих столетий пастушеской части населения карпато-балканского ареала, должен был определять и специфику перехода лексических элементов из языка в язык, не укладывающуюся в рамки традиционных концепций лексического заимствования.

Из числа нерешенных вопросов исторической балканистики наиболее трудными и в то же время существенно важными для дальнейшей разработки лингвистических проблем представляются следующие:

1. Каково происхождение восточнороманского пастушеского населения? В какой мере его можно считать потомками романизованных палеобалканских автохтонов, продолжающих вести свой традиционный, унаследованный от древности тип кочевого и полукочевого скотоводческого хозяйства? Правомерна ли разработка другой гипотезы происхождения восточнороманского пастушества, предполагающей возможность его древних генетических связей с пастушеством южной Италии, на территории которой с древнейших времен существовали аналогичные типы скотоводческого хозяйства? В этой связи могли бы получить историческое объяс-

нение некоторые соответствия между восточнороманскими языками и диалектами Италии.

2. В каких исторических условиях и на каких территориях возникали древние связи между восточнороманской и албанской речью, отложившиеся в виде довольно значительного набора близких лексических соответствий? Помимо сходств и различий в части сохраненных и трансформированных (в формальном и семантическом отношении) элементов народной латыни, лексический фонд восточнороманских языков обнаруживает общие с албанским нероманские (и соответственно неславянские и негреческие) элементы. Какая-то часть их, вероятно, могла быть непосредственно перешедшей в восточнороманскую речь из палеобалканского (фракодакийского) субстрата, который мог иметь ближайшие генетические связи с древнеалбанским языком, также принадлежавшим к группе палеобалканских. Однако некоторые из относящихся сюда слов являются, как это убедительно показал в ряде исследований Э. Чабей, очень давними заимствованиями из албанского языка [1]. Например: рум. *călbeazǎ*, *gălbeazǎ*, молд. *гэлбазэ* ж. «болезнь овец, которой они страдают, когда пасутся в болотистом месте» — алб. *këlbazë*, *gëlbazë* ж. «мокрота; выделения; болезнь у овец». В восточнороманской лексической системе это изолированный термин; в албанском языке *këlbazë* отчетливо выявляется как одно из производных от глагола *kalb* «гноить», *kalbem* «гнить», ср. *i kalbët*, *i kalbur* «гнилой», с умлаутом *qelb*, *-i* м. «гной» и др. Рум. *moş*, молд. *мош* м. «старик» — алб. *moshë*, *-a* ж. «возраст». Алб. *moshë* — **motschë* — это производное от *mot*, *-i* м. «год», имеющего ясную индоевропейскую этимологию: и.-е. **mē-t-* «мерить», ср. литов. *métas* «время, год». Рум. *barzǎ*, молд. *барзэ* ж. «аист» — алб. прилаг. *i bardhë* «белый» (*e bardha* «белая»), ср. производные названия животных по признаку цвета: *bardhosh*, *-i* м. «белый козел, белый конь», *bardhishe* ж. «белая коза» и др. Алб. *bardh-* восходит к и.-е. **bh$_e$rəĝo-* (корень **bherəg-*, **bhreĝ-*) «белый, сверкающий». Вост.-ром. *barz-* отражает др.-алб. **barz-*.

Интересно предложенное Э. Чабеем объяснение этимологически изолированного восточнороманского названия соленого овечьего сыра: рум. *brînzǎ* «сыр», об этимологии которого немало спорили, теперь объясняется из алб. *brenza-t* «внутренности», которое в этой форме встречается в восточногегском говоре Дибры, а в тексте Бузука только как композит *përbrendësa*, мн. «interius, viscera». Заимствованное румынским языком албанское существительное *bréndëza*, *bréndësa*, являющееся производным от наречия *brenda* «внутри», прошло через употребление в значение «сычуг». Следует заметить, что албанский синоним *mullë* соединяет в себе оба значения — «желудок» и «сычуг» и что другое румынское существительное из той же сферы, а именно *rînzǎ* «желудок, пупок у птицы», аром. *rǎndzǎ* «сычуг», также происходит из албанского (алб. тоск. *rrëndës*, гег. *rranë* «сычуг»). Семантически для соответствия *brenza-t*: рум. *brînzǎ* в условиях пастушеского хозяйства вполне понятен переход от значения «внутренности» к значению «сычуг» и далее к значению «сыр». Соответствующее образование в албанском должно было быть старым, так как уже в 1370 г. в одном из документов из Рагузы упоминается *brençe* как «caseus vlachiscus» [2].

Внимание к албанско-восточнороманским лексическим соответствиям было привлечено уже довольно давно. Н. Йокль считал их свидетельством ранних исторических контактов между албанцами и румынами. Рассматривая, в частности, соответствие алб. *bredh*, *-i* м.— рум. *brad* м. «ель»

[1] E. Çabej, Betrachtungen über die rumänisch-albanischen Sprachbeziehungen, «Revue roumaine de linguistique», X, 1965, 1—3, стр. 101 и сл.

[2] E. Çabej, Ältere Stufen des Albanischen im Lichte der Nachbarsprachen, «Zeitschrift für Balkanologie», II, 1964, стр. 30.

на основе историко-фонетических критериев, источник заимствования он находил в албанском языке [3]. А. Росетти в своей «Истории румынского языка» представил список, состоящий из 82 соответствий [4]. Однако, признавая значение этих материалов для истории восточнороманских языков, он не согласился признать факт древнего их взаимодействия с албанским языком и ограничился указанием на общий для албанского и румынского первоисточник — исчезнувший древнебалканский язык [5].

Эта точка зрения повторялась и в последующих работах [6]. Высказывается даже мнение, что албано-румынские соответствия вообще следует рассматривать только на уровне обычных соответствий между генетически родственными индоевропейскими языками (речь идет, естественно, о субстратных элементах румынского языка) [7].

Более дифференцированно подходит к указанному кругу фактов румынский албановед Гр. Брынкуш, который, наряду с соответствиями на палеобалканском уровне, признает наличие в восточнороманском непосредственных заимствований из древнеалбанского. В отношении общих для албанского и восточнороманского слов, связанных со сферой пастушеского хозяйства, исследователь отмечает: «Албанская пастушеская терминология богаче, чем румынская. Албанские диалектологические исследования недавнего времени обнаружили необычайно богатый лексический материал, относящийся к овцеводству и переработке молока, что дает основания считать этот тип материальной культуры, развивавшийся албанцами в древности, возможной моделью для других балканских народов, включая и румын. Следовательно, специальные пастушеские термины в румынском есть основания рассматривать как возможные заимствования из албанского» [8]. Тот же автор вносит уместную поправку в трактовку термина «субстрат» применительно к албанскому языку, подчеркивая: «то, что мы называем для румынского языка субстратом, в албанском представляет собственно страт языка (stratul propriuzis al limbii)» [9], т. е. основной слой.

За последние десятилетия представления о составе и характере албанской лексики существенно изменились. «Этимологический словарь» Г. Мейера [10], созданный в конце XIX в., к настоящему времени устарел — однако не в отношении предлагаемых автором этимологий, которые в большинстве случаев сохраняют научное значение, но по характеру и объему собранной в нем лексики, дающим не только фрагментарное, но даже искаженное представление о словарном составе албанского языка. Создавая свой труд в период, когда количество доступных для изучения

[3] N. Jokl, Linguistisch-kulturhistorische Untersuchungen aus dem Bereich des Albanischen, Berlin — Leipzig, 1923, стр. 203.

[4] Al. Rosetti, Istoria limbii române, II, 1943, стр. 108—124.

[5] Там же, стр. 103.

[6] Al. Rosetti, La situation du roumain parmi les langues balkaniques, «Славянска филология», III, София, 1963; C. Poghirc, Considérations sur les éléments autochtones de la langue roumaine, «Revue roumaine de linguistique», XII, 1967, 1; Ар. Врачу, Актуальные вопросы изучения субстратных элементов румынского языка, «Балканско езикознание», VI, София, 1963.

[7] C. Poghirc, Sur les éléments de substrat du roumain, «Dacoromania», 1, Freiburg — München, 1973, стр. 202.

[8] Gr. Brîncuş, Probleme ale reconstrucţiei elementelor lexicale autohtone în româna comuna, «Studii şi cercetări lingvistice», XVII, 1966, стр. 209.

[9] Там же, стр. 207. См. также: Gr. Brîncuş, Über die einheimischen lexikalischen Elemente im Rumänischen, «Revue des études sud-est-européennes», I, 1963, 3—4, стр. 310.

[10] G. Meyer, Etymologisches Wörterbuch der albanesischen Sprache. Straßburg, 1891.

албанских текстов было очень ограничено, Мейер в значительной мере использовал периферийный языковой материал из албанских поселений островной и континентальной Греции, благодаря чему словник оказался насыщенным такими элементами иноязычной лексики (греческими, итальянскими, турецкими), распространение которых в языке имело локально ограниченный характер. Именно благодаря этому подсчет процентного соотношения исконно албанской и заимствованной лексики, произведенный Мейером в предисловии к «Словарю» [11], надолго закрепил в науке неправильное представление о значительном преобладании в словарном составе албанского языка иноязычных элементов.

В результате специальных лексикографических, этимологических и диалектологических исследований, проведенных за последние десятилетия, албанская лексика предстает в ином виде. Все более и более выявляются богатство и унаследованный индоевропейский характер ее исконной части. В этом отношении многое достигнуто трудами Н. Йокля и в особенности его ученика Э. Чабея, систематически углубляющего этимологическое изучение албанского языка на уровне современной компаративистики.

Более широкое, чем прежде, включение албанских фактов в кругозор индоевропейского языкознания открывает возможности обогащения сведений о палеобалканских языках, недостаток материала по которым до сих пор составляет весьма ощутимую лакуну в научных представлениях об индоевропейском лингвистическом пространстве. Само собой разумеется, что и для балканистики факты албанского языка, непосредственно продолжающего линию существования одного из древних языков Балканского полуострова, релевантны как сами по себе, так и в качестве материала для сравнений при реконструкции исчезнувших языков палеобалканского ареала.

Возвращаясь к основной для данной статьи теме балканизмов, распространившихся в карпатском лингвистическом пространстве, можно отметить, что целый ряд такого рода лексических единиц для албанского языка принадлежит к числу исконных элементов словарного состава, обладающих надежной индоевропейской этимологией и внутриязыковыми словообразовательными связями. Ограничусь несколькими характерными примерами, приводя здесь албанские слова и их этимологии безотносительно к решению вопроса о том, являются ли соответствующие им слова восточнороманских языков заимствованными из древнеалбанского или непосредственным наследием палеобалканского субстрата. Алб. тоск. *vatër*, *vatra*, гег. *votër*, *votra* ж. «очаг» имеет себе соответствия индоевропейского уровня в авест. *ātar-* «огонь»; лат. *ātrium* «центральное помещение римского дома, снабженное дымовым отверстием в крыше», ср. прилаг. *āter*, *ātra*, *ātrum* «темный, черный» (первоначально «задымленный»); ирл. *áith* (род. п. *átho*) ж. «печь» и др.

С фонетической стороны алб. *vatër*, *votër* объясняется безупречно. Из двух диалектных форм более ранней является гег. (*v*)*otër*, отражающая соответствие и.-е. **ā* — алб. *o*, ср. и.-е. **mātar-* «мать» — алб. *motër* «сестра». Появление перед *o* протетического *v-* имеет себе аналогию в заимствованных из латинского гег. *voj* (из *oleum*) «растительное масло» и прилаг. *i vorfën* (из *orphanus*) «бедный». В древнетоскском начальное **vo-* > *va-*, ср. гег. *votër* — тоск. *vatër*, гег. *voj* — тоск. *vaj*, гег. *i vorfën* — тоск. *i varfër*.

---

[11] Из 5140 единиц словника 1420 определены как романские, 540 — славянские, 1180 — турецкие, 840 — новогреческие, 730 — неизвестного происхождения. И только для 400 слов раскрыта индоевропейская этимология (указ. соч., стр. IX).

В форме с тоскским вокализмом *va-* (опред. *vatra*) слово широко распространилось в балканских языках и за их пределами. Ср. вост.-ром. *vatră*, серб.-хорв. *ва̏тра*, укр. *ва́тра* «огонь», польск. *watra* «очаг; огонь», болг. *ватра́л* «кочерга» и др.

Алб. *gardh*, *-i* м., мн. *gjerdhe* «плетень, изгородь». Было бы излишней натяжкой усматривать в этом исконном албанском слове заимствованный южнославянизм *grad*, который в свою очередь тоже представлен в албанском производным образованием *gradinë*, *-a* ж. «сад около дома». Согласно закономерностям албанской исторической фонетики, *gardh* беспрепятственно возводится к и.-е. **ghordo-* и имеет себе точное соответствие в литов. *gaĩdas* «изгородь», ст.-слав. *градъ* «город», гот. *gards* «дом» и др. Интересно, что в албанском языке *gardh* является основой для образования производных со специальным значением «оплетения» предмета (соломой, ветками) с целью его сохранения, например, *gardhore* ж. «оплетенная бутыль», *gardhec*, *-i* м. «плетенный из соломы короб для кукурузных початков». Вост.-ром. *gard* «забор, изгородь; огороженный двор» может продолжать наследие другого палеобалканского языка, также осуществившего переход и.-е. **o* > *a*. Однако не может быть исключена и возможность давнего заимствования из албанского.

Аналогичную картину непосредственного развития от индоевропейской основы обнаруживает алб. *baltë*, *-a* ж. «размокшая земля, глина; ил; почва», имеющее производные: *baltinë*, *-a* ж., *baltovinë*, *-a*, ж. «сырое место с вязкой глиной», прилаг. *baltík*, *-e*, *baltak*, *-e* «размокший, глинистый (о почве)». С историко-фонетической точки зрения албанское слово выявляет характерное для иллирийско-фракийской языковой группы отражение индоевропейской основы **bhol(ə)tā-*, будучи, таким образом, дополнительным свидетельством распространенности ее в палеобалканском ареале и древних связей этого ареала с балто-славянским [12]. Вост.-ром. *baltă* ж. «озеро, болото, лужа» имеет также несомненно палеобалканское происхождение. Новогреч. βάλτη, βάλτος «болото» может быть заимствованием из албанского или из восточнороманского.

Образования от нерасширенной формы того же индоевропейского корня **bhel-*, **bhol-* «белый, блестящий» в албанском широко употребляются применительно к животным белой масти или имеющим белое пятно на лбу: *bal*, *-i* м., *balík*, *-u* м. «собака с белым пятном на лбу», *balo*, *-ja* м. «белый вол», *balásh*, *-i*, *balósh*, *-i* м. «конь с белым пятном на лбу» и др. В обобщении индоевропейского алофонического варианта **bhol-* албанский, как и другие иллирийские языки (ср. мессапск. имя собств. *Balakrahiaihi*, калабр. *bálaku* «левкой»), обнаруживает ближайшее соответствие с балтийскими языками, ср. литов. *bãlas* «белый», в то время как на славянской почве обобщенным оказался вариант **bhel-*[13]. В балкано-карпатском ареале отражены оба варианта. Палеобалканское происхождение имеют албанские образования с основой *bal-* (см. выше), восточнороманские — молд. *бэлáн*, рум. *balán* «белокурый; белой масти» (о животных), аром. *baliu*, *bále* «с белым пятном на лбу», также новогреч. μβάλιος «с белым пятном», укр. (карпат.) *балайа* «белая корова» и др. [14]. Славянское происхождение, помимо представленных во всех славянских языках образований от общеслав. **bělъ*, имеют молд. *бялэ*, алб. *bejkë* (из **belka*) «белая овца».

[12] См.: E. Çabej, Studime rreth etimologjisë së gjuhës shqipe. I, «Bul. i Univ. të Tiranës», XIV, 1960, 4, стр. 39 и сл.; М. Фасмер, Этимологический словарь русского языка. I, М., 1964, стр. 190; «Этимологический словарь славянских языков», под ред. О. Н. Трубачева, 2, М., 1975, стр. 179—182.

[13] См.: «Этимологический словарь славянских языков», под ред. О. Н. Трубачева, 2, стр. 79—81.

[14] Подробнее см.: Г. П. Клепикова, Славянская пастушеская терминология, М., 1974, стр. 63 и сл.

Из числа балканизмов, распространившихся в карпатском ареале, этимологизируются на албанской почве (с помощью индоевропейского сравнения или внутриязыковой реконструкции), помимо вышеперечисленных, также: алб. *thark*, *-u* м. «загон для скота», ср. рум. *ţark*, молд. *царк* «загон для ягнят»; алб. *shtrungë*, *-a* ж. «загон для дойки овец», ср. рум. *strungă*, молд. *струнгэ*, новогреч. στρούγκα и др.; алб. *gavër*, *zgavër*, *-a* ж. «дупло; углубление в скале», ср. рум. *găură*, молд. *гаурэ* ж. «отверстие, дыра, дупло; нора»; алб. *shterpë* «яловая» (об овце, козе, корове), глагол *shter* «иссякать» (о молоке, о воде в источнике), ср. молд. *стырпи́* «терять молоко», рум. *stârpi* «уничтожать, истреблять; осушать; терять молоко»; алб. *bajgë*, *balgë*, *-a* ж. «навоз», ср. рум. *balegă*, молд. *балегэ* «навоз»; алб. *petë*, *-a* ж. «блин», *petull*, *-a* ж. «блинчик», ср. молд. *пэтулэ* «прослойка из теста»; алб. *gropë*, *-a* ж. «яма, рытвина, могила, котловина», ср. рум. *groapă*, молд. *гроáпэ* «яма, рытвина, пропасть, могила»; алб. тоск. *përrua*, *përroi*, гег. *prrue*, *prroni* м., осн. *përron-* «1. поток, 2. русло потока», ср. рум. *pârâu*, молд. *пырэ́у* «речка, ручей», болг. *порóй* «дождевой поток», макед. *poroj* «поток» и др.

Хотя элементы албанской лексики, представляющие интерес для балканистики и соответственно также для карпатоведения, еще полностью не учтены, значение албанского языка как одного из источников лексических балканизмов не подлежит сомнению. В принципе это никем не отрицается. Однако в практике исследовательской работы албанские материалы привлекаются пока еще очень ограниченно.

Между тем, внимание индоевропеистов и балкановедов несомненно должны привлечь богатство и дифференцированность албанской лексики хотя бы в такой сфере, как обозначения географической среды, включая атмосферные явления, типы почв (каменистые, болотистые, изрытые ямами; речные наносы), детали горного ландшафта (большие и малые вершины, скалы, обрывы, пологие склоны, осыпи, ущелья, пещеры, обвалы, лавины), горные долины, низины, леса (растущие на склонах гор, на болотистых низинах), различные породы дуба, хвойных деревьев, кустарники, колючие заросли, болота, горные потоки, ручьи, родники, ямы с водой и др. Очень дифференцированы названия трав, растущих на пастбищах, типов пастбищ, разновидностей кормов, заготавливаемых на зиму. Богата специальная скотоводческая лексика, включая термины, относящиеся к переработке молока, шерсти; дифференцированы названия животных (преимущественно овец и коз) — по возрасту, масти, анатомические термины, названия болезней скота и проч. Все это составляет исключительно богатый материал, еще почти не затронутый исследованием [15].

Отмеченные здесь сферы албанской лексики включают в себя, по сравнению с другими предметными разрядами (ср., например, обозначения домашней утвари, одежды и др.), значительно меньше слов славянского и турецкого происхождения. В большинстве случаев определяются индоевропейские этимологии, частично латинские (заимствования античной эпохи). Многое остается пока еще неразъясненным, включая и возможные связи с доиндоевропейскими языками южной Европы (проблема так называемой альпийской лексики).

---

[15] До сих пор единственным специальным трудом, посвященным предметным сферам албанской сельскохозяйственной лексики, остается книга Н. Й о к л я «Лингвистико-культурноисторические исследования» (N. J o k l, Linguistisch-kulturhistorische Untersuchungen aus dem Bereich des Albanischen), Berlin—Leipzig, 1923), опубликованная более 50 лет тому назад. В этих интересных этимологических этюдах освещено происхождение очень небольшого количества слов, выборочно представляющих лексику отдельных областей жизни албанского крестьянина.

Некоторые из балканизмов, проникших в карпатский ареал, распространились далее к северу и оказались представленными также в восточно- и западнославянских языках и диалектах. Ярким примером этого является вышеупомянутое слово *vatra* «огонь, очаг» (алб. тоск. *vatër*, *vatra*, вост.-ром. *vatra*), представленное также украинским *ватра* «огонь», чеш. (вост.-мор.) *vatra*, словац. *vatra*, польск. *watra* «очаг, огонь». Ср. также в русском языке названия кушаний из теста, изготавливаемых на огне: *ватру́шка*, диалектн. *ватру́га*, *ватру́лька*, *ватру́ха* [16].

Древним балканизмом албанского происхождения, проникшим далеко на север, с полным основанием можно считать название горной цепи на севере Карпатского региона: укр. *Бе́скид*, польск. *Beskid*, *Beszkid*, венг. *Beszkéd*. В восточнороманском представлен апеллятив: молд. *бе́скид* «гора, скала».

В лексической системе албанского языка апеллятиву *bjeshkë*, *-a* ж. «летнее пастбище в горах; гора, на которой летом пасут скот; горный хребет» принадлежит заметное место. Оно имеет производные: *bjeshkój* «пасти скот на горных лугах», *bjeshkatar*, *-i* м. «пастух, пасущий скот на горах», *bjeshkatare* ж. «женщина, изготовляющая молочные продукты в горном стане», *bjeshkí*, *-a* ж. «мастерство изготовления молочных продуктов».

Образуются также оронимы: *Bjeshkët e Nëmuna* — серб. *Проклетия*, букв. «Проклятые пастбища» — название горного хребта на севере Албании; *Bjeshkët e Gjakovës* — название горного хребта на северо-востоке Албании.

Слово этимологизируется на албанской почве. Отвергнув прежние неудачные объяснения, Н. Йокль [17] и вслед за ним Э. Чабей [18] восстанавливают форму **bie(r)shkë* — производную от глагола *bie* (2-е лицо ед. числа повелит. накл. *bjerë*) «падать, спускаться, срываться сверху, ударять» (и.-е. **bher-* [19]). Первоначальное значение: «крутой горный склон». Нет оснований связывать это слово с фракийским этнонимом *Βεσσοί*, *Βιεσσοι*. Суффикс *-ed*, появляющийся в карпатском ареале, в албанском языке соответствия не имеет. Однако наличие его в молдавском апеллятиве *бе́скид* дает основания полагать, что соответствующие производные имеют тоже балканское происхождение. Древнепольский вариант географического названия — *Bieszczad*, укр. *Бещады*, по-видимому, может быть объяснен на славянской почве (уподобление балкан. **-ed* старославянскому *-ědь* [20]).

Проникновение отдельных балканизмов через область Карпат в восточнославянские и западнославянские языки могло, вероятно, совершаться ранее периода XV — XVII вв., к которому относят миграции пастушеского населения с Балканского полуострова в более северные районы (так называемая «валашская колонизация») [21]. Распространение на север южноевропейской лексики могло происходить через «обширную языковую непрерывность от северных отрогов Карпат до южных районов Балканского полуострова», которая установилась после балканской миграции славян [22]. Как отмечает С. Б. Бернштейн, «в настоящее время мы знаем много лексем, семем, словообразовательных структур, которые объединяют

[16] См.: «Словарь русских народных говоров», IV, Л., 1969, стр. 72—73.
[17] N. Jokl, Linguistisch-kulturhistorische Untersuchungen..., стр. 165 и сл.
[18] E. Çabej, Studime rreth etimologjisë..., I, стр. 59—60.
[19] J. Pokorny, Indogermanisches etymologisches Wörterbuch, I, 1959, стр. 129.
[20] См.: М. Фасмер, Этимологический словарь русского языка, I, стр. 161.
[21] См.: Г. П. Клепикова, Славянская пастушеская терминология, стр. 21 и сл.
[22] С. Б. Бернштейн, Проблемы интерференции языков карпато-дунайского ареала в свете данных сравнительной диалектологии, «Славянское языкознание», М., 1973, стр. 37.

западный диалектный пояс восточнославянских языков с карпатским и южнославянским языковым континуумом. Нет сомнений, что причину этого явления нужно искать в истории взаимоотношений праславянских диалектов второй половины I тыс. н. э.» [23]. В распространении южноевропейских языковых и этно-культурных элементов в восточнославянском ареале могла участвовать также восточнороманская языковая среда, связи которой с Киевской Русью были относительно давними (восточнославянские племена, жившие между Днестром и Дунаем, подчинились власти киевского князя в начале X в.).

Довольно рано могли, в частности, распространиться слова, связанные с древней (еще языческой) обрядностью,— латинизмы *Calendae*, *Rosalia*, а также упомянутое выше балканское слово *vatra* «огонь, очаг» как элемент обрядовой лексики. А. Н. Веселовский полагал, что «вместе с проповедью христианства могли переселяться не только церковные, но и народные обряды, удержавшиеся случайно под сенью церкви и прикрытием христианского святого» [24]. Вряд ли, однако, проникновение и устойчивое закрепление в народной восточнославянской среде южноевропейской обрядовой терминологии, связанной с древними верованиями, поддерживалось только проповедью христианства, которая, наоборот, должна была бы в основном содействовать ее искоренению. По-видимому, здесь обнаруживаются ранние и более глубокие культурные связи, складывавшиеся в народной среде путем живых контактов. Культурные и языковые заимствования наслаивались при этом на типологическую и историко-генетическую общность календарных обычаев и обрядов.

К сфере древней обрядовой лексики относится еще один балканизм — явно не книжного, но народного происхождения, проникший в восточнославянские и, частично, в западнославянские языки. Это дакорум. *craciún*, молд. *крэчун* «1. рождество; 2. обрядовый хлеб, выпекаемый к Новому году», болг. *крачу́н*, *крачу́нец* «рождественский день», серб. -хорв. имя собств. *Крачун*, словац. *kračún* «рождество», русск. *корочу́н* «зимний солнцеворот, 12 декабря; смерть», др.-русск. *корочунъ* «зимний солнцеворот» (Новгор. I летопись под 1143 г.), белорусск. *корочу́н* «внезапная смерть в молодом возрасте; судороги; злой дух, сокращающий жизнь».

Для объяснения этого ритуального термина как возникшего на восточнороманской почве предлагались малоубедительные латинские этимологии; из *calātiōnem* «обращение священника к народу в первый день каждого месяца для сообщения о праздниках», из *creātiōnem* «создание, сотворение»; из *Christi jējūnium* «христов пост», из *quartum jējūnium* «большой, четвертый пост» [25]. М. Фасмер считал, что «пример из новгор. памятника, относящийся к более раннему времени, исключает рум. происхождение», и, отвергая как «фонетически невозможное» произведение из *коро́ткий*, полагал, что «слав. слово, скорее всего, связано с сербохорв. *кра̀чати* „шагать“, чеш. *kráčeti*, польск. *kroczyć*, в.-луж. *kročić*, т. е. „шагающий, переходный день; день солнцеворота“» [26].

Как мне кажется, ссылка на присутствие слова в Новгородской летописи XII в. не может являться достаточным аргументом против признания его проникшим с юга балканизмом. Существовавший ранее карпато-балканский языковой континуум мог опосредовать продвижение обрядового термина в древнерусскую языковую среду — аналогично принадлежащим к той же семантической сфере *Calendae*, *Rosalia*.

---

[23] Там же, стр. 38.

[24] А. Н. Веселовский, Разыскания в области русского духовного стиха, Сб. ОРЯС, XXXII, 1883, стр. 224.

[25] М. Фасмер, Этимологический словарь русского языка, II, стр. 336.

[26] Там же.

Ни на романской, ни на славянской почве слово *крачýн*, *корочун*, *craciún* убедительно не этимологизируется[27]. Убеждающая этимология предложена Э. Чабеем, основывающимся на материалах албанского языка[28]. Отправными моментами для этой этимологии являются: 1) наличие в албанском языке существительного гег. *kërcú*, *kërcúni*, тоск. (с ротацизмом) *kërcú*, *kërcúri* м., основа *kërcún-* «пень, чурбан», фонетически объясняющего вост.-роман.— южн.-слав. *kračun* в качестве возможного заимствования; 2) существование у балканских народов зимнего праздника солнцеворота, в обряд которого входит сжигание специально доставляемого из леса обрубка древесного ствола, сопровождаемое ритуальной трапезой и наполненное магической символикой (возрождающееся солнце, священный огонь, пожелания плодородия в новом году)[29].

В албанском языке *kërcún-* не имеет обрядового значения, выступая как обычный апеллятив (ср. уменьшит. *kërcuq*, *-i* м. «пенек»). Специальным термином для обозначения ритуального сжигаемого обрубка ствола является существительное *buzëm*, *buzmi* м. Соответственно праздничная ночь (рождественская, поскольку древний зимний праздник оказался совпавшим с рождеством) называется *nata e buzmit*. Но в другие балканские языки *kërcun-*, по-видимому, перешло только в связи с обрядом, благодаря чему за ним закрепилось значение «зимнего праздника» и затем «рождества». Дакорум. *seára craciunului* «рождественский вечер» является, как отмечает Э. Чабей, полной смысловой параллелью албанскому *nata e buzmit*[30]. Наличие слова *crăciun* во всех языках восточнороманского ареала говорит, по его мнению, о раннем периоде заимствования, что подтверждается и древнеалбанским характером формы *karcun-*, отразившейся при заимствовании.

В развитие точки зрения Э. Чабея можно добавить следующее:

1. Существительное *kërcú* принадлежит к числу древних элементов албанской лексики. Высказанное в свое время Г. Мейером предположение о славянском происхождении этого слова[31], основанное на сопоставлении с чеш. *krč* «пень» и серб.-хорв. *krčiti* «корчевать», должно быть отвергнуто, так как общеалбанское *kërcun-*, опред. *kërcun-i* в тоскском диалекте подверглось ротацизму: *kërcú*, опред. *kërcur-i*, ср. *gjû*, опред. *gju-r-i* (гег. *gju-n-i*, основа *gjun-* «колено»). Как известно, славянские заимствования в албанском уже не были охвачены этим фонетическим явлением, действие которого в основном завершилось до конца I тысячелетия н. э.

Кроме того, от корня *kërc-* образованы и другие имена существительные, принадлежащие к числу древних элементов албанской лексики: тоск. *kërci*, опред. *kërciri* м., осн. *kërcin-* «берцовая кость», *kërcéll*, *-i* м. «стебель растения».

Для древнеалбанского языкового состояния (период I тысячелетия н. э.) может быть реконструирована основа **karc-ún-*, которая в других языках Балканского полуострова отразилась с южнославянской метатезой как

[27] Сделанное М. Фасмером сопоставление с серб.-хорв. *крáчати* (ср. серб.-хорв. *krâk*, болг. *крак* «нога») кажется не более удачным, чем отвергнутые им латинские и славянская (от *короткий*) этимологии.

[28] E. Çabej, *Crăciun*, «Studii şi cercetări linguistice», XII, 1961, 3; его же, Studime rreth etimologjisë..., XII, «Studime filologjike», 1964, 1, стр. 61.

[29] В литературе содержится подробное описание этого обряда у народов Балканского полуострова: E. Schneeweis, Die Weihnachtsbräuche der Serbo-Kroaten, Wien, 1925. Специально у северноалбанских горцев: Rr. Zojzi, Gjurmët e nji kalendari primitiv në popullin tonë, «Buletin i Inst. të Shkencavet», I, Tiranë, 1949. О празднике Крэчун у молдаван на широком этнографическом материале и с развернутым теоретическим освещением содержания обряда см.: Ю. В. Попович, Молдавские новогодние праздники, Кишинев, 1974.

[30] E. Çabej, *Crăciun*, стр. 314.

[31] G. Meyer, Etymologisches Wörterbuch der albanesischen Sprache, стр. 190.

kračun, и далее, будучи очень рано занесена в восточнославянскую языковую среду (путем живых речевых контактов), преобразилась в полногласную форму *корочýн*.

С точки зрения исторической фонетики албанского языка, переход **karc-* > *kërc-* объясняется безударной позицией гласного. Согласный *-c-* [ts] исторически явился вариантом *-s-* в положении после плавного, ср. обычное для албанского языка историческое чередование *-c-/-s-* в парадигмах глаголов: 1-е лицо ед. числа наст. вр. *kërcas* — 1-е лицо ед. числа аор. *krisa* «скрипеть, громко раздаваться, разражаться», 1-е лицо ед числа наст. вр. *pëlcas* — 1-е лицо ед. числа аор. *plasa* «взрываться, лопаться».

Праалб. **kar-s-* может быть возведено к индоевропейскому корню ** (s)ker-*, **(s)kor-* «резать, отрубать», с расширением **(s)kor-s-*: **kor-s-* > **kar-s-* > *kër-c-*. Возможна и другая реконструкция: и.-е. **(s)kor-t-i̯/o-*. Как известно, индоевропейское сочетание **-ti̯-* на албанской почве давало *-s-*. В этом случае алб. *kërcun-* «пень, обрубок ствола» имеет себе ближайшие семантические параллели в литов. *kártis*, латыш. *kārts* «жердь, шест». Ср. также прабалт. **karta-*, праслав. **karūta-* «корыто» (первоначально «выдолбленный ствол дерева»).

Количество производных от этого корня, выступающего как в нерасширенной форме, так и с различными расширителями по отдельным индоевропейским языкам, необозримо. В самом албанском языке представлены отражения различных индоевропейских основ, в том числе нерасширенные формы в глаголах *shqerr* (аор. *shqora*) из **sh-ker-* «раздирать» (и.-е. **ker-*), *korr* «косить, жать» (и. -е. **kēr-n-*), *harr* «полоть, подрезать ветки» (и.-е. **skor-n-*).

Отмеченные Г. Мейером славянские соответствия алб. *kërcun* — чеш. *krč*, польск. *karcz* «корч, пень, колода», словен. *kȓča*, *kȓč* «раскорчеванное место», русск. *корч* «выкорчеванный пень», *корчевá* «раскорчеванное место» [ср. также *кáрча*, *кáрша* «ствол дерева (с сучьями), принесенный течением и застрявший в иле; коряга»], производные глаголы чеш. *krčiti*, серб.-хорв. *крчити*, русск. *корчевáть*, *корчúть* и др. подлежат сравнению с албанским словом на уровне индоевропейской этимологии. Хотя принадлежность славянской основы к и.-.е **ker* не подлежит сомнению, конкретное происхождение ее, благодаря элементу *-č-*, остается неясным [32].

С точки зрения семантики вышеотмеченные слова славянских языков действительно обнаруживают наиболее близкое соответствие албанскому *kërcun-*, что дает основания задуматься о возможности древней исторической связи соответствующих образований в рамках иллирийско-праславянских ареальных контактов.

2. Зафиксированное в восточнославянских языках (в русском и белорусском) значение «смерть» находит себе объяснение в семантике древнего праздника зимнего солнцеворота, включающей, наряду с символикой возрождения плодородия, также элемент почитания умерших предков. Как указывает Ю. В. Попович, исследовавший эту проблему на молдавском материале, «главная особенность праздника „крэчун" состоит в почитании солнца, его земного наместника — огня и умерших родителей» [33].

На восточнославянской почве сохранились, по-видимому, лишь отголоски древнего обряда в виде, на первый взгляд, как будто мало связанных между собой значений ритуального термина *корочýн* — «зимний солнцеворот» и «смерть».

---

[32] См.: М. Фасмер. Этимологический словарь русского языка, II, стр. 340.
[33] Ю. В. Попович. Молдавские новогодние праздники, стр. 145.

В албанском языке слово *kërcun* не имело ритуального значения (или очень давно утратило его). Но зато сам обряд устойчиво сохранялся в среде северноалбанских горцев и детали его, подробно описанные Р. Зойзи [34], разительно близки к деталям обряда, исследованного Ю. В. Поповичем у молдаван.

Рассмотрение балканизмов, распространившихся через карпатский ареал в восточнославянских и западнославянских языках, подводит к вопросу о хронологической дифференциации балканских лексических влияний. Наличие в восточнославянских и западнославянских языках относительно глубоко укоренившихся элементов балканской и вообще южноевропейской лексики (не связанных специально со сферой христианской культуры), по-видимому, может служить показателем древности их прохождения через балкано-карпатский языковой континуум (вторая половина I тысячелетия н. э.). Если же распространенность балканизмов ограничивается пределами карпатского региона (включая лишь непосредственно прилегающие районы соседних областей), это свидетельствует об их более позднем привнесении в карпатскую языковую среду, осуществлявшемся в период XIV—XVII вв. в связи с миграцией пастушеских коллективов.

---

[34] Rr. Z o j z i, Gjurmët e nji kalendari primitiv..., стр. 99—103.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1976

М. А. КУМАХОВ

ТЕОРИЯ ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОГО ДРЕВА И ВОПРОСЫ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ЗАПАДНОКАВКАЗСКИХ ЯЗЫКОВ

Теория генеалогического (родословного) древа, сформулированная А. Шлейхером в окончательном виде в 1861 г.[1], является предметом сокрушительной и непрекращающейся критики на протяжении более чем столетия в сравнительном языкознании. Сущность теории А. Шлейхера заключалась, как известно, в том, что индоевропейское языковое единство распалось на славяно-германский и арио-греко-кельтский праязыки, а последний — на арийский и греко-итало-кельтский. В соответствии с этой теорией ближе к индоевропейскому состоянию оказывается санскрит, а наиболее удаленными от него — славянские, балтийские и германские языки, праязык которых раньше других обособился от основного языкового ствола. Хотя в современном языкознании вопрос о диалектном членении индоевропейских языков не получил еще однозначного решения, последующее развитие компаративистики в противовес теории А. Шлейхера выдвинуло целый ряд других теорий о взаимоотношениях индоевропейских языков (волновая теория И. Шмидта, концепции А. Лескина, Г. Хирта, П. Кречмера, А. Мейе, итальянских неолингвистов и др.).

Справедливая критика теории А. Шлейхера обернулась, однако, против самих принципов генеалогического древа как возможной схемы исторического членения генетически родственных языковых групп (в том числе неиндоевропейских). Негативное отношение к принципам родословного древа распространилось не только в индоевропейском сравнительном языкознании, но и в различных частных (неиндоевропейских) подразделениях компаративистики.

Между тем нет основания для элиминирования из арсенала сравнительного языкознания генеалогического древа как общей схемы исторической дифференциации некоторых языковых групп. Несостоятельность теории генеалогического древа применительно к диалектному членению индоевропейских языков не может служить причиной отказа от понимания развития отдельных языковых групп как следствия распадения не только праязыкового единства, но и его последующих ответвлений. Это положение исходит из общей посылки, что в силу крайнего разнообразия процессов дивергенции и конвергенции языкового развития различна история сложения и формирования разных языковых групп (семей). В разных языках и на разных этапах их развития действуют разные тенденции (например, процессы языковой дивергенции нередко затемняются поздними процессами языковой конвергенции), что осложняет взаимоотношения между языками в период после распада языкового единства. Это не означает, однако, что генеалогическое древо не отражает общего направления развития отдельных языковых групп. Принципы генеалогиче-

[1] A. Schleicher, Compendium der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen, Weimar, 1861.

ского древа, хотя и не являются универсальными, нередко могут быть использованы для решения вопроса об исторической дифференциации и развития генетически родственных языковых групп в течение длительного отрезка времени — от периода распада праязыкового состояния до образования новых праязыков и их самостоятельных ареалов в более поздние хронологические эпохи. Как увидим ниже, генеалогическое древо как общая схема дифференциации и взаимосвязей языковой группы применимо к истории западнокавказских языков.

Решение вопросов исторической дифференциации западнокавказских (абхазско-адыгских) языков актуально с разных точек зрения: для сравнительно-исторического изучения данной группы языков и выяснения ее взаимоотношений с южнокавказскими (картвельскими) и восточнокавказскими (нахскими и дагестанскими) языками. Не выяснив вопросов филиации западнокавказских языков, основных хронологических периодов их исторического развития, не представляется вообще возможным решение проблем, связанных с реконструкцией языковых единиц, что необходимо для создания сравнительной грамматики как всей группы западнокавказских языков, так и отдельных ее подгрупп. В этом отношении нельзя не согласиться с К.-Х. Шмидтом, справедливо подчеркивающим, что «в связи с отсутствием исторической традиции (если не считать грузинский язык) для исследования соотношения КЯ друг к другу и к другим языкам особое значение приобретает замена отсутствующей временной перспективы строгой относительной хронологией» [2].

Между тем в западнокавказском языкознании сложилась несколько необычная для современной компаративистики ситуация: с одной стороны, в лингвистической литературе до сих пор не ставился вопрос о понятии западнокавказского языка, его структурных признаках и периодизации, но с другой — среди специалистов утвердилось мнение, согласно которому язык-основа распался на три ветви: абхазскую, убыхскую и адыгскую, где убыхский язык занимает промежуточное звено. Это положение, основывающееся на презумпции, что праязыковое единство одновременно распалось на три ареала, в настоящее время не может быть поддержано.

Хотя абхазская и адыгская подгруппы в их синхронном состоянии занимают полярные точки по отношению к убыхскому языку, анализ материала показывает, что есть достаточные основания для выделения двух хронологических уровней — адыгско-убыхского и абхазского на раннем этапе формирования и развития западнокавказских языков. В специальной литературе (начиная с известной работы Н. С. Трубецкого [3]) выявлен целый ряд фонетических, грамматических и лексических единиц, общих для всей группы западнокавказских языков. Нет необходимости в перечислении этого достаточно хорошо известного специалистам материала, хотя он не является полным, исчерпывающим и должен быть значительно расширен в процессе дальнейшей сравнительно-исторической разработки фонетики, грамматики и лексики западнокавказских языков. В настоящей статье рассматривается другой вопрос — структурные особенности, дающие основания для разграничения двух хронологических уровней — адыгско-убыхского и абхазского, точнее — праабхазского. Обособление адыгско-убыхского языкового единства от праабхазского объясняется как сохранением в нем ряда архаичных черт, унаследованных от западнокавказского языкового состояния, так и образованием новых явлений в обла-

---

[2] К.-Х. Шмидт. Проблемы генетической и типологической реконструкции кавказских языков, ВЯ, 1972, 4, стр. 20.

[3] N. Trubetzkoj. Nordkaukasische Wortgleichungen. «Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes», XXXVII, 1—2, Wien, 1930.

сти фонетики, грамматики и лексики [4]. Разумеется, в рамках небольшой статьи невозможно подробно остановиться на всех структурных особенностях, отличающих адыгско-убыхское языковое единство от абхазского. Ниже приводятся лишь некоторые основные явления, позволяющие постулировать существование указанных двух хронологических периодов в истории западнокавказских языков (в эпоху после распада праязыкового состояния).

Адыгско-убыхский вокализм, как и праабхазский, характеризуется двучленной системой вокализма, состоящей из открытой фонемы /а/ и закрытой /ə/. Вместе с тем исходный двучленный вокализм в адыгских и убыхском языках разрушен, т. е. претерпел изменения в результате фонологизации одного из аллофонов открытой гласной /а/, тогда как абхазский (и абазинский) сохраняет двучленную систему, продолжая западнокавказское языковое состояние [5]. Правда, в адыгско-убыхском ареале фонологизация одного из аллофонов гласной /а/ протекает с разной степенью интенсивности, о чем свидетельствует разная функциональная нагрузка новой фонемы — средней открытости /ä/ в убыхском и адыгских языках. Однако разбираемое явление — фонологизация признака средней открытости, ведущая к смене двучленного вокализма трехчленным, является адыгско-убыхском новообразованием.

В области консонантизма убыхский обнаруживает двусторонние связи — убыхско-абхазские и убыхско-адыгские изоглоссы, хотя в целом удельный вес адыгско-убыхских явлений (в том числе новообразований) более значителен по сравнению с абхазско-убыхскими совпадениями. К адыгско-убыхским явлениям относятся латеральные /ɬ/, /λ/, /λ'/, среднеязычные /ǧ/, /χ/ и шипяще-свистящие /ż/, /ṡ/. Из них латеральные /ɬ/, /λ/, /λ'/ должны быть рассмотрены как архаизмы, восходящие к западнокавказскому состоянию. Что же касается среднеязычных /ǧ/, /χ/ и шипяще-свистящих /ż/, /ṡ/, то они относятся к адыгско-убыхским инновациям. Характерно, что в адыгских языках (уже в период общеадыгского языкового единства) возникли лабиализованный /χ°/ и абруптивный /ṡ'/, что привело к образованию двучленной оппозиции /χ : χ°/ и трехчленной оппозиции /ż : ṡ : ṡ'/. Убыхский консонантизм сближается с адыгским также общими тенденциями: палатализацией заднеязычных и ларингализацией фарингального смычного. Ср. в адыгских и убыхском $g > g'$, $k > k'$, $k' > k''$, $q' >$ '. Палатализация заднеязычных и ларингализация q', по-видимому, относятся к явлениям, возникшим в результате параллельного развития в эпоху после распада адыгско-убыхского диалектного единства.

Анализ материала на грамматическом уровне позволяет определить относительную хронологию многих морфологических категорий, что способствует решению вопросов исторической дифференциации исследуемых языков. Хотя в области морфологии абхазская подгруппа сближается с убыхским некоторыми общими чертами, морфологическая система обнаруживает целый ряд важнейших структурных особенностей, свидетельствующих о правомерности выделения адыгско-убыхского хронологического уровня, соответствующего периоду самостоятельного существования отдельных западнокавказских языковых единиц.

Прежде всего обращают на себя внимание принципы построения парадигматики имени и глагола. Абхазская подгруппа унаследовала от пра-

---

[4] Под адыгско-убыхским языковым единством понимается совместное развитие диалектной группы на протяжении определенного отрезка времени, охватывающего период от эпохи распада западнокавказской языковой общности до образования двух самостоятельных ареалов — адыгского и убыхского.

[5] М. А. Кумахов, Теория моновокализма и западнокавказские языки, ВЯ, 1973, 6.

языкового состояния отсутствие грамматической категории падежа, в то время как это важнейшее морфологическое новообразование объединяет адыгские языки с убыхским. Общей структурной особенностью, тесно сближающей адыгские языки с убыхским, является противопоставление именительного и эргативного падежей. Разбираемые языки обнаруживают структурное и функциональное тождество этих двух основных падежей. Указанные падежи как в адыгских, так и в убыхском функционально синкретичны (выражают не только субъектные, но и объектные отношения), их противопоставление определяется переходностью — непереходностью глагола (именительный субъектный управляется непереходным глаголом, именительный объектный — переходным глаголом, эргативный субъектный связан с переходным глаголом, эргативный падеж косвенного объекта выражает функции генитива, датива и т. д.). В плане выражения категории падежа разбираемые языки составляют единство в оформлении именительного и эргативного падежей. Именительный падеж выражается в убыхском и адыгских языках нулевым формантом, а форма мн. числа эргатива образуется от формы ед. числа с помощью чередования нулевой огласовки эргативного падежа с гласным. Ср. адыг. *q°ä*, убых. *q°a* «сын» (им. ед.), адыг. *q°ät*, убых. *q°an* «сын» (эрг. ед.), адыг. *q°ätä*, убых. *q°ana* «сыновья» (эрг. мн.). В адыгских языках оформление именительного падежа формантом *r* (наряду с нулевой формой) и формы мн. числа в эргативе формантом *-χä* (наряду с исходной формой на *-ä*) является нововведением, восходящим к более позднему хронологическому периоду, т. е. к эпохе самостоятельного существования адыгской подгруппы западнокавказских языков.

Важнейшим лингвистическим признаком, обосновывающим существование двух хронологических уровней — адыгско-убыхского и абхазского — в течение определенного исторического периода после распада западнокавказского языкового единства, является отсутствие в адыгско-убыхском ареале грамматической категории класса, пронизывающей всю морфологическую систему абхазской подгруппы.

Категория грамматического класса в абхазском и абазинском языках подробно описана в литературе. В частности, этому вопросу много внимания уделено в трудах К. В. Ломтатидзе [6]. Поскольку категория класса представляет значительный интерес для решения вопросов исторической дифференциации западнокавказских языков, представляется необходимым кратко остановиться на этом грамматическом явлении с точки зрения его относительной хронологии.

В абхазском и абазинском категория класса выражается в именах существительных, числительных, местоимениях и глаголах. В названных лексико-грамматических разрядах слов категория класса представлена по-разному. Имена существительные ед. числа не дифференцируются по классам. Категория класса в именах существительных проявляется в том, что формы мн. числа класса человека оформляются суффиксом *-c°a* (абх.), *-č°a* (абаз.), а формы мн. числа класса вещи — суффиксом *-к°a*. Причем морфологическое противопоставление двух классов при выражении формы мн. числа проводится не очень последовательно: суффикс класса вещи *-к°a* оформляет также класс человека или же дополнительно присоединяется к суффиксу класса человека. Ср. абаз. *an-č°a*, *an-к°a* «матери», абаз. *aha-č°a-к°a* «мужчины». Заметим, что в абхазском и абазинском для

[6] К. В. Ломтатидзе, Грамматический обзор тапантского диалекта абхазского языка, Тбилиси, 1944 (на груз. яз.); е е ж е, Ашхарский диалект и его место среди других абхазско-абазинских диалектов, Тбилиси, 1954 (на груз. яз.); е е ж е, Категория переходности в абхазском глаголе, «Изв. Ин-та языка, истории и материальной культуры», XII, Тбилиси, 1942 (на груз. яз.).

выражения мн. числа используются также другие форманты. Ср. абх. *-ra*: *aza-ra* «козлята», *aa*: *Agr-aa* «Агрбовцы» (фамилия). Обилие форм выражения мн. числа в абхазском и абазинском — явление вторичное. Состояние западнокавказского праязыка с точки зрения выражения числа в именах существительных в известной мере продолжает убыхский язык, не различающий форм ед. и мн. числа (за исключением форм эргатива и посессивности) [7]. Поэтому есть основания считать, что классное противопоставление форм выражения мн. числа существительных, возникнув на праабхазской почве, не получило дальнейшего развития. Вариантное оформление формы мн. числа (абаз. *an-č°a*, *an-k°a* «матери», *axa-č°a-k°a* «мужчины»), наличие нейтральных форм выражения мн. числа (с помощью *-ra*, *-aa*) свидетельствуют о тенденции к снятию классного противопоставления форм выражения множественности в абхазском и абазинском языках.

Грамматические классы устойчиво удерживаются в числительных. Однако тот факт, что классный формант *ѡə* сохраняет семантические и фонетические связи с основой *awaѡə* «человек» (абх.) говорит в пользу его оформления в качестве классного показателя на праабхазской почве.

Классы выражаются в местоимениях лексически (причем лишь во 2 и 3-м лице ед. числа), в глаголе — грамматически. Характерно, что во 2-м лице при персонификации названий вещей, природы и т. д. эти названия попадают в класс мужчины. В этом отношении между формами 2 и 3-го лица класса мужчины обнаруживается семантическая параллель: названия вещей, предметов, явлений природы и т. д. объединяются с названиями людей мужского пола. Отсюда следует, что в местоимениях лексически разграничиваются лишь два класса. При этом из двух классов маркированным является класс женщины, который противопоставляется классу всего остального, в том числе мужчины, вещи и т. д. Поэтому при описании местоимений лексические классы, на наш взгляд, правомерно было бы назвать по их назначению: 1) класс женщины, 2) класс всего остального (класс не-женщины): *bara* «ты» (класс женщины), *lara* «она» (класс женщины), *wara* «ты» (класс не-женщины), *jara* «он, она, оно» (класс не-женщины). Другое дело — синтаксическая связь местоимений и существительных с глагольными классными показателями. В этом отношении между местоимением и формой глагола 2-го лица ед. числа сохраняется симметричность: глагол морфологически выражает классы, свойственные местоимению: *bara b-cojt'* «ты (женщина) идешь», *wara w-cojt'* «ты (не-женщина: мужчина, лошадь, поезд и т. д.) идешь», *bara sara b-s-aazojt'* «тебя (женщину) я воспитываю», *wara sara w-s-aazojt'* «тебя (мужчину, щенка и т. д.) я воспитываю». Положение меняется в 3-м лице: субъект непереходного глагола и прямой объект переходного глагола различаются по классам человека и вещи [*d-cojt'* «он, она (человек) идет», (*j*)*-cojt'* «он, она, оно (класс вещи) идет», *d-r-bojt'* «они его (класс человека) видят», *d-r-bojt'* «они ее (класс человека) видят», (*j*)*-rbojt'* «они его (класс вещи) видят»], а субъект переходного глагола и косвенный объект — по классам мужчины, женщины и вещи [*s-wə-j-tojt'* «он (класс мужчины) меня тебе (класс мужчины) отдает», *s-wz-na-tojt'* «оно (класс вещи) меня тебе (класс мужчины) отдает», *w-lə-s-tojt'* «я тебя (класс мужчины) ей (класс женщины) отдаю», *w-jə-s-tojt'* «я тебя (класс мужчины) ему (класс мужчины) отдаю», *w-a-s-tojt'* «я тебя (класс мужчины) ему (класс вещи) отдаю»].

Грамматические классы в местоимении и глаголе генетически взаимосвязаны: глагольные классные показатели этимологически возводятся

[7] М. А. Кумахов, К истории категории числа в абхазо-адыгских языках, «Материалы первой сессии по сравнительно-историческому изучению иберийско-кавказских языков», Махачкала, 1969, стр. 57.

к классным местоимениям. Вообще генетическая связь классных местоимений и глагольных классных аффиксов в подавляющем большинстве случаев совершенно прозрачна (что отчасти видно из вышеприведенного материала). В этом заключается отличие абхазского и абазинского языков от восточнокавказских (нахских и дагестанских) языков с точки зрения генезиса и относительной хронологии категории грамматического класса. Этот факт, по-видимому, говорит о многом. Указанное явление, во-первых, свидетельствует о возникновении в западнокавказских (абхазском и абазинском) языках той системы грамматических классов в глаголе, которая характерна их современному состоянию, в более поздние хронологические эпохи, чем категория класса восточнокавказских языков [8]. Повсеместная утрата генезиса классных показателей в обширном и разнообразном восточнокавказском (нахско-дагестанском) языковом ареале отражает более древний тип грамматической категории класса в восточнокавказских языках. Во-вторых, генетическое тождество классных местоимений и классных показателей в глаголе характеризует своеобразие формирования и сложения грамматической категории класса в западнокавказских (абхазском и абазинском) языках с типологической точки зрения.

Категория класса в глаголе абхазского и абазинского языков восходит к праабхазскому хронологическому уровню. Впрочем даже независимо от того, унаследована ли категория класса в глаголе от западнокавказского языкового состояния или возникла в эпоху существования праабхазского языка, отсутствие разбираемого явления в адыгско-убыхском ареале указывает на его обособленную позицию. Во всяком случае, изменение адыгско-убыхского глагола по лицам (личное спряжение), в то время как классное спряжение прочно удерживается в абхазско-абазинском глаголе (во 2 и 3-м лице), исторически не может быть случайным: это явление говорит о совместном историческом развитии диалектной группы адыгско-убыхского ареала. Заметим, что типологически разные принципы спряжения — классное и личное — относятся к существенным признакам, определившим основные черты глагольной системы не только в эпоху существования праабхазского и адыгско-убыхского языковых единств, но и в последующий период индивидуального развития западнокавказских языков.

Иначе стоит вопрос о категории грамматического класса в именах существительных и прилагательных западнокавказских языков. Среди специалистов по западнокавказским языкам (и не только по западнокавказским) получила поддержку и широкое распространение теория грамматического класса, выдвинутая одним из крупнейших исследователей данной группы языков Г. В. Рогава. По мнению Г. В. Рогава, грамматические классы исторически различались не только в глаголе, местоимении и числительных, но и в именах существительных и прилагательных западнокавказских языков с помощью префиксальных морфем. Речь идет не о классном противопоставлении форм выражения числа, как это имеет место в современных абхазском и абазинском, а о дифференциации имен (независимо от формы числа) с помощью классных префиксальных морфем. Вычленению былых именных префиксальных классных показателей и суффиксов — детерминативов в адыгских языках посвящена известная монография Г. В. Рогава [9]. Заметим, что эта монография наряду с тео-

[8] Существует мнение, что современной системе грамматических классов в абхазском и абазинском языках предшествовало типологически иное состояние — другая система классов (см.: Г. В. Рогава, К вопросу о структуре именных основ и категориях грамматических классов в адыгских/черкесских/языках, Тбилиси, 1956).

[9] Г. В. Рогава, указ. соч.

рией классов и детерминативов содержит много новых и глубоких наблюдений над исторической морфологией и лексикологией адыгских и шире — западнокавказских языков.

Не ставя целью опровергать другие точки зрения, а исходя из возможности существования разных гипотез по вопросам исторической грамматики западнокавказских языков, автор этих строк предлагает несколько иное решение вопроса о категории грамматического класса в именах существительных и прилагательных. Предлагаемая точка зрения основывается на принципах относительной хронологии и динамической теории реконструкции корня, получившей обоснование в современном сравнительном языкознании. В соответствии с динамической теорией реконструкции важным является учет того обстоятельства, что корень как единица онтологического уровня подвергается постоянным преобразованиям, исключающим возможность существования только одной единственной структурной модели корня в языке [10]. На протяжении длительного развития и складывания языка корень не может оставаться однотипным и неизменным. Представляется теоретически правомерной точка зрения, согласно которой для определенного хронологического периода развития языка постулируется не одна модель, а разные модели корня или основы.

Многосложные образования типа адыг., каб. *məṡä* «медведь», адыг. *mas'°ä* «огонь», адыг., каб. *dəṡä* «золото», адыг. *təž'ənə*, каб. *dəżən* «серебро», адыг., каб. *jat'ä* «земля, грязь», адыг. *ṡhalə*, каб. *ṡhäl* «мельница», адыг. *bəzə*, каб. *bəz* «грудь», адыг. *šk'ä*, каб. *šč'ä* «теленок», адыг., каб. *ṡabä* «мягкий» и др. рассматриваются нами как нечленимые корневые образования на общеадыгском уровне. Вычленение в образованиях разбираемого типа префиксов *m-*, *d-*, *t-*, *j-*, *š-*, *ṡ-* на общеадыгском уровне наталкивается на трудности, поскольку не сохранилась морфологическая оппозиция производящей и производной основы, необходимая для их реконструкции. Если предположить этимологическую производность (членимость) этих образований, т. е. возможность вычленения префиксальных морфем в более ранние хронологические периоды, то все же представляется правомерным признать, что процесс опрощения (отход префиксов к корню) имел место уже в общеадыгском, поскольку не только на адыгском, но и на западнокавказском материале не обнаруживается живых морфологических связей между префиксом и корнем.

С точки зрения членимости морфемного строения в другую группу входят двухсложные (правда, немногочисленные) образования типа адыг. *mafä*, каб. *maχ°ä* «день», адыг., каб. *mac'ä* «саранча», адыг. *mäž'ä*, каб. *mażä* «гребень», адыг. *mač'ä* каб. *mas'ä* «малый», адыг. *max°λä*, каб. *maλxä* «зять» и др. Последние могут быть сегментированы на «*ma*(*ä*) + корень». Первоначальное двуморфемное строение этих образований устанавливается этимологической соотнесенностью их второй части с самостоятельными корневыми морфемами, на что справедливо указывает Г. В. Рогава [11]. Вместе с тем обращает на себя внимание отсутствие семантического инварианта у разбираемых лексем. То обстоятельство, что *ma*(*ä*)- входит в состав слов, распределяющихся по разным семантическим классам, в том числе классам человека и вещи (ср. адыг. *max°λä*, каб. *maxλä* «зять», адыг. *mäž'ä*, каб. *mażä* «гребень»), значительно осложняет определение первоначальной функции *ma*(*ä*)-. Отсутствие в современных западнокавказских языках и диалектах модели основообразования с элементом *ma*(*ä*)- свидетельствует о том, что опрощение некогда этимологически двуморфемных

[10] Э. А. Макаев, Структура слова в индоевропейских и германских языках, М., 1970, стр. 277.

[11] См.: Г. В. Рогава, указ. соч., стр. 25—34.

образований типа «*ma*(*ä*) + корень» имело место не позже эпохи общеадыгского языкового единства.

Характерно, что в абхазском и абазинском языках, ныне различающих грамматические классы, именная основа представлена в более простом виде, т. е. имя обладает структурным оформлением, менее благоприятным (по сравнению с адыгскими языками) для вычленения префиксальных морфем. Ср. адыг. *mäš'ə* (< *mäčə*), каб. *maš* «просо», абх. (*a*)*ča* «хлеб», адыг., каб. *šhä*, абх. (*a*)-*xə*, абаз. *qa* «голова», адыг., каб. *baʒä* «муха«, абх. (*a*)-*ʒ* «блоха», адыг. *tfə*, каб. *tχ°ə*, абх., абаз. *x°*- «пять» и др. Если предположить, что в подобных случаях адыгский материал включает древние префиксальные элементы *m*-, *s*-, *b*-, *t*-, отпавшие в абхазском и абазинском, то это означает, что процесс опрощения в абхазском и абазинском завершился еще раньше, чем в адыгских языках. В этой связи показательным является также то, что адыгский (отчасти и убыхский) материал, на котором строится реконструкция классных показателей, часто не имеет корреспонденций в абхазском и абазинском языках. К ним относятся адыг. *təγä*, каб. *dəγä*, убых. (*n*)*dəγä* «солнце», адыг., каб. *dəšä* «золото», адыг. *shalə*, каб. *shäl* «мельница», адыг. *mäž'ä*, каб. *mäžä* «гребень», адыг. *bəʒə*, каб. *bəʒ* «грудь», адыг. *šk'ä*, каб. *šč'ä* «теленок», адыг. *məž°ä*, каб. *məvä* «камень», адыг., каб. *jat'ä* «грязь», адыг. *p'č'aw*, каб. *p'č'awä* «стрекоза», адыг., каб. *p'alä* «срок», адыг., каб. *šabä* «мягкий» и др. Как видно, материал абхазского и абазинского языков оказывается менее благодатным для этимологического вычленения префиксальных морфем в именных основах.

Вышеизложенные соображения приводят к следующей гипотезе: если постулировать существование действующих классных префиксальных показателей в именных основах, то с точки зрения релятивной хронологии они могут соотноситься лишь с эпохой, предшествовавшей периоду западнокавказского языкового единства [12].

Наличие тесной адыгско-убыхской диалектной группы в прошлом доказывается не только отсутствием классного спряжения, характерного для праабхазского языка. Адыгские языки (как и общеадыгский) объединяются с убыхским как тождеством распределения личных и деривационных (основообразующих) морфем, так и общими тенденциями развития парадигматики глагола в целом. Нам уже приходилось писать в другом месте, что разграничение статических и динамических глаголов, характерное для всей группы западнокавказских языков, выявляет немало общих и специфических черт для убыхского, адыгейского и кабардинского

---

[12] Характерно, что классы морфологически не различаются в именах существительных современных восточнокавказских (нахских и дагестанских) языков. Случаи типа авар. *vas* «сын», *jas* «дочь», бацб. *vašo* «брат», *jašo* «сестра» носят единичный (нерегулярный) характер. Иначе: грамматически (точнее — морфологически) категория класса не свойственна имени существительному современных восточнокавказских языков, хотя при описании морфологии имени существительного по традиции выделяется категория класса. Между тем, на наш взгляд, целесообразно было бы говорить лишь о синтаксической связи глагольных классных показателей с именами существительными и рассматривать вопрос о закреплении различных глагольных классных показателей за различными группами существительных в разделе, посвященном глаголу, поскольку именно последнему (а не существительному) присуща морфологическая категория класса. В этом отношении глагольные классные показатели восточнокавказских языков в известной мере напоминают глагольные превербы (локальные префиксы) западнокавказских языков, закрепленные за определенными группами существительных. Ср., например, превербы *dä*-, *χä*-, *j*- в каб.: *px°antäm dä-λś* «в сундуке лежит», *wäsəm χä-λś* «в снегу лежит», *matäm jə-λs* «в корзине лежит». Хотя разные группы имен существительных закреплены за разными глагольными локальными префиксами, не может быть речи о выделении грамматической категории места в именах существительных западнокавказских языков.

языков [13]. В этой связи обращают на себя внимание принципы построения парадигм статических глаголов. Адыгейско-убыхская парадигма статического глагола, обособляясь от абхазско-абазинской, образует единство, т. е. строится на общих признаках. Ср. адыг. *sə-tjä-λ*, убых. *sə-g'ə-λ-* «я лежу на чем-то», адыг. *wə-tjä-λ*, убых. *wə-g'ə-λ-* «ты лежишь на чем-то». То же самое можно сказать об адыгско-убыхской модели статических глаголов от именных основ. Ср. адыг. *wə- s'°ə*, убых. *w-č'a* «ты счастлив», адыг. *s'°ə-*, убых. *č'a* «он счастлив». Адыгско-убыхская парадигма статического глагола отличается от абхазско-абазинской не только огласовкой личных аффиксов и формой (нулевой) выражения 3-го лица, но также отсутствием суффиксального оформления, свойственного абхазско-абазинскому глаголу. Ср. абх. *s-t'°-owp'* «я сижу», *d-q'uš-up'* «он умен (она умна)». Отсутствие суффиксального оформления, отражающее древнее адыгско-убыхское диалектное единство, по-видимому, унаследовано от западнокавказского языка, тогда как наличие суффиксального оформления — абхазско-абазинское новообразование [14].

Много общего между адыгскими и убыхским языками в построении парадигмы динамических глаголов, в частности в оформлении личных аффиксов. Некоторые особенности оформления личных аффиксов настолько специфичны для адыгско-убыхской глагольной парадигматики, что их можно объяснить лишь существованием адыгско-убыхского единства в течение длительного времени после распада западнокавказского языка. Ср. адыг. *sə-tjäk'°ä*, убых. *sə-bγ'ak''an* «я его побеждаю», адыг. *s-a-tjäk'°ä*, убых. *s-a-bγ'a-k''an* «я их побеждаю», адыг. *tjäk'°ä*, убых. *bγ'a-k''an* «он его побеждает», адыг. *a-tjäk'°ä*, убых. *a-bγ'a-k''an* «он их побеждает». Из приведенных примеров видно, что как в адыгейском, так и в убыхском косвенный объект 3-го лица ед. числа выражается нулевой морфемой, а косвенный объект 3-го лица мн. числа — аффиксом *a-*. При этом огласовка личных аффиксов и их распределение также идентичны в адыгейском и убыхском. Абхазско-абазинская парадигма в этом отношении отличается от адыгейско-убыхской не только классным спряжением, но также тем, что косвенный объект последовательно остается маркированным. Ср. абх. *s-jə-k°-ha-wajt'* «я на него падаю», *s-Iə-k°-ha-wajt'* «я на нее падаю», *s-a-k°-ha-wajt'* «я на него (класс вещи) падаю», *sə-rə-k°a-ha-wajt'* «я на них падаю». Факты, иллюстрирующие общность материального и структурного оформления адыгско-убыхской личной парадигматики глагола, многочисленны.

Адыгско-убыхское диалектное единство поддерживается общностью форм выражения ряда важнейших грамматических категорий. К ним относятся: категория потенциалиса, ср. каб. *-fə*, убых. *-fa*, адыг. *-ś°* (каб. *sə-m-k'°ä-f*, *sək'°ä-fə-r-q'əm*, убых. *sə-m-k''a-fa-n*, адыг. *sə-k'°ä-ś°-rä-p* «я не могу идти»), категория версии, ср. каб. *χ°ä-*, адыг. *fä-*, убых. *x'a-* (каб. *χ°a-z-γ°ata-q'əm*, адыг. *fä-z-γ°ätə-γä-p*, убых. *x'a-z-γ°aw-q'a-ma* «я не смог найти для него»), категория возвратности действия, ср. адыг., каб. *-ž'*(< **-j*), убых. *-(a) j* (адыг. *k'°ä-ž'ə-γa*, каб. *k'°až'-a-ś*, убых. *ak''a-j-q'a* «он вернулся»); форма регулярности действия, ср. адыг. *-g°(a)*, убых. *-g'a* (адыг. *sə-k'°ä-g°ä*, убых. *sə-k''a-g'-a-n* «я иду», адыг. *sä-λaγ°ə-g°*, убых. *a-z-bja-g'a-n* «я вижу»); ср. также адыг. *-g°(a)*, убых. *g'a* в императиве: адыг. *'°äg°!*, убых. *awžəq'a-g'a* «скажи же!» [15]. Адыгско-убыхская форма

---

[13] М. А. Кумахов, Словоизменение адыгских языков, М., 1971, стр. 327—328. Ср. также: Г. В. Рогава, К истории структуры статических глаголов в абхазско-адыгских и картвельских языках, «Шестая региональная научная сессия по историко-сравнительному изучению иберийско-кавказских языков», Майкоп, 1975.

[14] Г. В. Рогава, указ. соч.

[15] G. Dumézil, Le verbe oubykh, «Mémoires de l'Académie des inscriptions et belles-lettres», Nouvelle série, I.

каузативного аффикса -γ-, хотя и обнаруживает генетическую связь с абхазско-абазинским -r- [16], также относится к явлениям, возникшим в период совместного развития адыгско-убыхской диалектной группы. Заслуживают внимания процессы сложения и формирования форм выражения локальных отношений. Показательным является то, что для адыгско-убыхского ареала не характерны превербы — корни типа абх., абаз. *t(a)*, *l(a)* и др., выступающие в роли корневых элементов статических глаголов и превербов в составе самостоятельных глаголов. Превербы в адыгских и убыхском языках выражают локальные и пространственные отношения и имеют статус аффиксальных морфем. Важно отметить, что некоторые употребительные превербы, обнаруживающие функциональное и генетическое тождество, сложились на адыгско-убыхской почве. Так, адыг., каб. *'ə-* (**<q'ə-*), убых. *q'a* (ср. адыг. *s-'ə -γ<*s-q'ə-γ*, убых. *a-s-q'a-γ'* «я держу»), адыг., каб. *pχä-*, убых. *pš'a-* [ср. каб. *sə-pχowä<*sə-w-pχəw-wä*, убых. *sə-w-pš'a-j-g°on* «я бью (толкаю) тебя сзади»] и др. восходят к адыгско-убыхскому состоянию. Ср. также: адыг. (шапс.) *g°ä-*, убых. *g'ə-* в значении «на»: шапс. *sə-g°ä-sə*, убых. *sə-g'ə-sə* «я сижу на чем-то» (ср. шапс. *š'əm səg°äsə* «сижу на лошади»).

К адыгско-убыхскому хронологическому уровню могут быть возведены отдельные продуктивные типы словообразования. Так, использование корневой морфемы *k'°ä-* (адыг., каб.), *k''a-* (убых.) в качестве регулярного словообразовательного элемента относится к древним типам адыгско-убыхского основообразования. Ср. адыг. *šak'°ä*, каб. *šak'°ä*, убых. *š°ak''a* «охотник» и др.

Хотя при определении принципов членения языковой общности и степени родства между языками лексика, как известно, не играет решающей роли, положение о древнем адыгско-убыхском диалектном единстве поддерживается также лексическим материалом. В лексике (как и в фонетике и грамматике) обнаруживаются некоторые изоглоссы, специфичные для убыхского, абхазского и абазинского языков. Так, убыхский разделяет с абхазским и абазинским ряд корневых морфем, отсутствующих или не имеющих надежных корреспонденций в адыгских языках. Ср., например, убых. *bla*, абх., абаз. *la* «глаз», убых. *la*, абх., абаз. *ž'a* «заяц», убых. *bja-*, абх., абаз. *ba-* «видеть» и др. Для западнокавказских языков характерны также адыгско-абхазские лексические изоглоссы. Ср., например, адыг., каб. *wəna*, абх. *ωna*, абаз. *ω°əna* «дом», адыг., каб. *l'ə*, абх., абаз. *ž'ə* «мясо», адыг., каб. *c'ək'°*, абх. *č'k'°n* «малый» и др. Однако подобные двусторонние лексические изоглоссы (как и двусторонние грамматические изоглоссы) по своему удельному весу не идут в сравнение с теми многочисленными корневыми морфемами, которые убыхский разделяет с адыгскими языками. Адыгско-убыхский корнеслов (сюда, разумеется, не входят многочисленные внутренние заимствования, в основном адыгизмы в убыхском) включает довольно большое число единиц, относящихся к разным сферам лексики. Важно отметить, что адыгско-убыхский корнеслов составляют не разрозненные лексические единицы, а слова, образующие определенные подсистемы. Кроме того, для вычленения адыгско-убыхского языкового единства важен не только факт наличия тех или иных корневых морфем, но и специфика их структурного оформления и функционирования в языке. В этом отношении очень показательны адыгско-убыхские корневые морфемы статических глаголов. Речь идет о корневых элементах типа адыг., каб., убых. *s-* «сидеть», *t-* (*t°-*) «стоять, быть, находиться», *λ-* «лежать», характеризующихся не только особой парадигмой, но и

[16] К. В. Ломтатидзе. К звукосоотношению *γ*‖*r* в абхазско-адыгских языках, «Сообщения АН ГрузССР», XXI, 5, Тбилиси, 1958 (на груз. яз.).

тождественной дистрибуцией как в убыхском, так и в адыгских языках: они являются морфологически связанными, несвободными, т. е. их оформление как основ статических глаголов возможно в сочетании с локальными префиксальными морфемами. Ср. основообразующие модели «преверб'+ + корень типа *s-* (*t-*, *λ-*)", иллюстрирующие наличие не только генетически тождественных адыгско-убыхских корневых морфем, но и их тождественного структурного оформления. Как разбираемые корневые элементы, так и их структурные признаки являются веским аргументом в пользу существования адыгско-убыхской языковой общности.

Тематическую системность адыгско-убыхского корнеслова составляют также первообразные числительные [адыг. (шапс.) *t'q'°ä*, убых. *t'q'°a* «два», адыг., каб. *bγ°ə*. убых. *bγ'a* «девять» и др.], вопросительные местоимения (адыг., каб. *χä-t*, убых. *ša* «кто», адыг. *sə-d*, каб. *sə-t*, бесл. *si*, убых. *sa-* «что»), названия частей тела и организма (адыг. *fa*, каб. *χ°ä*, убых. *x°a* «жила», адыг., каб. *pχä*, убых. *pša* «зад, задняя часть») и др. В адыгско-убыхский лексический фонд входят: адыг *wa-šx°ä*, каб. *wa-šx°ä*, убых. *wa* «бог» (ср. адыг. *wä* «небо, небесное пространство»), адыг. *təγä*, каб. *dəγä*, убых. (*n*) *dγa* «солнце», адыг. *q°a*, каб. *q'°a*, убых. *q°a* «сын», адыг. *γ°əč'ə*, каб. *γ°əš'*, убых. *ωəc'°a* «железо», адыг., каб. *wanä*, убых. *waωa* «седло», адыг., каб. *k'°ä-*, убых. *k''a-* «идти», адыг. *'°ä-*(<*q'°a-), убых *q'a-* «говорить», адыг., каб. *γ°ät-*, убых. *γ°aω-* «находить», адыг. *p'č'ä-*, каб. *p's'ä-* «полоть», убых. *p'č'a-* «чистить», адыг., каб. *l'a-*, убых. *-l'a* «душить» (ср. адыг. *thäl'ä-*, убых. *l'al''-* «душить») и мн. др. Характерно, что многие единицы из адыгско-убыхского корнеслова не находят надежных соответствий в абхазском и абазинском языках. Возможность же их последующего выявления на основе внутренней и сравнительной реконструкции также может свидетельствовать об обособленной позиции абхазско-абазинского ареала.

В свете всего вышесказанного членение западнокавказских языков схематически может быть представлено следующим образом:

Итак, вышеизложенное заставляет пересмотреть существующее положение об исторической дифференциации западнокавказских языков и принять новую точку зрения, согласно которой в эпоху после распада праязыкового единства праабхазский являлся самостоятельной единицей, тогда как адыгско-убыхское языковое единство продолжалось в течение определенного периода в истории развития данной группы языков. Несмотря на наличие двусторонних изоглосс (убыхско-абхазских и адыгско-абхазских), адыгско-убыхская языковая общность характеризуется рядом важнейших структурных особенностей в области фонетики, грамматики и лексики, отличающих ее от праабхазского. Обособлению адыгско-убыхской общности от праабхазского языка способствовала не только консервация в ней ряда явлений, восходящих к западнокавказскому языковому состоянию, но и зарождение значительных инноваций, определивших своеобразие структуры адыгско-убыхской диалектной группы как в эпоху ее совместного развития, так и в последующий период самостоятельного существования западнокавказских языков.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1976

А. К. МАТВЕЕВ

ЭТИМОЛОГИЗАЦИЯ СУБСТРАТНЫХ ТОПОНИМОВ И МОДЕЛИРОВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ ТОПОНИМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Многообразные теоретические и прикладные проблемы, изучаемые топономастикой, до сих пор оттесняют на второй план одну из ее главных задач — выявление и интерпретацию разноязычных топонимических субстратов. Ученые нередко отступают перед трудностями этимологического исследования топонимов, предпочитая формальные методы этимологическим разысканиям. А между тем именно в этой сфере топономастика способна не только уточнять детали языковой эволюции или указывать направление поисков, но и открывать принципиально новые факты.

Методы изучения субстратных топонимов, на наш взгляд, далеки от совершенства и подчас настолько противостоят друг другу, что их можно считать взаимоисключающими. В результате этимологизация топонимических названий часто произвольна. Дискуссионность положений вынуждает многих исследователей, лингвистов и историков, обходить топонимический материал, поскольку полученные при анализе топонимов выводы далеко не всегда вызывают доверие.

Все это заставляет снова обращаться к актуальной проблеме метода в топонимических исследованиях и прежде всего к поиску путей совершенствования этимологизации субстратных топонимов. И хотя методике этимологического изучения субстратных географических названий посвящена уже довольно значительная литература [1], эту проблему никак нельзя считать исчерпанной.

Нередко считают, что массовость топонимических этимологий — лучшее доказательство их правильности в целом. Однако сама по себе массовость этимологий отнюдь, не является гарантией их правильности и не спасает от ошибок: история топономастики знает немало попыток доказать то или иное ошибочное построение при помощи массовых этимологий («скифская» гипотеза А. И. Соболевского, «мерянская» С. К. Кузнецова и т. п.).

Исследователи географических названий знают, сколь разными путями приходится искать в этой области истину и как скромны обычно полученные результаты. Только на определенном уровне разысканий иногда возможен качественный скачок: это, как правило, бывает в тех случаях, когда материал достаточно велик и в нем обнаруживается определенная система [2]. Вопрос, следовательно, в том, как быстрее выявлять системные связи в топонимии.

---

[1] См.: Б. А. Серебренников, О методах изучения топонимических названий, ВЯ, 1959, 6; А. П. Дульзон, Вопросы этимологического анализа русских топонимов субстратного происхождения, ВЯ, 1959, 4; А. И. Попов, Географические названия (Введение в топонимику), М.— Л., 1965 (особенно гл. II и III); А. А. Белецкий, Лексикология и теория языкознания (Ономастика), Киев, 1972 (особенно разделы I, II) и др. работы.

[2] Теоретический аспект вопроса о системе в топонимии охарактеризован в статьях В. Н. Топорова «Из области теоретической топономастики» (ВЯ, 1962, 6) и «Некоторые соображения в связи с построением теоретической топономастики» (сб. «Принципы топонимики», М., 1964).

Есть два пути реализации системного подхода к этимологическому изучению субстратных топонимов.

Во-первых, это поиск коррелятивных членов в фонетике, семантике, словообразовании топонимов, а также установление ареальных оппозиций [3]. Прием этот достаточно хорошо известен и довольно эффективен, хотя методика его использования все еще не вполне отработана. В частности, явно недооценивается вытекающая из факта существования корреляций в топонимии возможность прогнозирования, иными словами, возможность направленного поиска субстратных топонимов при анализе географических названий на одной или на смежных территориях. Так, в свое время на основе ареального противопоставления основ *нюхч-*, *чехч-*, *чухч-* (север Архангельской обл.): (?), *чекш-*, *чукш* (Белозерский край) было высказано предположение, что в Белозерском крае должна встретиться и основа *нюкш-*, которая затем и была зафиксирована топонимической экспедицией (р. *Нюкша*, *Нюкшозеро*) [4]. Теперь уже накоплен довольно значительный опыт по такому прогнозированию. Оказалось, что этот прием («поиск недостающего члена оппозиции») сам по себе весьма ценен. Однако возможности его использования ограничены, поскольку подобные корреляции обнаруживаются не слишком часто.

Во-вторых, можно идти не от топонимов, а от реалий, или, точнее, от понятий, моделируя компоненты топонимии. Этот путь, основанный на принципах ономасиологического подхода к лексике, представляется более перспективным еще и потому, что изучение субстратных названий смыкается здесь со второй важной задачей топономастики — уже не только теоретической, но и прикладной — изучением принципов номинации географических объектов и выработкой рекомендаций по их наименованию. Если первая задача целиком обращена к прошлому, то вторая — к будущему. Но обе они в равной мере объясняют рост интереса к топонимической ономасиологии.

Широкое развитие ономасиологических исследований и накопление некоторого опыта в области применения ономасиологического подхода к изучению лексических фактов [5] позволяют по-новому взглянуть на проблему методов этимологизации топонимов и предложить еще одну процедуру изучения субстратной топонимии на базе предварительно установленных ономасиологических моделей.

Выявление топонимических универсалий и их использование в практике этимологизации еще не решают проблему методов изучения субстратной топонимии, так как учет семантической мотивированности (принципов номинации, топонимических универсалий) [6] также не гарантирует от неудачи. Чтобы разобраться в постановке вопроса и наметить пути его

---

[3] См. об этом: А. П. Дульзон, Этнически дифференцирующие топонимы Сибири и Дальнего Востока, сб. «Языки и топонимия Сибири», II, Томск, 1970.

[4] См.: А. К. Матвеев, Ареальные исследования и этимологизация субстратных топонимов, сб. «Проблемы картографирования в языкознании и этнографии», Л., 1974, стр. 295.

[5] В теоретическом отношении интересна диссертация Н. Д. Голева «Система номинации конкретных предметов в русском языке» (АКД, Томск, 1974). Из лексикографических работ: W. Veenker, Materialien zu einem onomasiologisch-semasiologischen vergleichenden Wörterbuch der uralischen Sprachen. Hamburger uralistische Forschungen, I, Hamburg, 1975. Примеры использования ономасиологических моделей в ономастических исследованиях см.: А. А. Белецкий, Лексикология и теория языкознания, стр. 86—127; О. Н. Трубачев. Ранние славянские этнонимы — свидетели миграции славян, ВЯ, 1974, 6; М. Э. Рут, К вопросу о принципах номинации созвездий, сб. «Вопросы топономастики», 6, Свердловск, 1972.

[6] См. об этом: А. К. Матвеев, Значение принципа семантической мотивированности для этимологизации субстратных топонимов, сб. «Этимология 1967», М., 1969.

решения, прежде всего необходимо уяснить принципиальную разницу между семасиологическим и ономасиологическим путем этимологической интерпретации топонимов.

Разумеется, о семасиологическом подходе к этимологизации субстратных топонимов можно говорить весьма условно, поскольку их семантика скрыта и задача сводится к тому, чтобы ее установить. Поэтому правильнее было бы вести речь об изучении топонимов «от звучания», «от звуковой формы», обозначающей определенный объект или «от слова». Этот путь сейчас является основным при этимологическом изучении субстратных топонимов. Но если идти «от звучания», необыкновенно широки возможности этимологического объяснения, обусловленные самой природой субстратной топонимии: исследователь часто не знает, к одному или нескольким субстратным языкам восходит интерпретируемый материал и что представляют собой эти языки. И даже если он верно определил источник топонимии и правильно этимологизировал ряд топонимов, то и в таком случае нередко бывает очень далек от установления регулярных фонетических соответствий, столь необходимых для того, чтобы сделать эти этимологии доказанными.

Учет семантической мотивированности, конечно, несколько дисциплинирует процесс этимологизации субстратных топонимов, но не меняет его сути, так как поиск все равно идет «от звучания» и ономасиологическая модель используется лишь как средство, помогающее принять или отвергнуть этимологию топонима. Проверять же таким способом этимологии топонимических основ и формантов с невысокой частотой употребления вообще затруднительно, поскольку их семантику почти невозможно предугадать.

Итак, при «семасиологическом» подходе отсутствует главное — строгость и последовательность метода. Так как исследователь встречается с топонимами различного происхождения и вынужден обращаться к разным языкам, возникает множество вариантов решения [7], поскольку и от одного топонима и от целой группы топонимов можно прийти к различным словам и значениям разных языков. В сущности от одного исходного факта мы идем к их множеству.

Задача, следовательно, состоит в том, чтобы создать более рациональную и в то же время более строгую методику исследования субстратных топонимов, которая ввела бы исследование в ограничивающие рамки и позволила бы быстрее устанавливать системные связи в топонимии. Ономасиология в этом отношении способна в какой-то мере помочь топонимической семасиологии, поскольку имеет возможность опираться на семантические модели-эталоны, господствующие на данной территории. Иными словами, именно потому, что семантика субстратных топонимов неизвестна, лучше идти ономасиологическим путем, построив такую методическую схему, которая позволяет путем последовательных ее изменений контролировать полученные результаты и выявлять закономерное в процессе топонимической этимологизации.

Очевидно, что поставленную задачу можно решить лишь в том случае, если для сравнения с фактами субстратной топонимии будет привлечен только один язык или ряд языков в строгой последовательности. При этом должна быть использована такая система (сетка) соответствий в рамках языка, привлекаемого для сравнения, которая, во-первых, охватывала бы наиболее важный для топонимии круг апеллятивной лексики, а во-вторых, не была бы чересчур громоздкой. Такую систему можно создать

[7] Ср.: Б. А. Серебренников, О методах изучения топонимических названий, стр. 46.

только при ономасиологическом подходе к топонимии, построив искомую модель и сравнивая одновременно массу языковых фактов одного порядка с массой субстратных топонимов. При таком приеме закономерное сопоставляется с закономерным, поэтому ошибочность тех или иных построений обнаружить намного легче.

Итак, методически целесообразнее идти не от топонима к исходному апеллятиву, подбирая в различных языках «подходящие» звучания и значения, а построив ономасиологическим путем на материале привлекаемого для сравнения языка (диалекта) сетку апеллятивных компонентов, постулируемых для данной топонимической системы, идти от нее к топонимам, т. е. составив перечень лексем, которые должны функционировать в топонимии, вести целеустремленный поиск в области субстратной топонимии, «направленную этимологизацию», от языка к топониму, а не от топонима к языку [8].

Естественно, такой поиск возможен далеко не всегда и в качестве непременного условия для него необходимо наличие в пределах определенного региона достаточно богатой и разнообразной субстратной топонимии и микротопонимии, что мы и находим, например, на русском Севере (топонимическая экспедиция Уральского университета в ближайшее время закончит сбор топонимии на территории Архангельской обл., а численность ее картотеки скоро достигнет миллиона единиц хранения).

Однако в этом случае должны изучаться прежде всего основы топонимов, а не форманты, хотя их «повторяемость (а значит и надежность) несравненно выше, чем повторяемость лексических основ» [9]. Но частотность и системность — отнюдь не одно и то же. Основы неизмеримо многочисленнее формантов, и это позволяет путем изучения основ с большей полнотой устанавливать системные связи между субстратными топонимами.

Кроме того, традиционный путь исследования «от форманта» часто дает искаженную картину, поскольку форманты обычно находятся в слабой позиции (в абсолютном конце слова) и поэтому особенно подвержены интенсивной переработке, нередко выступают в стертом виде, легко влияют друг на друга и нивелируются. Между тем, основы сохраняются несравненно лучше, так как находятся в начальной сильной позиции (ср. на русском Севере *Пéрхлойда*, *Пéрхлуды* и *Пéрховта* < *Пéрхлохта*, где во всех случаях представлена одна основа *Перх-*, но совершенно искажен детерминатив *-лохта* «залив»).

Поэтому, если исследуемый материал достаточно велик, изучение основ в принципе намного перспективнее, чем изучение формантов. К тому же, все форманты, восходящие к географическим терминам (детерминативам), как правило, находят соответствие и в основах. Наконец, ничто не мешает исследователю учитывать и данные изучения формантов. Вот почему поиск системы в субстратной топонимии, по нашему мнению, должен осуществляться прежде всего путем исследования основ с привлечением данных изучения формантов.

В основу метода положены следующие соображения общего характера.

Во-первых, топонимическая лексика тематически ограничена. И уже поэтому неизбежны значительные совпадения в семантике топонимов разных народов. Эти «общие места» еще более характерны для топонимии соседних народов, а также для топонимии субстрата и сменившего его язы-

---

[8] Ср.: «Этот путь принципиально противоположен тому, каким обычно шли. Не топонимику объяснять через язык, а язык через топонимику» (В. А. Никонов, Язык неизвестен, сб. «Топонимика Востока. Новые исследования», М., 1964, стр. 18)

[9] В. А. Никонов, указ. соч., стр. 19.

ка [10]. Во-вторых, топонимическая система в определенной мере воспроизводит систему языка в области фонетики, словообразования, лексики [11]. Это позволяет выявлять фонетические, словообразовательные, лексические оппозиции в пределах топонимии одного или нескольких языков. В-третьих, обладая знанием ономасиологических моделей, распространенных в топонимии функционирующего языка, можно построить с определенным приближением систему ономасиологических моделей языка субстрата.

Охарактеризуем теперь основные этапы процедуры, смысл которой сводится к тому, что, выбрав язык для сравнения (язык-эталон) [12], мы переводим смоделированную систему семем топонимии языка субстрата на язык-эталон. Тем самым искусственно порождается лексико-семантическая система, относительно близкая с точки зрения исследователя как по своей семантике, так и по фонетической и словообразовательной структуре к топонимии субстрата. Это позволяет при сравнении заметить наиболее существенные различия между лексическими элементами субстратной топонимии и искусственно порожденной системы языка-эталона, поскольку сопоставляются не изолированные факты, а семантически аналогичные серии элементов топонимических систем, что в свою очередь способствует установлению регулярных фонетических соответствий между языком-эталоном и языком субстратной топонимии.

Процедура четко членится на три этапа, в процессе реализации которых следует: (I) смоделировать словарь важнейших семем, предположительно употребляемых в субстратной топонимии данной территории, (II) перевести его на язык-эталон, (III) наложить полученную сетку лексем языка-эталона на субстратную топонимию.

I э т а п. Чтобы построить макет системы семем тех исходных апеллятивов, которые предположительно должны быть отражены в субстратной топонимии, логичнее всего использовать данные топонимии языка, функционирующего на исследуемой территории в настоящее время, в нашем случае — русского языка. Это означает, что мы должны составить идеографический словарь компонентов русской топонимической системы региона на основе выявленных топонимических универсалий. Для этого следует установить наиболее важные ономасиологические модели русской топонимии и распределить их по тематическим группам. Такой путь оправдан: естественно думать, что на одной территории и при смене языка в топонимии должна сохраняться семантически близкая номенклатура. Это обусловлено наличием общей природной среды и способов ее освоения, а также широким распространением калькирования.

Конечно, русский материал в семантическом отношении не вполне будет совпадать с субстратным уже из-за особенностей экономики и быта: русские — земледельцы, а носители древнего субстрата — охотники, рыболовы, может быть, оленеводы [13].

---

[10] См.: Г. В. Глинских, К интерпретации семантических соответствий в разноязычной по происхождению топонимике одной территории, сб. «Вопросы топономастики», 6, Свердловск, 1972, стр. 83—84.

[11] Подробнее см.: А. К. Матвеев, Некоторые вопросы лингвистического анализа субстратной топонимики, ВЯ, 1965, 6, стр. 5.

[12] Термин «язык-эталон» не нов. В частности, он применяется в типологических исследованиях (см., например: Н. Н. Коротков, Структурная типология, язык-эталон и задачи общей теории языка, сб. «Лингвистическая типология и восточные языки. Материалы совещания», М., 1965, стр. 93). Нами этот термин используется в другом значении.

[13] Прибалтийские финны Севера — довольно поздние пришельцы — занимались подсечно-огневым земледелием. Об этом см. нашу статью «Термины земледелия и животноводства в субстратных прибалтийско-финских топонимах на территории севера Европейской части СССР» («Уч. зап. Урал. гос. ун-та», Серия филол., вып. 13 — Во-

Надо учитывать также, что частотность употребления производящих апеллятивов в одних тематических группах выше, чем в других. Так, тематические группы «Птицы», «Дикие животные» отражены в русской топонимии очень широко, а тематическая группа «Прочая фауна» (комар, рак, ящерица и т. п.) имеет очень низкую частотность. Высокая частотность употребления апеллятива в русской топонимии, т. е. существенность признака, является серьезным доводом и в пользу важности соответствующего признака для носителей субстрата, хотя из этого положения есть много исключений. Например, высокочастотная для русских географических названий лексика христианской религии отражена в субстратной топонимии только в незначительной части, преимущественно в названиях построек.

Несмотря на эти несоответствия, индуктивный путь составления идеографического словаря представляется более плодотворным, чем его дедуктивное построение, которое, на наш взгляд, не только трудно осуществимо, но в принципе не может быть пригодным для решения намеченной задачи.

Таким образом, моделируя сетку потенциально достаточно высокочастотных семем для языка субстратной топонимии, следует исходить из особо «популярных» в русской топонимии тематических групп (географические термины, названия деревьев, животных, птиц, рыб и т. д.). Малочастотные элементы топонимии и тем более раритеты естественно не должны учитываться.

Практически для установления системы семем языка субстратной топонимии была использована общая картотека русских топонимов, собранных на территории русского Севера и извлеченных из топографических карт, относящихся к этой же территории (более 100 000 карточек).

Чисто формальным и условным критерием выборки было установлено наличие пяти и более фиксаций исходного компонента в топонимах, относящихся к несмежным объектам. Надо полагать, существование пяти топонимов в пределах о д н о г о региона, образованных в о д н о м языке на базе о д н о г о аппеллятива, свидетельствует о достаточно высоком уровне «топонимичности» этого апеллятива. Фактически многие аппеллятивы были засвидетельствованы в десятках названий. Понятно, что в дальнейшем круг лексических единиц, привлекаемых для сравнения, может только увеличиваться, но не уменьшаться.

В итоге был составлен список приблизительно из 500 имен нарицательных, наиболее обычных для русской топонимии региона. Однако в этом списке были представлены не только общерусские, но и диалектные лексемы: *язвец* «барсук», *взвоз*, *звоз* «подъем от реки», *пожня* «покос», *лом* «бурелом», *грубый* «крутой», *скакуша* «лягушка», *чуны* «сани», *треста* «тростник», *векша* «белка» и т. д. Эти лексические и семантические диалектизмы заменялись в списке литературными эквивалентами. В одну лексему были сведены и синонимические слова: *граница — рубеж*, *большой — великий* (= «большой»), *плохой — худой* (=«плохой»), *хороший — добрый* (=«хороший»), *студеный — холодный*, *длинный — долгий* и т. п.

После проведения этой необходимой процедуры был получен список из 400 имен нарицательных, наиболее полно отраженных в русской топонимии региона. Список был расчленен на следующие 22 тематические группы: гидрография, рельеф, почвы и полезные ископаемые, лес и лесное хозяйство, виды деревьев, кустарников и травянистых растений, дикие животные, домашние животные, птицы, рыбы, прочая фауна, люди, насе-

просы топономастики, 4, Свердловск, 1970). Что касается саами, то они вряд ли на Севере были земледельцами.

ленный пункт и постройки, общественные учреждения и отношения, сельское хозяйство, охота и рыболовство, пути сообщения и виды транспорта. предметы быта, продукты, страны света и времена года, пространственные отношения, свойства объектов, числовые обозначения. На табл. 1, 2, 5. 6 в графе 1 можно видеть состав идеографического словаря для тематических групп: «Гидрография», «Птицы», «Населенный пункт и постройки», «Виды деревьев, кустарников и травянистых растений».

Разумеется, составив такой идеографический словарь, мы не имеем права утверждать, что предусмотрели все наиболее существенное. что могло быть отражено в субстратной топонимии: трудно учесть возможную конкретизацию и выделить все видовые понятия, важные для древнего населения и потенциально отраженные в топонимии (например, названия разновидностей оленей, оленьих пастбищ, мха и т. п.).

II этап. Переводу идеографического словаря на язык сравнения (язык-эталон) должно предшествовать изучение историко-географических сведений и предварительная лингвистическая обработка топонимического материала. В нашем случае есть много оснований для того, чтобы обратиться к языку саами, поскольку уже имеется ряд этимологических данных, указывающих на наличие саамского компонента в топонимии Севера [14]. Для сравнения были выбраны диалекты кольских саами (нотозерский, кильдинский, йоканьгский), территориально наиболее близкие к Северу, что позволяет предполагать большее фонетическое и лексическое сходство между ними и постулируемым саамским языком (диалектами) субстратной топонимии Севера.

После того как идеографический словарь компонентов топонимии был переведен на саамский язык, оказалось, что иногда из-за различий в природных условиях (в рельефе, ландшафте, растительном и животном мире) на Кольском п-ве и Севере в саамских диалектах Кольского п-ва отсутствуют лексические эквиваленты, поскольку там нет и соответствующих реалий, т. е. в лексической сетке языка-эталона возникает пробел. Так, например, барсук, обычное для Севера животное, на Кольском п-ве не водится, нет там и лиственницы, встречающейся на Севере. Следовательно, уже при переводе идеографического словаря можно получить интересные результаты вследствие разницы в составе лексики функционирующего языка (русского) и языка-эталона (саамского): естественно предполагать, что в субстратной топонимии Севера должны быть отражены апеллятивы со значением «барсук» и «лиственница».

На табл. 1, 2, 5, 6 в графах 2, 3, 4, 5 последовательно даны переводы идеографического словаря компонентов топонимии на три диалекта кольских саами (кильдинский, йоканьгский и нотозерский) [15], а также на норвежско-саамский язык. Таким путем мы получаем сетки топонимических лексем, закономерно соотнесенные как друг с другом, так и с идеографическим словарем. В итоге на базе языка (диалекта) сравнения искусственно создается основа топонимической системы, возможно отраженной и на соседней территории.

III этап. При наложении полученной лексической сетки на субстратную топонимию, отражающую некую искомую систему, субстратная топонимия в своей массе сравнивается не с разнородным материалом, а с данными одного порядка, поэтому закономерное легко обнаружить.

---

[14] См.: А. К. Матвеев, Происхождение основных пластов субстратной топонимии русского Севера. ВЯ, 1969, 5, стр. 42—48.

[15] Саамские слова приведены по словарю Т. Итконена (T. I. Itkonen, Wörterbuch des Kolta- und Kolalappischen, I—II, LSFU, XV, 1958). Саамская транскрипция несколько упрощена. Пробелы в графах означают отсутствие данных.

Таблица 1

Гидрография

1 русск.	2 кильдин.	3 йоканьг.	4 нотозер.	5 норв.-саам.	6 примеры топонимов
берег	*riⁿ̄ᵈt*	*rᵢⁿ̄ᵈta*	*rɛDt*	*rid'do*	*Рында, Рындобала*[1]
болото	*jieŋ̄ᵍk*		*jⁱèGk'*	*jæg'ge*	*Янгозеро, Янголохта*[2]
вода	*t'ʑ̌āDts*	*t'ʑ̌āDtsɛ*	*t'ʑ̌ātts*	*čacce*	*Чача, Чачема*[3]
залив	*ʌūx̄t*	*ʌᵢ̄kt*	*ʌŭx̄t*	*luok'tâ*	*Лохта, Лохтомское; Лухта, Лухтозеро*[4]
ключ	*kaī̄v*		*kaī̄v*	*gai'vu*	*Кайба, Кайбовка*[5]
мель	*ńurr*			*njuorrâ*	*Нёра; Нюра, Нюрова*
мыс	*ńàr̄ᵍk*	*ńār̄ᵍk*	*ńārᵍk̄*	*njar'gâ*	
озеро	*jàū̯r*	*jàū̯rɛ*	*jaū̯r̄*	*jaw're*	*Явра, Явроя*
остров	*suəʌ*	*sᵢ̆ə̂ʌaᵢ*	*suvʌ*	*suolo*	*Соловецкие о-ва, Солбой*
перешеек	*mūtk*		*mŭəṭk'*	*muoᵢ̆'ke*	*Мотка, Мотковеро*
плес	*sàva*	*sᵃvvan*	*sāvă*	*sâvo*	*Сава, Савозеро; Шавой Шавозеро*[6]
порог	*kūšk*	*kᵢ̆šk*	*kŭš̆k*	*guoi'kâ*	*Кошканица, Кошкозеро Кушкозеро, Кушкопала*
приток	*sūrr*	*sᵢ̆rrɛ*	*suorr*	*suorre*	*Сорозеро, Соросора; Сура; Сурка*
пролив	*t'ʑ̌uəlm*	*t'ʑ̌ᵢ̆ə̂lmɛ*	*t'ʑ̌ŭv̆lm̄*	*čoal'bme*	*Чёлмозеро, Чёлмус*
пруд	*ʌaⁿ̄ᵈt*	*lāⁿ̄ᵈta*	*łaDt*	*laddo*	*Ланда, Ландручье*
река	*jðGk*	*joGk*	*jokk*	*jokkâ*	*Ёг, Ёга; Юг, Юга*
ручей	*ˇuəᵢj*	*ˇᵢ̆ə̂ᵢjɛ*	*vŭvᵢj*		*Воя, Войозеро*
устье	*ńāl̄m*	*ńāl̄mɛ*	*ńal̄m̄*	*njal'bme*	*Няльмозеро, Няльмик*

1. Об «озвончении» *nt* > *нд* и других подобных случаях см. табл. 3 и 4.
2. Вокализм основы *янг-* становится совершенно прозрачным, если учесть норв.-саам. *jæg'g* и форму диалекта Аккала *jāŋk*.
3. Саам. *tts* (*Dts*) регулярно передается русским *ч*.
4. О «чередовании» *о* ~ *у* см. далее.
5. Саам. *v* не в начальном положении часто передается русским *б*.
6. О *š* в соответствии с саам. *s* см. нашу статью «Происхождение основных пластов субстратной топонимии русского Севера» (ВЯ, 1959, 5, стр. 47).

Таблица 2

Птицы

1 русск.	2 кильдин.	3 йоканьг.	4 нотозер.	5 норв.-саам.	6 примеры топонимов
ворон	*kārnas*	*kārnâs*	*kārnvs*	*gārânâs*	*Карнаш, Карныш*
гага	*aū̯ᵈt*	*àū̯ᵈt̲*	*aū̯ᵈt̲*	*haw'da*	*Авда, Авдюга*
гагара	*tou̯ᶠt̀*		*tox̄tᵢ̆ᵃᵢ*[1]	*dovtâ*	*Тохта, Тохтозеро*
глухарь	*t'ʑ̌uxt'ʑ̌*		*čux̄č*	*čuk'ča*	*Чухча, Чухченема*
гусь	*t'ʑ̌uəń*	*t'ʑ̌ī̄ń*	*t'ʑ̌uvń*	*čuonja*	*Чёнаручей, Чёнозеро, Чуньякара*
журавель				*guor'gâ*	*Коргозеро, Коргручей; Кургозеро, Кургоручей*
кукушка	*kīGk*	*kīGk*	*k'iəkk*	*giekkâ*	*Кегозеро, Кегострова; Киглохта, Кигун*

Таблица 2 (продолжение)

1 русск.	2 кильдин.	3 йоканьг.	4 нотозер.	5 норв.-саам.	6 примеры топонимов
лебедь	*ńuīt'š̄*	*ńukt'š̄*	*ńuīt'š̄*	*prik'čâ*	*Нюхчозеро, Нюхчручей*
орел	*kuət'škem*	*kiə̯t'škem*	*kŭŭt'šk'em*	*goas'kem*	*Кочкома, Кочкомозеро, Кучковручей, Кучкова*
птица	*lon̄dt*	*лоn̄dtε*	*лo̯Dt*	*lod'de*	*Лондушка, Лондуга, Лундозеро, Лундручей*
тетерев					
утка	*t'š̄uə̄š*		*t'š̄ŭŭr̄š*	*šuoršso*	*Чуржа: Шоршена, Шоршма*[2]

[1] Ср. фин. *tohtaja* «гагара».
[2] В топониме *Чуржа ж* из *ш* (*š*), в названиях с основой *шорш* — первое *ш* из *ч* (*t'š̄*) по ассимиляции в русском языке или языке-источнике.

Таблица 3

Сохранение носовых в консонантных группах субстратных топонимов

1 русск.	2 кильдин. им. п.	2 кильдин. род. п.	3 йоканьг. им. п.	3 йоканьг. род. п.	4 нотозер.	5 норв.-саам.	6 примеры топонимов
жилье[1]	*kīn̄dt*	*kīnD̄*	*kīn̄dt*	*kīnD̄a*	*k'ĭə̯Dt*	*gied'de*	*Киндога, Киндозеро*
волость	*-ko₁nt*[2]		*-kon̄dtε*	*-konD̄ε*		*-god'de*	*Печконда, Сороконда*
олень (дикий)	*kon̄dt*	*konD̄*	*kon̄dtε*	*konD̄ε*	*ko̯Dt*	*god'de*	*Кондица, Кондозеро*
хороший	*kun̄dt*	*kunD̄*			*ko̯Dt*	*gud'dâ*	*Кундыбой, Кундыш*
пруд	*лàn̄dt*	*лànD̄*	*łān̄dta*	*łānDa*	*łaDt*	*lad'do*	*Ланда, Ландручье*
птица	*lon̄dt*	*lonD̄*	*лon̄dtε*	*лonD̄ε*	*лo̯Dt*	*lod'de*	*Лондушка, Лондуга*
берег	*ri̯n̄dt*	*ri̯nD̄*	*rindta*	*ri̯nD̄a*	*rεDt*	*rid'do*	*Рында, Рындобала*
талый	*sun̄dt*		*sun̄dtε*		*suDt*	*sud'dât*[3]	*Шундова, Шундозеро*
мясо	*ˇuən̄d't'š̄*	*uənD'Ž*	*iə̯n̄d't'š̄ε*	*ˇi̯ə̯nD'Ž̇ε*	*vŭŭD't'š̄*	*oaž̄'ž̄e*	*Вонжуга*
болото	*jieŋ̄gk*	*jieŋG*		*jⁱeG'k'*	*jæg'ge*		*Янговеро, Янголохта*
ветер	*pīŋ̄gk*	*pīn̄G*	*piŋ̄gk*	*piŋḠa*	*pĭĕGk*	*bieg'gâ*	*Пиньга, Пиньгова*
палка	*suəm̄bp*	*suəmB*	*sti̯ə̯m̄bpε*	*stə̯mBε*	*sŭăB'p*	*soab'be*	*Шомбамина, Шомбозеро*

[1] Ср. русск. (Кольский п-ов) *кинтище* «место, где было жилище».
[2] Собственно «местность» (ср. фин. *kunta* «волость, община»).
[3] «Таять».

Таблица 4

Отражение слабой ступени чередования в субстратной топонимии

1 русск.	2 кильдин. им. п.	2 кильдин. род. п.	3 основа, восстановленная по род. п.	4 примеры топонимов
ель	*kūss*	*kūz*	*куз-*	*Кузебой, Кузега, Кузозеро*
сёмга	*лūss*	*лūz*	*луз-*	*Луза, Лузега, Лузерка*
гнездо	*piess*	*piez*	*пез-*	*Пеза, Пезема, Пезый*

Таблица 4 (продолжение)

1 русск.	2 кильдин. им. п.	2 кильдин. род. п.	3 основа, восстановленная по род. п.	4 примеры топонимов
лето	*kiess*	*kiez*	*кез-*	*Кезомина*[1]
трава	*rāss*	*rāz*	*раз-*	*Разбуй, Разгуба, Разнаволок*
кошка	*kāss*	*kāz*	*каз-*	*Казьбово, Казострав*[2], *Казова*
тетка	*sīss*	*sīz*	*сиз-*	*Сизручей, Сизимка*
осина	*suBp*	*suβ*	*шуб-*	*Шубоя, Шубозеро, Шубова*
яма	*koBp*	*koβ*	*коб-*	*Кобаш, Кобожа, Кобручей*
сиг	*šāBp*	*šaβ*	*шаб-*	*Шабой, Шабозеро, Шабица*
река	*jòGk*	*jòγ*	*ёг-*	*Ёг, Ёга*
кукушка	*kīGk*	*kīγ*	*киг-*	*Киглохта, Кигун*
свинья	*šaGk*	*šaγ*	*шаг-*	*Шага, Шагозеро, Шагомох*
тростник	*ruəGk*	*ruəγ*	*рог-*	*Роговеро, Рогобой*
береза	*suəGk*	*suəγ*	*шог-*	*Шога, Шоговара*
роща	*ròDt*	*ròδ*	*род-*	*Родбой, Роднема, Родома*
шалаш	*kuəDt*	*kuəδ*	*код-*	*Кодбой, Кодова, Кодозеро*

[1] Ср. русск. *Летний Наволок.*
[2] Ср. русск. остров *Кошачий*, болото *Кошачье.*

Таблица 5

Населенный пункт и постройки

1 русск.	2 кильдин.	3 йоканьг.	4 нотозер.	5 норв.-саам.	6 фин.	7 примеры топонимов
амбар	*aīt*	*aītɛ*	*aitt*	*ai'te*	*aitta*	*Айтая, Айтозеро*
баня	*sàūn*		*saūn*	*saw'dne*	*sauna*	*Савнобой, Савнозеро*
деревня	*sīīdt*	*sīīdt*	*seīdt*		*kylä*	*Шидбой, Шидозеро*
жилье (бывшее место жилья)	*kīndt*	*kīndt*	*k'ĭəDt*	*gied'de*	*kenttä*	*Киндога, Киндозеро*
забор	*àīdt*	*àīdtɛ*	*aīdī*	*ai'de*	*aita*	*Айдагора*
изба	*pɛ̄rt*	*pa̅rt*	*pɛ̄rtt*	*bârtâ*	*talo pirtti*	*Пертозеро, Пертручей*
крест	*rīst*	*rīst*	*rest*	*ris'tâ*	*risti*	*Рыстов, Рыстозеро*
ларь для продуктов	*pūrn*	*pùrn*	*pŭrn*	*buordna*	*purna*	*Пурной, Пурнручей*
могила	*kālm*	*kālmɛ*		*gal'bme*	*kalma*[1]	*Калмозеро, Калмручей*
мост	*mostə* (*вин. п.*)	*mīəst*	*most*		*silta*	*Мостерьма, Мостручей*
церковь		*kirgkīī*		*gir`ko*	*kirkko*	*Киргова, Киргода, Кергиш, Кергозеро*
шалаш	*kuəDt*	*kīəDtɛ*	*kŭvtt*	*goatte*	*kota*	*Кодобой, Кодозеро*

[1] «Смерть».

Таблица 6

Виды деревьев, кустарников и травянистых растений

1 русск.	2 кильдин.	3 йоканьг.	4 нотозер.	5 норв.-саам.	6 фин.	7 примеры топонимов
береза	*suəGk*		*suΘihk*	*soakke*	*koivu*	*Шога, Шоговара*
ель	*kūss*	*kīss*	*kuoss*	*guossâ*	*kuusi*	*Кузебой, Кузозеро*
ива	*puai*		*puajă*	*boaggjo*	*paju*	*Пойболото*

Таблица 6 (продолжение)

1 русск.	2 кильдин.	3 йоканьг.	4 нотозер.	5 норв.-саам.	6 фин.	7 примеры топонимов
липа					*lehmus*	
лиственница					*lehtikuusi*	
можжевельник	*kęskas*		*kę̄skas*	*gâskâs*	*kataja*	*Каскачручей, Каскесручей*
ольха	*liep̀*	*liepe*	*lĕăpp̀*		*leppä*	*Лепозеро, Лепручей*
осина	*suBp*		*sup̀p*	*suppe*	*haapa*	*Шубозеро, Шубоя*
сосна	*pieDts*	*pieDtse*	*pietts*	*bæcce*	*petäjä*	*Печгора, Печконда*
черемуха			*tuomm*	*duobmâ*	*tuomi*	*Томбой, Томболото*
брусника	*joŋŋ*	*joŋŋ*	*joŋŋ*	*jogŋâ*	*puola*	*Ёнгас, Енгозеро*
морошка	*лūm*	*лı̄mēn*	*лиəmĕ*	*luome*	*muurain*	*Лум, Лумпахта*
осока	*ōлgk*			*oal'gâ*	*sara*	*Волгозеро, Волгуча*
тростник	*ruəGk*		*rŭvkk*		*ruoko*	*Рогобой, Рогозеро*
ягель	*jēγel*	*jiegel*	*jē^i el*	*jx̄gel*	*jäkälä*	*Яглобой, Яглозеро*
ягода	*mūr̄j*	*mı̄r̄jɛ*	*mŭər̄j*	*muor'je*	*marja*	*Муръболото*

Если язык субстратной топонимии генетически близок к языку-эталону, таким путем можно установить и шкалу фонетических соответствий.

В таблицах тематических групп последовательно приводятся русские апеллятивы (графа 1), данные языка-эталона (графы 2, 3, 4, 5) и примеры фактически засвидетельствованных субстратных топонимов, содержащих моделируемые основы (графа 6). Так как настоящая статья посвящена исключительно методической стороне вопроса и полное описание саамских диалектов Заволочья потребует особой весьма значительной по объему работы, здесь приводятся только примеры таких сводных таблиц (см. табл. 1, 2, 5, 6). Из таблиц исключена и рубрика восстанавливаемых основ. Однако ее легко можно воспроизвести. Так, для семемы «берег» (см. табл .1) восстанавливаются основы *рынт-, рет-, рид-* при фактически представленной в топонимии основе *рынд-*. Для семемы «вода» восстанавливается во всех случаях основа *чац-* при фактически отраженной *чач-* и т. д.

Таким образом, в процессе исследования восстанавливается русская передача основ и дается ответ на вопрос, как выглядели бы основы, усвоенные из языка (диалекта)-эталона в русском языке. По этим восстановленным лексическим элементам и отыскиваются фактические основы субстратных топонимов.

Моделируя сетку компонентов и накладывая ее на топонимический континуум, мы должны получить регулярные фонетические соответствия, если находимся на верном пути. Этимологический анализ по сеткам перечисленных выше тематических групп (примеры на табл. 1, 2, 5, 6) показал, что в топонимии Севера очень полно отражен языковой материал, близкий, но не во всем идентичный говорам кольских саами. Был установлен и ряд фонетических соответствий, что позволило произвести коррекцию некоторых ранее предложенных этимологий. Ограничимся двумя иллюстрациями.

1. Уже давно установлено, что консонантные группы «назальный + + гоморганный согласный» сохраняются в кильдинском и йоканьгском диалектах (а также и в диалекте Аккала); в остальных же диалектах саамского языка, включая нотозерский, в этих группах носовые были ассимилированы [16]. По этой черте вымершие саамские диалекты Севера объеди-

[16] K. B. Wiklund, Entwurf einer urlappischen Lautlehre, I, MSFOu, X, 1, 1896, стр. 74—75.

няются с большинством саамских диалектов Кольского п-ова, что можно объяснять как архаичностью саамских диалектов Севера, так и ареальной общностью с теми кольскими диалектами, которые сохранили носовые в этих сочетаниях. На табл. 3 представлен соответствующий материал (по кильдинскому и йоканьгскому диалектам, кроме именительного падежа, приведен и родительный единственного).

2. Из этой же таблицы видна регулярная передача в топонимах русскими звонкими второго компонента саамских консонантных групп. Поскольку в сильной ступени (им. падеж) представлены глухие (^{d}t, ^{g}k и т. п.), а в слабой (род. падеж) — медиальные ($\bar{D}$, $\bar{G}$ и т. п.), естественно возникает предположение, что русские топонимы фонетически ближе к форме слабой ступени. Восприятие русскими финно-угорских медиальных как звонких — факт хорошо известный. Не случайно мансийские названия гор *Мань-пупыг-нёр* и *Хум-вуйпи-ахвтас* передаются на некоторых картах как *Мань-пубыг-нёр* и *Хум-вуйби-ахвтас*. Остается проверить, как отражены в субстратной топонимии саамского происхождения формы с сильной и слабой ступенью, т. е. чередование ступеней согласных, в других более показательных случаях, например, при чередовании глухих и звонких согласных.

Поиск в данном случае также производился путем моделирования. Воспроизводилась система чередования ступеней согласных по кильдинскому диалекту, которая затем была наложена на уже этимологизированные тематические группы. Естественно, из смоделированной сетки были выведены все те чередования, которые в субстратной топонимии невозможно обнаружить из-за русской адаптации (типа *лл*~*л*), т. е. прежде всего количественные чередования. Поэтому в сетке остались только качественные чередования типа *ss*~*z*, *pp*(*Bp*)~β и т. п. В результате сравнения оказалось, что субстратные топонимы систематически передавали форму слабой ступени (см. табл. 4).

Эта закономерность может истолковываться по-разному, во всяком случае интерпретация ее сложна и требует всестороннего осмысления, но для нас существенна сейчас не сама интерпретация, а показ возможностей разработанной методики.

Наивно думать, что предложенная методика позволит с легкостью и в полном объеме установить систему фонетических соответствий между языком субстрата и языком-эталоном. Топонимический материал сам по себе очень ограниченно представляет язык, поэтому некоторые закономерности отражаются в нем весьма фрагментарно. Сложные процессы адаптации и нивелировки на русской почве со своей стороны затрудняют выявление закономерного в языке субстратной топонимии. Кроме того, и в языке-эталоне некоторые процессы могут быть очень непоследовательными. Наконец, следует считаться с диалектной дробностью в языке субстрата, т. е. с наличием определенных фонетических изоглосс.

Действительно, в некоторых случаях установить фонетические закономерности пока не удалось. Так, в соответствии с норвежско-саамским *o* в языке субстратной топонимии находим то *o*, то *y*, ср. норв.-саам. *jokkâ* «река» и *Ёг*, *Ёга* ~ *Юг*, *Юга*; *lod'de* «птица» и *Лондушка*, *Лондуга* ~ *Лундозеро*, *Лундручей*. Очевидно, что наличный материал пока недостаточен для решения вопроса или учтены не все классификационные и ареальные факторы. Тем не менее и в таких запутанных случаях выявлено значительное количество согласованных между собой фактов, что приближает решение вопроса.

Особый интерес представляет собой интерпретация пробелов, возникающих как в языке-эталоне, так и в языке субстратной топонимии. Дело в том, что зная ряд членов системы, можно вести поиск запрогнозирован-

ного, но почему-то отсутствующего члена. Поэтому-то наличие пробела не менее важно, чем прямая корреляция. Необходимо остановиться на двух разновидностях пробела.

В одном случае данным идеографического словаря нет аналогов в языке-эталоне. Так, весьма популярным в русской топонимии семемам «барсук» и «тетерев» в саамских говорах Кольского п-ова нет эквивалентов, поскольку там отсутствуют соответствующие реалии. Между тем, в языке субстратной топонимии аналоги в этом случае должны быть вследствие общности территории и важности самих реалий. Можно попытаться связать с саамской топонимией такие основы, которые обычно считаются прибалтийско-финскими. Так, вполне допустимо, что часть названий с основами *Мегр-*, *Мягр-* восходит к саамской субстратной топонимии Севера (*Мегриш*, *Мягрома*), хотя соответствующий апеллятив засвидетельствован только в прибалтийско-финских языках (карел. *mägrä* «барсук»).

Другая ситуация возникает, когда прогнозируемая основа отсутствует в языке субстрата (см. «мыс» в табл. 1). Такой пробел, пожалуй, еще интереснее. В этом случае параллели в топонимии также следует искать, опираясь на данные других родственных языков. Нам уже приходилось писать о том, что формант *-нем*, *-нема*, возможно, отражает соответствующую лексему саамских наречий Заволочья [17]. Не менее показательна интерпретация пробела, создаваемого отсутствием на Севере саамской основы с топонимически чрезвычайно важным значением «камень» (в русской топонимии — сотни фиксаций). В саамских диалектах Кольского п-ва «камень» *k'ieD̄ᵍk̄'* (Нотозеро), *kieD̄ᵍk* (Кильдин), *kieD̄ᵍke* (Йоканьга) при норв.-саам. *gæd'ke*. Однако эта основа на Севере не отражена.

Наличие пробела позволяет обратить внимание на высокочастотную основу *кив-*, *кев-* «камень», сопоставляемую с самыми разными финно-угорскими данными, начиная от прибалтийско-финских (фин. *kivi* «камень») и кончая мордовскими, марийскими, пермскими и угорскими. Дифференцирующего значения эта основа не имеет, но на фоне других высокочастотных чисто саамских основ топонимы с основой *кив-*, *кев-* также могут рассматриваться как саамские именно в связи с охарактеризованным выше пробелом: таковы *Кив*, *Кивер*, *Кивмыс*, *Кивозеро*, *Кивой*, *Кивокурья*, *Кивомох*, *Кивручей*, *Кивуй*, *Кевбово* и т. п. Разумеется, среди этих топонимов могут оказаться и прибалтийско-финские, но это совсем другая сторона дела, о которой еще пойдет речь.

Однако может встретиться и ложный пробел, возникающий в тех случаях, когда основа по тем или иным причинам (чаще всего вследствие фонетических изменений) оказалась неопознанной. Поэтому при наличии пробела очень важно учесть все основы, фонетически близкие к запрогнозированной. Поясним это на примере с семемой «лиса».

Саамское слово *rïĕm̄ń* (Нотозеро), *rīm̄ń* (Кильдин, Йоканьга) «лиса» специфично и четко дифференцирует саамский материал, однако запрогнозированные основы *римнь-*, *ремнь-* на Севере не отмечены. Создается впечатление, что мы имеем дело с пробелом, однако тщательное изучение фактов наводит на мысль, что пробел этот — ложный и что произошла переработка крайне неудобной для произношения консонантной группы *-мнь-*. Действительно, в субстратной топонимии Севера находим такие названия, как *Ремлюга*, *Римрека* (*Ремрека*). *Римка*, которые можно возвести соответственно к **Ремнюга*, **Римньрека* и **Римнька* с тем большим правом, что основы *ремл-*, *рим-*, *рем-* не находят приемлемой интерпретации на саамской и прибалтийско-финской почве.

[17] См.: А. К. Матвеев, Происхождение основных пластов субстратной топонимии русского Севера, стр. 47.

Предлагаемая методика может использоваться не только при проверке результатов предварительной «лобовой» этимологизации основ. Зная, что в качестве детерминативов обыкновенно выступают географические термины, можно сравнить уже выявленные и идентифицированные основы с формантами или прямо наложить соответствующие сетки тематических групп языка-эталона на весь континуум формантов. При этом могут быть получены весьма любопытные результаты. Так, оказалось, что неизвестны случаи фиксации в качестве детерминативов весьма обычной саамской по происхождению основы *рында* «берег» (см. табл. 1) при широко распространенных *-ранда* и *-ронда*, сопоставляемых с прибалтийско-финскими данными (карел. *randa* «берег»). Возможно, что в тех случаях, когда основа топонима толкуется из саамского языка, это свидетельство прибалтийско-финской адаптации более древнего саамского названия (ср. *Кукранда* и саам. кильдин. *kuk*, норв.-саам. *guk'ke* «длинный»).

Этот же прием моделирования может быть использован и для решения более сложных комплексных задач, например, при сопоставлении субстратной топонимии с рядом языков. В частности, сравнение саамского материала с прибалтийско-финским, произведенное по описанной методике, показало, что есть тематические группы, в пределах которых прибалтийско-финские и саамские элементы за редкими исключениями практически невозможно дифференцировать (см. табл. 5).

В тематической группе «Населенный пункт и постройки» (табл. 5) прибалтийско-финские и саамские данные почти полностью совпадают, что объясняется, видимо, заимствованием большинства соответствующих терминов саамами из прибалтийско-финских языков, и это в значительной степени лишает географические названия дифференцирующей способности.

Однако есть другие наиболее важные тематические группы, где дифференциация достаточно четка (см. табл. 1, 2 и особенно 6).

Эту же процедуру можно использовать и для проверки той или иной гипотезы, привлекая отдаленно родственные и даже вообще неродственные языки: сохраняя в своей основе систему семем, можно перевести ее на любой язык-эталон и наложить на топонимию исследуемой территории. Если источник для сопоставления выбран ошибочно, то будет получен отрицательный ответ: отсутствие сколько-нибудь регулярной фиксации моделируемых основ в топонимах и, естественно, фонетических последовательностей.

Покажем это на материале субстратной мансийской топонимии Северного Зауралья (бассейн Тавды), используя в качестве языка-эталона кильдинский диалект саамского языка. В данном случае мансийское происхожение субстрата бесспорно, поскольку еще несколько десятилетий тому назад Б. Мункачи и А. Каннисто записали здесь обширные материалы по ныне вымершим западным (средне- и нижнелозьвинскому, северно- и южновагильскому, пелымскому) и южному (тавдинскому) диалектам мансийского языка. Этимологический анализ субстратной топонимии Северного Зауралья проведен недавно Г. В. Глинских, который убедительно показал ее мансийское происхождение [18]. Для нас это существенно: поскольку речь идет о том, чтобы найти новые критерии достоверных топонимических этимологий и показать возможности метода, целесообразнее обратиться к надежным фактам.

С другой стороны, между территорией Северного Зауралья и Севером много общего в физико-географических условиях: в обоих случаях это таежно-лесная низменность с многочисленными реками, озерами и боло-

[18] Г. В. Глинских. Русская топонимия мансийского происхождения в бассейне реки Тавды. КД, Свердловск, 1972. В табл. 7 частично использованы материалы этой работы.

Таблица 7

Сопоставление языка-эталона (саам. кильдин.) с западномансийской субстратной топонимией Северного Зауралья («Гидрография»)

Русск.	Саам. кильдин.	Примеры топонимов (Север)	Примеры топонимов (Урал)		Манс.		Примеры мансийских топонимов	
			основа	формант	зап.	сев.	основа	формант
берег	*rʲn̄dʲ*	*Рында*	*Рынта*		*wē̆t*	*wāta*	*Ваття* «Береговая река»	*Росвета* «Песчаный берег»
болото	*jie̅ŋᵍk*	*Янгозеро*	*Янга*	*Тепьянка*	[янга][1]	*jāŋkəlma*	*Янга* «Болото»	*Тепьянка* «Ягельное болото»
вода	*t'ʑ̌āDts*	*Чача*			*üt', wüt'*	*wit*	*Утья* «Водяная река»	*Шемельвыть* «Черная вода»
залив	*ʌūxt*	*Лухта*			[*урай*][1]	*ūraj*	*Урай* «Залив»	*Лёнгурай* «Дорожный залив»
ключ	*kaī̆v*	*Кайба*			[*пава*][1]	?	*Павья*[2] «Ключевая река»	*Лонзонпава* «Пескариный ключ»
мыс	*ńàr̄ᵍk*				*ńal*	*ńol*	*Нёлынья* «Мысовая река»	*Ворнёл* «Лесной мыс»
озеро	*jàw̄r*	*Явра*			*tūr, tor*	*tūr*	*Турья* «Озерная река»	*Ампатур* «Собачье озеро»
остров	*suəl*	*Солбой*			*tump*	*tump*	*Тумповор* «Островной лес»	*Вортумп* (сев.) «Лесной остров»
перешеек	*mūt̆k*	*Мотка*[3]			?	*sori*	*Сор*[4] «Перешеек»	*Туркол* (сев.) «Дом у озера»
плес	*sàva*	*Сава*	*Сава*	*Перкомсава*	*wuol'*	*wōl'*	*Волья* «Плесовая река»	*Кошаволь* «Длинный плес»
порог	*kūšk*	*Кушковеро*			* *kē̆ŋl*[5]	*xaŋla*	*Кэнгал*[5] «Перекат»	*Сякарингхангла* (сев.) «Кривой перекат»
приток	*sūrr*	*Сура*	*Сура*		*tow, taγ*[6]	*tow*[6]	*Това* «Приток (ветвь)»	*Тосамтов* (сев.) «Сухой приток»
пролив	*t'ʑ̌uəl̄m*	*Чёлмозеро*			*ē̆kt*[7]	*āxt*[7]	*Ахталька* «Верховье протоки»	*Портах* «Досочная протока»
река	*jɔ̀Gk*	*Ёг*			*je, jā̄*	*jā*		*Шошинье* «Ручьевая река» *Шорупья* «Лосиная река»
ручей	*vuəʲj*	*Воя*			*šoš*	*sōs*	*Шошинье* «Ручьевая река»	*Кынгляшош* «Перекатный ручей»
устье	*ńāl̄m*	*Няльмозеро*			*sūnt*	*sūnt*		*Колсунт* «Устье с домом»

[1] В русских говорах по Тавде *я́нга* — «болото», *ура́й* — «речной залив; старица», *па́ва* —«родник, ключ»; ср. еще манс. *jaŋk* «болотистая местность» (материалы А. Алквиста)

[2] Ср. *Пагъя* в современной мансийской топонимии.

[3] Ср саам. нотозер *muə̆tk'* (см. табл. 1).

[4] Сухое место между болотами (название урочища).

[5] Форма **kē̆ŋl*, извлеченная из субстратных топонимов *Кэнгал* (название переката) и *Кынгляшош*, закономерно соответствует манс. сев. *xaŋla*.

[6] Первичное значение (как и в саамском языке) — «ветвь».

[7] «Протока».

тами. Поэтому для сравнения избрана тематическая группа «Гидрография», в своей основе безусловно единая для Северного Зауралья и Севера.

В табл. 7, кроме данных языка-эталона и примеров из субстратной топонимии Севера, даны соответствия в субстратной топонимии Зауралья (если они имеются), мансийские апеллятивы, а также примеры из западномансийской по происхождению субстратной топонимии Зауралья.

Для большей доказательности сопоставление производится не только по основам, но и по формантам. Поскольку западномансийские данные есть не всегда, в ряде случаев в квадратных скобках приводятся русские апеллятивы, заимствованные из западных диалектов мансийского языка. Кроме того, в особой графе указываются северномансийские данные. В некоторых случаях приводятся и северномансийские топонимы (если нет соответствующих западномансийских субстратных названий). Семемы «мель» и «пруд» изъяты из таблицы, так как в мансийском языке употребляются сочетания: ср. манс. сев. *тосам ма* «мель» (дословно «сухое место») и *мань турвонгха* «пруд» (дословно «маленькая лужа») [19].

Табл. 7 наглядно показывает, что язык-эталон выбран ошибочно, поскольку в подавляющем большинстве случаев высокочастотные по употребительности в топонимии саамские апеллятивы в субстрате не засвидетельствованы. Более того, легко доказать, что разница между языком-эталоном и языком субстрата еще более значительна: единственное точное соответствие (см. «болото») объясняется сохранением общей финно-угорской основы в саамском и мансийском языках, а «звуковое» соответствие (см. «плес») сразу же отпадает, оказавшись случайным, так как мансийское *saw* «лесной остров на болоте; роща» не гидрографический, а ландшафтный термин. Действительно, многочисленные наименования типа *Еловая Сава*, *Кедровая Сава*, *Перкомсава*, *Полубсава* обозначают совсем не плесы, а участки леса среди болота. Поэтому фактически только две основы (гидронимы *Рынта* и *Сура*) могут указывать на наличие саамского субстрата в Зауралье, что для данной тематической группы ничтожно мало и по существу должно рассматриваться как случайное совпадение. Крайне интересно, тем не менее, что эти гидронимы не интерпретируются сколько-нибудь убедительно на мансийской почве. Поэтому сопоставление дает еще один неожиданный косвенный результат: свидетельствуя категорически против саамского происхождения верхнего пласта субстрата, оно открывает некоторые, правда, пока не очень ясные перспективы для поиска в этих местах саамского субсубстрата [20].

В заключение несколько слов о другой задаче, представляющей уже следующий этап исследования — возможности моделирования самих топонимов, а не только компонентов топонимической системы. Если установлена типичная структура топонимов, например, «имя + +имя-географический термин» (как это характерно для саамского и мансийского языков), то не столь сложно из компонентов языка-эталона конструировать цельные топонимические единицы и затем пытаться отыскать их в субстратном континууме. В этом отношении также уже накоплен определенный опыт. В частности, по модели карельского названия *Mustajogi* «Черная река» (компоненты *musta* + *jogi*) был сконструирован гидроним **Мустюга*, **Мустёга*, зафиксированный впоследствии Севернорусской топонимической экспедицией Уральского университета в форме *Мустюга* (приток Уфтюги в бассейне Сев. Двины).

[19] Видимо, это новообразования (см.: Е. И. Ромбандеева, Русско-мансийский словарь, Л., 1954, стр. 129 и 151).

[20] Примечательно, что эту возможность допускал А. И. Попов (см.: А. И. Попов, Основные задачи исследования финно-угорской и самодийской топонимики СССР, сб. «Вопросы финно-угорского языкознания. Грамматика и лексикология», М.— Л., 1964, стр. 206).

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1976

Я. И. РОСЛОВЕЦ

О ВТОРОСТЕПЕННЫХ ЧЛЕНАХ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ИХ СИНТАКСИЧЕСКИХ ФУНКЦИЯХ

Традиционное учение о второстепенных членах предложения, противопоставляемое учению о главных членах предложения и рассматриваемое обычно в связи с анализом структуры и семантики так называемых распространенных простых предложений, в настоящее время, на наш взгляд, переживает своеобразный и противоречивый кризис. С одной стороны, наблюдаются попытки отказа от учения о второстепенных членах предложения при сохранении понятия и термина «главные члены предложения», с другой стороны, неоднократно подчеркивается необходимость пересмотра учения о второстепенных членах предложения как не удовлетворяющего требованиям собственно грамматического подхода к анализу структуры и семантики простого предложения, но не предлагаются и не обосновываются пути такого пересмотра.

Первая позиция явно обнаруживается в «Грамматике современного русского литературного языка» [1], где нет описания второстепенных членов предложения, но используется понятие «главные члены предложения», определяемые как «компоненты» («категории») «структурной схемы» предложения — «определенным образом организованные словоформы», являющиеся «ее строевыми, конституирующими элементами» («Гр. 70», стр. 546). Поскольку в структурную схему предложения вкладывается понятие «минимального построения, предназначенного для того, чтобы, будучи наполненным конкретным лексическим материалом, стать сообщением о какой-то действительности» (там же, стр. 541) [или структурная схема предложения — это «отвлеченный образец, по которому может быть построено минимальное самостоятельное и независимое сообщение» (там же, стр. 546)], в «компонентах» структурной схемы предложения естественно усматривать главные члены предложения (которые здесь так и называются) [2], образующие нераспространенные структуры («нераспространенные предложения»), противопоставляемые второстепенным членам предложения, за счет которых образуются распространенные структуры («распространенные предложения»).

Из соблюдения принципа логической последовательности в применении научных терминов и понятий («главные члены предложения» — «второстепенные члены предложения») возникла необходимость представить в «Гр. 70» и учение о второстепенных членах предложения: дать их описание (как и описание «структурных схем») и определить их роль в построе-

---

[1] См. «Грамматику современного русского литературного языка», М., 1970 (далее в тексте — «Гр. 70»).

[2] «Модели построения предложений,— отмечал В. В. Виноградов,— не есть модели соединения с л о в; это — модели соединения ф о р м, выступающих как носители частных и общих грамматических значений» (ст. «О преодолении последствий культа личности в советском языкознании», ИАН ОЛЯ, 1963, 4, стр. 284).

нии предложения в сравнении с «главными членами предложения»—«компонентами структурных схем». Но в «Гр. 70» говорится, что «словоформы, по-разному распространяющие схему (т. е. структурную схему предложения.— *Я. Р.*), не относятся к ее строению и поэтому не противопоставляются главным членам как „второстепенные“» (там же, стр. 546), а описание второстепенных членов предложения здесь заменено описанием подчинительных связей слов, возникающих в словосочетании, и «детерминантов» («детерминирующих членов предложения») (там же, § 1138—1275, 1422—1438).

Верно, что словоформы не относятся к строению структурной схемы предложения. Но из этого не следует, что такие словоформы не могут и не должны противопоставляться «компонентам структурной схемы предложения»—«главным членам предложения», как «второстепенные члены предложения». Разумеется, дело здесь не в терминах, а в характере тех отношений, которые устанавливаются между членами предложения, образующими его «структурную схему» [по-нашему — структурно-грамматическую (предикативную) основу], и членами предложения, распространяющими эту схему (основу) в порядке «словосочетательных» (связей зависимых членов подчинительных непредикативных словосочетаний) и «предложенческих» связей (связей форм слов как самостоятельных членов предложения). Нельзя не признавать их неодинаковой роли в построении предложения (в формировании его формально-грамматической и содержательной стороны), а вместе с тем иерархического и зависимого (взаимообусловленного) характера этих отношений. Если главные члены предложения образуют структурно-грамматическую основу предложения и составляют его структурный и семантический минимум — достаточную для самостоятельного и независимого функционирования структуру коммуникативного назначения,— то второстепенные члены предложения не выполняют независимой от структурно-грамматической основы синтаксической функции, возникают именно в результате ее распространения в порядке «словосочетательных» и «предложенческих» связей и функций слов (форм слов), причем формы и способы такого распространения будут определяться строением и формой структурно-грамматической основы предложения.

Критика учения о второстепенных членах предложения, как не удовлетворяющего требованиям собственно грамматического подхода к анализу структуры и семантики предложения, имеет длительную историю. Она связана с осознанием невозможности и неправомерности отождествления логических и синтаксических категорий, суждения и предложения, членов предложения и членов логического суждения (или двучленной «психологической коммуникации»). И хотя разряды второстепенных членов предложения (определения, дополнения, обстоятельства) — это не логические, а логико-грамматические категории, хорошо известно, что учение о второстепенных членах предложения возникло на логической (логико-психологической) основе, а второстепенные члены предложения выделялись из состава подлежащего и сказуемого, отождествляемых с составами (членами) логического суждения (двучленной «психологической коммуникации»). Естественно, в категориях второстепенных членов предложения недифференцированно объединялись и обобщались очень разнообразные синтаксические связи и отношения между словами (формами слов) и тем самым не вскрывались их собственно грамматические (конструктивно-синтаксические и коммуникативно-синтаксические) функции. Выдвижение же предикативности и интонации в качестве основных грамматических признаков предложения, конституирующих его как коммуникативную единицу языка, вызывало необходимость пересмотра на этой

основе (т. е. на основе отношения к категории предикативности) и учения о второстепенных членах предложения.

Об этом четко сказано в «Введении» к «Грамматике русского языка»: «...выделение трех второстепенных членов предложения и распределение по их рубрикам всего многообразия живых синтаксических связей слов в составе предложения связаны с искусственной схематизацией структуры предложения и далеко не всегда основано на грамматических принципах. Таким образом, традиционное учение о второстепенных членах предложения нуждается в коренном пересмотре. Этот пересмотр требует углубленного изучения всех видов синтаксических связей между словами как в формах словосочетаний, так и в структуре предложений» [3].

К сожалению, теоретические положения, сформулированные в «Введении», остались нереализованными в описательной части «Гр. 1952—54». Оказались невыясненными и неразрешенными сложные и представляющие первостепенный интерес в этой концепции синтаксиса проблемы взаимодействия и взаимосвязи словосочетания и предложения, т. е. роли «словосочетательных» и «предложенческих» связей и функций слов в построении предложения, в формировании его структурно-грамматической (формально-грамматической) и содержательной стороны (формы и значения). Более того, в том же «Введении» говорится, что «во второстепенных членах предложения как бы синтезируются, обобщаются по функции те же разнообразные грамматические отношения, которые обнаруживаются между словами в строе словосочетаний» (стр. 94). Но это не согласуется со сформулированными в нем задачами «коренного пересмотра» учения о второстепенных членах предложения и «углубленного изучения всех видов синтаксических связей между словами как в формах словосочетаний, так и в структуре предложений» (разрядка наша.— *Я. Р.*) (там же, стр. 97). Несомненно, что синтаксические связи и отношения слов в структуре предложения гораздо сложнее, многочисленнее и разнообразнее, чем в словосочетании. Они выступают как связи «словосочетательные» (непредикативные) между словом (главным членом словосочетания) и формой слова (зависимым членом словосочетания) и как связи «предложенческие» (предикативные) между формами слов и сочетаниями слов в определенных формах, выполняя функции членов (компонентов) предложения.

Это значит, что решение вопроса о второстепенных членах предложения и их синтаксических функциях неотделимо от общих взглядов на грамматическую сущность простых предложений и на роль различных синтаксических средств в их построении, а пересмотр учения о второстепенных членах предложения должен основываться на учете того нового, что было внесено в последнее время в понимание предложения как коммуникативной единицы языка и в принципы его изучения и описания.

В связи с этим следует прежде всего обратить внимание на то, что в концепции, согласно которой синтаксис (если иметь в виду его сущность, а не отдельные частные предложения и формулировки) определяется как учение о словосочетании и предложении, вовсе нет утверждения одинакового синтаксического статуса словосочетания и предложения, их противопоставления и независимого друг от друга существования. Наоборот, в этой концепции предложение признается единицей высшего порядка, причем словосочетание занимает подчиненное по отношению к нему положение, так что словосочетание (то же самое — распространение предложения в порядке «словосочетательных» связей) выступает как один

[3] «Грамматика русского языка», II — Синтаксис, ч. 1, М., 1954, стр. 96—97 (далее в тексте — «Гр. 1952—54»).

из способов структурной и семантической организации простого предложения, определяемый «словосочетательными» свойствами слов (прежде всего их принадлежностью к различным лексико-грамматическим разрядам — частям речи). Положение о возможности образования словосочетания и вне предложения (до предложения), о том, что предложение строится из слов и словосочетаний, что словосочетание (как и слово) является «строительным материалом» для предложения и «только в составе предложения и через предложение входит в систему коммуникативных средств языка» («Гр. 1952—54», стр. 10), означает лишь то, что в предложении обнаруживаются разные виды (типы) связей, зависимостей и грамматических отношений между словами (формами слов) и среди них как основные «словосочетательные» (непредикативные) и «предложенческие» (предикативные). Например, в предложении: «Они сидели как антиподы — Бахирев, напористый до опрометчивости, как считал Чубасов, и Чубасов, осторожный до трусости, по мнению Бахирева» (Николаева, Битва в пути) «словосочетательные» связи устанавливаются между словами (словом и формой слова) *напористый до опрометчивости* и *осторожный до трусости*, образующие адъективные словосочетания, и *мнение Бахирева*, образующее субстантивное словосочетание. Все остальные связи между словами и целыми сочетаниями слов в различных формах будут связями на уровне членов (компонентов) предложения.

Из этого следует что слова (формы слов) участвуют в построении предложений двояким образом: а) непосредственно, в качестве самостоятельных членов предложения («предложенческие» связи и функции форм слов); б) через словосочетание, в качестве несамостоятельных членов предложения — зависимых форм подчинительных непредикативных сочетаний («словосочетательные» связи и функции форм слов). При этом к самостоятельным членам предложения нужно отнести не только те из них, которые образуют структурно-грамматическую основу предложения («главные члены предложения»), но и те, которые распространяют эту основу (в целом или отдельный его член) в порядке «предложенческих» связей («детерминанты» [4]).

Нам кажется также, что осмысление проблем, связанных с определением статуса и синтаксических функций главных и второстепенных членов предложения, невозможно без ясного осознания того факта, что с определения синтаксиса как учения о словосочетании и предложении начинается с 50-х годов новый этап (новый подход) в изучении синтаксиса (прежде всего синтаксиса простого предложения), в котором были выдвинуты задачи изучения предложения, исходя из его собственно языковых признаков и функций. Вместе с тем этот этап следует считать продолжением и углублением материалистических традиций в отечественном языкознании, в основе которых лежит, во-первых, признание неразрывной связи языковых форм с их содержанием, невозможности выделения и характеристики этих последних без обращения к их содержательной стороне и языковым функциям [5]; во-вторых, требование тщательного изучения

---

[4] О детерминантах см. работы: Н. Ю. Шведова, Детерминирующий объект и детерминирующее обстоятельство как самостоятельные распространители предложения, ВЯ, 1964, 6; ее же, Активные процессы в современном русском синтаксисе, М., 1966; ее же, Существуют ли все-таки детерминанты как самостоятельные распространители предложения, ВЯ, 1968, 2; ее же, О синтаксических потенциях формы слова, ВЯ, 1971, 4; а также «Гр. 70». Учение о детерминантах должно быть уточнено и дифференцировано на функциональной основе, т. е. на основе определения отношения детерминантов к организации формально-грамматической и содержательной сторон предложения.

[5] «Существование всякой грамматической категории обусловливается тесной, неразрывной связью ее смысла и всех ее формальных признаков. Не видя смысла,

языковых фактов во всем многообразии их реальных речевых проявлений; в-третьих, осознание невозможности и неправомерности отождествления языковых категорий и форм с категориями и формами мысли.

Первое положение по своему существу означает, что формы языка (как и любые другие формы в их соотношении с содержанием) обладают относительной самостоятельностью и устойчивостью и поэтому могут быть отдельным объектом (точнее — только стороной) лингвистического изучения и описания [из чего вытекает значение и правомерность чисто структурных (формальных) методов изучения и описания языка и отдельных его единиц]. Но языковые формы (следовательно, и синтаксические структуры, предложения) могут быть правильно определены и поняты (и классифицированы) только при одновременном обращении к их содержательной и функциональной стороне.

Второе положение указывает на непрерывный и все углубляющийся процесс познания объективно существующих и исторически изменяющихся (несмотря на их устойчивость) языковых форм, исключающий представление, будто можно дать «полный», «окончательный», «непротиворечивый», «закрытый» список тех или иных языковых единиц (и особенно синтаксических структур коммуникативного назначения). Это не противоречит, наоборот, находится в соответствии с целями и задачами любой науки и любого конкретного (в данном случае — лингвистического) исследования: вскрыть объективные закономерности развития (исторический, или диахронический, план) и существования или функционирования (синхронический план) того или иного явления (изучаемого объекта) и дать его наиболее полное и глубокое описание.

На познание языка должно быть полностью распространено гносеологическое положение о том, что «человек не может охватить = отразить = = отобразить природы *всей*, полностью, ее „непосредственной цельности", он может лишь *вечно* приближаться к этому, создавая абстракции, понятия, законы, научную картину мира и т. д. и т. п.» [6]. И далее: «... если *в с е* развивается, то относится ли сие к самым общим *понятиям* и *категориям* мышления? Если нет, значит, мышление не связано с бытием. Если да, значит, есть диалектика понятий и диалектика познания, имеющая объективное значение» [7].

Что же касается осознания невозможности и неправомерности отождествления категорий и форм языка с категориями и формами мысли, то в истории разработки синтаксиса оно было связано прежде всего с критикой идей универсальной (логической) грамматики, с осознанием, как уже отмечалось, невозможности и неправомерности отождествления логических и синтаксических категорий, суждения и предложения, членов предложения и членов (структуры) логического суждения (или двучленной «психологической коммуникации»). Еще А. А. Потебня отмечал, что «грамматических категорий несравненно больше, чем логических», что «логические категории... народных различий не имеют» и поэтому «индивидуальные различия языков не могут быть понятны логической грамматике» [8], что язык формален («язык есть... форма мысли, но такая, которая ни в чем, кроме языка, не встречается» [9]), а «формальность языка есть

нельзя еще устанавливать формальных признаков, так как неизвестно, значат ли они что-либо, а следовательно, существуют ли они как таковые, и существует ли сама категория» (Л. В. Щ е р б а, О частях речи в русском языке, «Избр. работы по русскому языку», М., 1957, стр. 65).

[6] В. И. Л е н и н, Полн. собр. соч., 29, стр. 164.

[7] Там же, стр. 229.

[8] А. А. П о т е б н я. Из записок по русской грамматике, I—II, М., 1958, стр. 69.

[9] Там же, стр. 70.

существование в нем общих разрядов, по которым распределяется частное содержание языка, одновременно со своим появлением в мысли»[10].

Таким образом, если исходить из понимания предложения как основной коммуникативной единицы (структуры) языка [предложение является «главным средством формирования, выражения и сообщения мысли», «язык как орудие общения... пользуется предложением как основной формой общения» («Гр. 1952—54», I, ч. 2, стр. 65)], возникающей на основе категории предикативности и обладающей своими собственными структурно-грамматическими (формальными) и содержательными признаками (формой и значением), то следует признать, что основной проблемой (задачей) изучения предложения является определение его грамматической формы и выражаемого ею грамматического (категориального) значения, которое в пределах данной грамматической формы (или структурно-семантического типа) предложения может наполняться самым разнообразным, заранее непредусмотренным[11] конкретным содержанием[12]. При этом категорию предикативности и ее элементы (категории времени, лица и модальности, их значения и способы выражения; по-видимому, сюда же нужно отнести и категорию аспектуальности, на синтаксическом уровне связанную с предикацией, с выражением предикативных отношений) следует рассматривать не как функциональные признаки предложения, а как формы существования (функционирования) основного грамматического (категориального) и наполняемого разнообразным конкретным содержанием значения предложения, выражаемого его грамматической формой (структурно-семантическим типом), а разграничение в предложении «словосочетательных» и «предложенческих» функций и связей слов должно проводиться на функциональной основе, ибо средства выражения синтаксических связей и отношений в языке всегда ограничены, а виды (типы) синтаксических связей и отношений в структуре предложения гораздо сложнее, многочисленнее и разнообразнее, чем в структуре словосочетания.

Так, в предложении: «Люська шла в новом платье с оборочкой» (Панова, Валя) форма *в* (*новом*) *платье* (*с оборочкой*), несомненно, связана определительными (атрибутивными), но возникающими в предложении отношениями с существительным-подлежащим *Люська*, с другой стороны,— с глаголом-сказуемым *шла*, так что все предложение получает смысл: *Люська шла, будучи в новом платье с оборочкой.* Но ср.: *Девочка в новом платье с оборочкой шла на вокзал*, где форма *в* (*новом*) *платье* (*с оборочкой*) связана с существительным *девочка* чисто атрибутивными (словосочетательными) отношениями. Форма выступает здесь как средство дифференциации понятия «девочка», как средство выражения категории определенности и осуществления словом *девочка* номинативной функции.

В примере: *Они сидели как антиподы — Бахирев, напористый до опрометчивости, как считал Чубасов, и Чубасов, осторожный до трусости, по мнению Бахирева* структурно-грамматическую основу предложения составляет сложное по своему строению предикативное сочетание (предикативная синтагма) *они сидели как антиподы*, в котором *сидели как антиподы* выполняет, несомненно, функцию одного «предикативно-сказуемостного» члена (ср.: *Они были антиподами*). *Как* — модально-предика-

---

[10] Там же, стр. 61.

[11] См.: В. И. Кодухов, Мышление и языковые значения и функции, в кн.: «Язык и мышление», М., 1967.

[12] «Естественный язык (следовательно, и предложение.— *Я. Р.*) должен быть устроен так, чтобы на нем можно было бы „все сказать“» ибо «...говорящий в каждом акте речи заново обобщает и организует данные конкретного опыта...» (В. Г. Гак, К проблеме соотношения языка и действительности, ВЯ, 1972, 5, стр. 13, 12).

тивная частица союзного происхождения («союзная связка»), вносящая в выражение предикативных отношений сравнительно-уподобительный модальный оттенок. Формы им. падежа собственных имен существительных *Бахирев* и *Чубасов* связаны с местоимением-подлежащим *они* пояснительно-полупредикативными отношениями («приложения»). Словосочетания *напористый до опрометчивости* и *осторожный до трусости*, в которых предложно-падежные (адвербиальные) формы *до опрометчивости* и *до трусости* выполняют роль несамостоятельных членов предложения — зависимых форм адъективных словосочетаний, указывающих на меру (степень) проявления обозначаемого прилагательными качественного признака — связаны в предложении, с одной стороны, с именами существительными-приложениями *Бахирев* и *Чубасов*, выполняя по отношению к ним роль распространенных обособленных (полупредикативных) определений, а вместе с ними — роль распространенных обособленных приложений по отношению к местоимению-подлежащему *они*, с другой,— со структурно-грамматической основой предложения — предикативным сочетанием *они сидели как антиподы*, в частности с именным компонентом предикативно-сказуемостного члена *антиподы*, разъясняя (уточняя) его семантическую (коммуникативную) функцию (антиподы — *напористый до опрометчивости* и *осторожный до трусости*). Вводное предложение (*как*) *считал Чубасов* и вводное субстантивное словосочетание *по мнению Бахирева* (оно «вводится» в предложение в форме дат. падежа с предлогом *по*) выступают здесь в функции компонентов предложения (не членов предложения [13]), указывая на модально-оценочную квалификацию содержания отдельных частей предложения.

В высказывании: «—... А что твой Брусилов? Во-первых, бывший царский генерал — стало быть, подозрительная личность для меня, а во-вторых, интеллигент в очках» (Шолохов, Поднятая целина) значение предложно-падежной формы *для меня* может быть точно определено и понято на основе разграничения «словосочетательных» связей и функций слов в структуре предложения. Несомненно, она относится к структурной основе предложения в целом, является «детерминантом» (ср. структуру, куда входит эта форма, с другим порядком слов в ней: *Брусилов для меня — подозрительная личность*; *Для меня Брусилов — подозрительная личность*). Это «субъектно-объектный детерминант». Но такой квалификации недостаточно для определения ее роли в построении данного предложения. Синтаксическая функция этой формы как члена (самостоятельного члена) предложения аналогична (синонимична) функции некоторых вводно-модальных слов и сочетаний: *по-моему*, *по моему мнению*, *с моей точки зрения* и др. (ср.: *По-моему*, *Брусилов — подозрительная личность* и т. п.) и, следовательно, связана с выражением предикативных (в данном случае — модальных) отношений (дополнительной предикации), но выходящих за пределы структурно-грамматической основы предложения [14].

Спор о том, является ли предложение: *Он слыл* (*слывет*) *чудаком* (*за чудака*) глагольным или именным, относить ли его к «структурной схеме» двусоставных глагольных предложений или именных, является ли соче-

---

[13] Функцию членов предложения, как отмечалось, выполняют не слова, а формы слов; при употреблении в функции членов предложения свободных сочетаний слов в определенной форме один из компонентов такого сочетания (который может быть сложным) выполняет главным образом «строевую» (конструктивно-синтаксическую) роль, второй — семантическую (коммуникативно-синтаксическую).

[14] В докторской диссертации Г. А. Золотовой «Очерк функционального синтаксиса русского языка» (1971) говорится о синтаксическом явлении «авторизации» как об одном из процессов «взаимодействия моделей» и об «авторизующих формах», которые «не вступают ни в словосочетание, ни в аналоги словосочетания» (стр. 437).

тание *слыть чудаком* (*за чудака*) одним членом предложения или двумя, а связь между ними «словосочетательной» или «предложенческой», обязательной или факультативной и т. п.[15], не может быть решен без договоренности о том, что должно быть положено в основу типологии простых предложений.

Нам кажется, что при функциональном подходе к определению грамматической формы (структурно-семантического типа) этого предложения с обязательным учетом и выражаемого ею грамматического (категориального) значения, и функции предложения (назначения передавать в пределах данного типа определенное языковое содержание) указанное предложение следует признать именным двусоставным (*Он чудак*), а функцию глагола *слыть* в нем рассматривать как функцию связочную [16]—лексического средства выражения предикативных (прежде всего модальных) отношений. Употребление данной связки, однако, обусловлено (в отличие, например, от связки *быть*) структурными, семантическими (сочетаемостью с определенными формами и морфологическими типами сказуемого) и стилистическими ограничениями. Наличие в односоставных номинативно-бытийных (экзистенциальных) предложениях предложно-падежных форм и наречий со значением места и времени («обстоятельственных детерминантов»), как например: «По субботам и воскресеньям в колхозном клубе танцы» («Сов. Россия», 2 VIII 72) не только не является показателем их неполноты, наоборот, является выражением их структурных и семантических особенностей, ибо значение бытийности в таких предложениях неотделимо от его пространственной и временной локализации. Следовательно, такие второстепенные члены предложения возникают в результате распространения структурно-грамматической основы данных предложений в порядке «предложенческих» связей, имеющих отношение и к выражению предикативных отношений (дополнительной предикации). В частности, в приведенном примере временные «детерминанты» *по субботам и воскресеньям*, помимо их конкретного обстоятельственного значения, указывают на длительность и повторяемость (аспектуальность) бытийного значения, выражаемого структурно-грамматической основой односоставного номинативно-бытийного предложения *танцы*.

В свете изложенных выше теоретических оснований проблема второстепенных членов предложения — их статуса (прежде всего их отношения к главным членам предложения) и синтаксических функций предстает, таким образом, как проблема организации структурно-грамматической (предикативной) основы предложения и ее распространения в порядке «словосочетательных» и «предложенческих» связей. Простое предложение предстает как проблема двухуровневой структурной и семантической организации: уровня структурно-грамматической предикативной основы, ее лексического наполнения и распространения в порядке «словосочетательных» связей и уровня распространения структурно-грамматической предикативной основы предложения в порядке «предложенческих» связей — «детерминантами», которые в свою очередь могут распространяться в порядке «словосочетательных» связей, т. е. иметь зависимые формы подчи-

---

[15] См.: Н. Ю. Шведова, Спорные вопросы описания структурных схем простого предложения и его парадигм, ВЯ, 1973, 4.

[16] Предложение *Он слыл* (*слывет*) *чудаком* (*за чудака*) отнесено к двусоставным глагольным и поставлено в один ряд с такими, как: *Я встретил друга*; *Я читаю книгу*; *Я беспокоюсь о детях* и др. (см.: Н. Ю. Шведова, Спорные вопросы...). В то же время в «Гр. 70» глагол *слыть* (см. § 1295, стр. 552) назван в числе полусвязочных (полузнаменательных) глаголов, с помощью которых осуществляется регулярная «конституативно необусловленная реализация» структурной схемы двусоставного именного предложения (N_1 — N_1).

нительных непредикативных словосочетаний [17]. В содержательном плане эта проблема связана с возможностями выражения данной грамматической формой (структурно-семантическим типом) предложения самого разнообразного конкретного содержания и вторичной (добавочной) предикации, т. е. добавочной к той предикации, которая выражается структурно-грамматической (предикативной) основой предложения.

При этом нужно учитывать также и неодинаковую роль разных типов словосочетаний в построении предложения, прежде всего глагольных и именных. Здесь, как нам кажется, существенны следующие моменты.

1. Номинативная функция словосочетаний («обозначение сложных, расчлененных понятий и представлений») определяется номинативной природой знаменательных частей речи, образующих словосочетания, а роль зависимых форм (членов) словосочетаний в построении предложения будет находиться в зависимости от синтаксических функций самостоятельных членов, образующих предложение [18]. Таким образом, основной признак всех словосочетаний состоит лишь в том, что они, как уже отмечалось, являются непредикативными связями слова и формы слова [19], и распространение слова в порядке «словосочетательных» связей, какой бы характер (и в структурном, и в семантическом плане) ни носило, само по себе не приводит к образованию коммуникативной синтаксической единицы с присущими ей структурными и содержательными признаками, ибо «понятие словосочетания в своем содержании не заключает никаких грамматических признаков, которые вели бы к субъективным или „субъективно-объективным“ категориям языка (вроде категорий модальности, времени и т. п.) и указывали бы на законченность сообщения» [20].

2. Для глагольных словосочетаний в плане выяснения их роли в построении простых предложений важно разграничение субъектно-объектных и других типов синтаксических связей и отношений между глаголами и зависимыми от них формами, прежде всего связями переходных и непереходных глаголов. С переходными и непереходными глаголами связано выражение залоговых отношений, и предложения с переходными и непереходными глаголами следует относить к разным структурно-грамматическим типам предложений, занимающим вследствие этого и неодинаковое место в синтаксической системе языка [прежде всего в смысле их связей и отношений с другими типами глагольных и неглагольных (например, причастных) предложений].

3. Поскольку, как отмечалось, в функции членов предложения (самостоятельных членов предложения) употребляются не только формы слов, но и различные их сочетания, при анализе структуры предложения нужно всегда отличать свободные «словосочетательные» и «предложенческие» связи от всех типов соединений слов, выступающих в функции одного чле-

---

[17] По-видимому, к третьему уровню структурной и семантической организации простого предложения следует отнести все так называемые способы «осложнения» простого предложения за счет обособленных членов предложения различной структуры и семантики, вводных и вставочных слов (форм) и словосочетаний и т. п. и называть их «компонентами» простого предложения, имея в виду их отличие от членов предложения (главных и второстепенных), формы связей и функции в структуре предложения.

[18] В этом состоит объективный смысл споров и колебаний относительно номинативной функции словосочетаний — безусловной как будто для именных (особенно субстантивных) и сомнительной для глагольных.

[19] Ср. аналогичную трактовку словосочетательных связей слов в докторской диссертации В. В. Белошапковой «Сложное предложение в современном русском языке» (1970); см. также: Ю. С. Степанов, Семиотическая структура языка (три функции и три формальных аппарата языка), ИАН ОЛЯ, 1973, 4.

[20] В. В. Виноградов, Идеалистические основы синтаксической системы проф. А. М. Пешковского, ее эклектизм и внутренние противоречия, в кн.: «Вопросы синтаксиса современного русского языка», М., 1950, стр. 38.

на предложения: фразеологических и фразеологизированных, свободных, но синтаксически нечленимых [например, соединений фазовых и модальных глаголов с инфинитивом в составе составного глагольного сказуемого, глагольных связок с присвязочным членом в составе именного (неглагольного) сказуемого и т. п.], соединений аналитических форм слов, т. е. в понятие словосочетания вкладывать только свободные, подчинительные и непредикативные соединения слова (главного члена словосочетания) и формы слова (зависимого члена словосочетания), описание которых и должно быть отнесено к разделу синтаксиса словосочетания.

4. По-видимому, к «предложенческим» связям следует относить и такие «присловные связи», которые обусловливаются синтаксической функцией независимой (подчиняющей) формы слова, тем ее значением, которое она получает в результате синтаксического (прежде всего предикативного) употребления, например: «И словом, слава шла, что Крот великий *зверь на малые дела*» (Крылов, Воспитание Льва); «Мать Александра Ивановича, тетя Поля, седовласая энергичная худощавая старуха, всю жизнь *была немного артистка*» (Солоухин, Капля росы).

Таким образом, если исходить из изложенного выше понимания синтаксиса как учения о словосочетании и предложении, характера их взаимосвязи и взаимодействия, роли «словосочетательных» и «предложенческих» связей и функций слов (форм слов) в построении простого предложения, то среди второстепенных членов предложения, противопоставляемых главным членам, следует выделять: 1) второстепенные члены предложения, возникающие в результате распространения (усложнения) структуры предложения в порядке «словосочетательных» связей (зависимые формы подчинительных непредикативных словосочетаний); 2) второстепенные члены предложения, возникающие в результате распространения (усложнения) структуры предложения в порядке «предложенческих» связей [«детерминанты», точнее — зависимые от структурно-грамматической основы предложения «самостоятельные распространители» — самостоятельные члены предложения, связанные с выражением дополнительной (добавочной) предикации].

Это разграничение двух типов, или двух уровней — уровня «словосочетательных» и «предложенческих» связей — второстепенных членов предложения основывается на учете их неодинаковой роли в построении предложения, в формировании его структурно-грамматической (формально-грамматической) и содержательной стороны (формы и значения).

Распространение (усложнение) структуры предложения в порядке «словосочетательных» связей и функций форм слов (первый тип второстепенных членов предложения), естественно, будет определяться морфологическим типом простого предложения — морфологической принадлежностью главных членов, формирующих его структурно-грамматическую основу, и самостоятельных второстепенных членов предложения. Оно не меняет структурно-грамматического типа предложения и не относится к средствам предикации (выражения предикативных отношений). Вместе с возможностями лексического наполнения модели оно относится к средствам выражения данным структурно-грамматическим типом (моделью) предложения самого разнообразного (в пределах данного типа) конкретного языкового содержания, и в этом смысле стоит в одном ряду с лексико-семантическими синтаксическими средствами. Такую функцию, например, будут выполнять все атрибутивно связанные с именами существительными формы (традиционно — согласованные и несогласованные определения), образующие с существительными субстантивные словосочетания различной структуры и значения. Выступая в качестве «семантического распространителя слова» — существительных с их предметным ка-

тегориальным значением, т. е. распространителей предложения в порядке «словосочетательных» связей, они не будут менять ни типов предложений с их определенными грамматическими (категориальными) значениями, образуемыми падежными и предложно-падежными формами, ни других разнообразных синтаксических функций этих форм в структуре того или иного предложения (или другого синтаксического построения).

Ср.: *Яки — животные* и *Яки — самые выносливые и неприхотливые животные гор*; *Словом, все, на что ни глядел он, было упористо, без пошатки, в порядке* и «Словом, все, на что ни глядел он, было упористо, без пошатки, в каком-то крепком и неуклюжем порядке» (Гоголь, Мертвые души); *Впечатление громадно* и «Художественное впечатление от чтения Достоевского громадно» (Фурманов, Дневники); *Дома папа с мамой обсуждали поездку* и «Дома папа с мамой обсуждали поездку по Волге. На днях они уезжают пароходом по Оке, Волге, Каме» (Рыбаков, Каникулы Кроша). Из примеров видно, что все такие распространители меняют конкретное содержание предложений.

То же самое можно сказать в отношении распространения имен прилагательных различными формами, образующими с ними адъективные словосочетания и указывающими на степенную и иную локализацию обозначаемого прилагательным признака предмета, а глаголов — формами, характеризующими действие со стороны способов и обстоятельств протекания обозначаемого глаголом действия или состояния (процесса). Например: «К добру и злу постыдно равнодушны...» (Лермонтов, Дума); «Был он широк в груди и по-кавалерийски клещеног» (Шолохов, Поднятая целина); «Благодетель попался на редкость неразговорчивый и, с одной стороны, это было неплохо...» (Леонов, Русский лес); «Атомы движутся по законам классической механики» («Наука и жизнь», 1966, 4); «Я покраснел от стыда за минуту малодушия и, поскорее распрощавшись, бегом побежал в свое село» (Солоухин, Капля росы).

Итак, то, что обычно называют составом подлежащего и составом сказуемого применительно к структуре двусоставного предложения, есть не что иное, как подлежащее и сказуемое вместе с распространяющими их формами (непосредственно или через другие формы) в порядке «словосочетательных» связей.

Характер связи со структурно-грамматической основой и синтаксические функции второстепенных членов предложения второго типа обусловливаются не «словосочетательными» свойствами слов как определенных (общих и частных) лексико-грамматических разрядов, а синтаксическими функциями форм слов, образующих структурно-грамматическую основу предложения с ее определенным грамматическим (категориальным) значением, которое может быть также более обобщенным и менее обобщенным, общим и частным. Так, односоставные предложения (основу которых составляет не предикативное сочетание, а один, по своему значению предицирующий член), получающие значение состояния лица, распространяются формой дательного субъекта, независимо от морфологической принадлежности такого главного члена. Например: «Мне грустно и легко; печаль моя светла» (Пушкин, На холмах Грузии...); «Вам холодно немножко; вы закрываете лицо воротником шинели; вам дремлется» (Тургенев, Лес и степь), «Плачет где-то иволга, схоронясь в дупло. Только мне не плачется — на душе светло» (Есенин, Выткался на озере...); «Бывает час, когда нам не до шуток, и понимаешь вдруг...» (Ошанин, Бывает час...); «Принес аттестат зрелости. Пятерки! Радость отцу» (Песков, Шаги по росе).

Иначе говоря, односоставные предложения, выражающие состояние (инвариантное значение), распространяясь в порядке «предложенческих»

связей формами дательного субъекта (реже — некоторыми другими формами с тем же значением), приобретают значение состояния лица и грамматическую парадигму лица, что следует отнести к явлениям вторичной (дополнительной) предикации («субъектно-объектный детерминант»). Но ср. распространение тех же предложений за счет «обстоятельственных детерминантов», когда они приобретают значение состояния окружающей среды, обстановки: *Мне душно* и *В комнате было душно*/*Ей стало плохо* и *Кругом было плохо и неуютно*; *Мне стало жутко* и *В лесу было жутко*; *А мне здесь благодать* и *Везде такая благодать*! и т. п. «А в Царском Селе очень хорошо. Пушкиным пахнет, и огромная даль» (Блок, Письма). Поэтому можно утверждать, что как бы ни были близки по значению предложения *Мне не спится* и *Я не сплю* (*Мне не спится* скорее ближе к *Я плохо сплю*, чем к *Я не сплю*) — это разные языковые формы, структурно-грамматические типы предложений, предназначенные для выражения и разного языкового содержания (в смысле возможностей лексического наполнения и распространения модели).

Как уже отмечалось, наличие в односоставных номинативно-бытийных предложениях форм (наречий и «предложно-падежных» форм) со значением места и времени («обстоятельственных детерминантов» с таким значением) не только не является показателем их неполноты (пропуска глагольного элемента, элиминации вторичных связей, представляющих якобы другие связи [21], и т. п.), а выявляет их специфику как предложений со значением бытия, наличия, существования предмета, явления, события и т. д., обозначаемого (называемого) именем существительным, ибо бытийное значение таких предложений, которое и является их значением грамматическим (категориальным), как раз и нуждается в пространственной и временной локализации. Например: «Л и з а... А в доме стук, ходьба, метут и убирают» (Грибоедов, Горе от ума); «Заутра казнь» (Пушкин, Полтава); «Гостиница очень уютная, красивая и удобная. Вчера утром и сегодня солнце» (Блок, Письма); «И куда бы ни упал взгляд, всюду ветхость, бедность, грусть...» (Вирта, Вечерний звон); «Весело мчится поезд среди полей, деревень, лесов. Всюду мир и покой. Исчезли следы войны...» (Белахова, Сын). Ясно, что такие второстепенные члены предложения (распространители его структурно-грамматической основы) возникают в результате «предложенческих» связей, обусловленных синтаксической функцией формы им. падежа существительных. При этом односоставные номинативно-бытийные предложения с такими распространителями обнаруживают бо́льшую самостоятельность, независимость от контекста (автосемантичность), чем без них. Последние, как известно, чаще всего встречаются в повествовании и описаниях как однородные построения, а одиночные теснее связаны с предшествующим или последующим контекстом [22]. Например: «Эх, дороги... Пыль да туман, холода, тревоги да степной бурьян» (Ошанин, Дороги); «Захватывающая дух жара, взбитая ветром пыль, полинявшее небо, верблюд с равнодушной мордой» (Песков, Шаги по росе); «Я целый год живу в такой глуши, где даже песни бойкой не услышишь. Болото. Лес. Речные камыши да серые соломенные крыши» (Исаковский, Я целый год...). В этом случае «детерминанты» со значением места и времени придают бытийному значению односоставных номинативных предложений значение бытия локализованного (сле-

[21] См.: Т. П. Ломтев, Вторичные синтаксические отношения между словами в предложении, «Проблемы истории и диалектологии славянских языков. Сборник статей к 70-летию члена-корреспондента АН СССР В. И. Борковского», М., 1971.

[22] См. об этом в коллективной монографии «Русский язык и советское общество. Морфология и синтаксис современного русского литературного языка», М., 1968 (Синтаксис, гл. шестая, стр. 322).

довательно, развивающегося, проявляющегося) во времени и пространстве, даже если в функции главного члена такого предложения употребляются существительные с собственно предметным значением, как в примере: «По субботам и воскресеньям в колхозном клубе танцы» («Сов. Россия», 2 VIII 72). Ср. также: «На горизонте постоянно большие корабли, но они не заходят к нам» (Блок, Письма); «Днем — школа, а вечером — госпиталь, где она писала письма под диктовку раненых, читала газеты...» (Белахова, Дочь).

В современном русском языке широкое распространение (особенно в устной речи) получили предложения, выражающие состояние как внешнее по отношению к говорящему: *Со сроками все в порядке*; *С погодой прямо беда*; *С мальчишками дело проще*; *С этим делом труба*; *С ним ни ладу ни складу*; *С огнем шутки плохи* и т. п. «С утра Разметнов был хмур и зол; неладно выходило с подготовкой к севу, с очисткой семян» (Шолохов, Поднятая целина); «— ... А какая благодарность вас ждет? Никакой! С детьми одно несчастье!» (Белахова, Сын). «С рекламой теперь полная ясность. Всем стало понятно, что это могучий двигатель торговли» («Правда», 9 IX 70). Формы твор. падежа с предлогом *с*, имеющие здесь объектно-локальное значение [23], возникают на основе «предложенческих» связей и сочетаются с различными по морфологическому выражению, необщими по своему грамматическому значению, структурно-грамматическими основами предложения.

Словом, распространение односоставных предложений за счет «предложенческих» связей (второго типа второстепенных членов предложения) так или иначе, помимо вносимого такими членами нового объективно-синтаксического содержания [24], связывается с выделением их частных структурно-грамматических типов, следовательно, с выражением дополнительной (добавочной) предикации.

Если обратиться к структуре двусоставных предложений (простых предложений), структурно-грамматическую основу которых составляет предикативное сочетание (предикативная синтагма), то роль второстепенных членов предложения второго типа, т. е. самостоятельных членов предложения, возникающих в порядке «предложенческих» связей в этом случае так или иначе будет связана с уточнением тех предикативных отношений, которые устанавливаются между главными членами предложения (в предикативном сочетании), в чем и следует усматривать их вторичную предикативную функцию (добавочную предикацию).

Ярким и распространенным примером такого употребления форм слов в структуре именного двусоставного предложения являются формы род. падежа с предлогом *для* (реже — формы дат. падежа и род. падежа с предлогом *у*), указывающие на «воспринимающее лицо», лицо, с точки зрения которого или по отношению к которому утверждается тот или иной предикативный признак. Например: «Я слезы лью; мне слезы — утешенье»

---

[23] Ср. определение функций данной формы в работе Н. Н. Прокоповича «Словосочетание в современном русском литературном языке» (М., 1966, стр. 185): «С процессами, протекающими в системе русских предлогов, неразрывно связан и ряд других явлений в области моделирования словосочетаний: ...возникновение новых моделей с предлогом *с* для обозначения особого объекта или сферы действия признака (*с учебниками у нас хорошо* и т. п.)». Явление это, однако, следует отнести, как видно, к области «моделирования» предложений.

[24] «Грамматические отношения,— отмечал В. В. Виноградов,— могут быть двоякого рода: либо объективно-синтаксические отношения между словами в словосочетании, в предложении, либо отношения всего высказыванья или предложения к реальности, называемые субъективно-объективными или модальными» («Русский язык», М.— Л., 1947, стр. 725). См. об этом также в докторской диссертации Г. В. Колшанского «Проблемы логического анализа языка» (МГУ, 1964).

(Пушкин, Признание); «Отец и мать ей как чужие» (Добролюбов, Когда же придет настоящий день?); «—Что я поделываю? — переспросил Соломон и пожал плечами.— То же, что и все... Вы видите: я лакей. Я лакей у брата, брат лакей у проезжающих, проезжающие лакеи у Варламова, а если бы я имел десять миллионов, то Варламов был бы у меня лакеем» (Чехов, Степь); «Для ревнивой супруги такие слова — нож острый, а моя Ниночка — Отелло в юбке» (Чехов, Ниночка); «Мир для нее [Лушки] всегда был светел и прост» (Шолохов, Поднятая целина). Не обнаруживая «словосочетательных» связей, аналогичную функцию выполняют в структуре двусоставного предложения и многие другие формы, как например: «Погода к осени дождливей, а люди к старости болтливей» (Крылов, Плотичка); «На холме хлеб уже скошен и убран в копны, а внизу...» (Чехов, Степь); «Музыка в траве приуныла» (там же); «— ... В вопросах приличий и грамотности ты просто пробка!» (Шолохов, Тихий Дон); «С утра Разметнов был хмур и зол» (Шолохов, Поднятая целина); «— Без имени и овца баран,— сказал он наконец, не спеша» (Бунин, Деревня).

Как видно, и в этой группе примеров разнообразные по своей морфологической принадлежности и выражаемым логико-грамматическим отношениям (объективно-синтаксическому содержанию) формы относятся к «самостоятельным распространителям предложения» (здесь — двусоставного предложения) в целом в том смысле, что их функции не связаны с распространением отдельных слов или отдельных членов предложения. Их функции сводятся к различным характеристикам тех предикативных отношений, которые устанавливаются между главными членами предложения. Так, в примере: *Погода к осени дождливей, а люди к старости болтливей* предложно-падежные формы с временным значением *к осени* и *к старости* устанавливают временной предел (временную локализацию) в становлении предикативного признака, выражаемого формой сравнительной степени прилагательного в предикативном сочетании. Ср.: *К осени погода становится дождливее.* Формы *к осени* и *к старости* не могут рассматриваться как образующие субстантивные словосочетания, равнозначные словосочетаниям *осенняя погода* и *старые люди.* Предложения с этими словосочетаниями должны быть построены как конструкции, в которых формы сравнительной степени прилагательных выступают в своем основном сравнительном (компаративном) значении, а не в значении становления признака, а существительные *осень* и *люди* — как распространяемые в порядке «словосочетательных» связей (обозначающие «единые, нерасчлененные понятия»). Ср. *Осенняя погода дождливее летней* (*чем летняя*). Еще более отчетливо «детерминирующая» роль предложно-падежной формы с временным значением выступает в предложении *С утра Разметнов был хмур и зол*, ибо функцию самостоятельного второстепенного члена предложения *с утра*, конечно, нельзя связывать ни с распространением слова *Разметнов*, ни слов *хмур и зол*, а только с предикативно-сказуемостным компонентом *был хмур и зол*, который существует не сам по себе, а только в составе предикативного сочетания (структурно-грамматической основы предложения).

Форму *в траве* в предложении *Музыка в траве приуныла* нельзя признать ни распространителем глагола *приуныть*, ни тем более существительного *музыка*, и наличие этой формы в предложении предопределено ее «самостоятельным» смыслом, прибавляемым к смыслу, выражаемому структурно-грамматической основой предложения *музыка приуныла*, или иначе — синтаксической функцией глагольной формы *приуныла*, выявляющейся в сочетании с предицируемым главным членом — подлежащим. Конкретный смысл и образное значение предложение *Без имени и овца баран* получает с формой *без имени*, распространяющей его структурно-

грамматическую основу в целом, без которой это предложение было бы бессодержательно.

В связи с этим, нам кажется, что в синтаксических работах, построенных главным образом на идеях так называемого семантического (глубинного) синтаксиса, собственно грамматическую интерпретацию членов предложения следует получать именно путём разграничения разных уровней анализа структуры предложения (и членов предложения) и «словосочетательных» и «предложенческих» связей и функций слов (форм слов), их отношения к категории предикативности.

Изложенные выше соображения относительно второстепенных членов предложения и их синтаксических функций должны рассматриваться, естественно, как самые общие и предваряющие их более детальное изучение и описание. Но они вытекают из убеждения, что наиболее перспективной и научно обоснованной является синтаксическая концепция, в которой синтаксис определяется как учение о словосочетании и предложении. При этом предложение (точнее — простое предложение) признается главной (но не единственной) коммуникативной единицей языка, строящейся на основе категории предикативности из имеющихся в языке синтаксических средств и обладающей своими собственными, чисто языковыми (грамматическими) формальными и содержательными признаками (формой и значением). И если основной задачей синтаксиса следует считать выделение (определение) синтаксических единиц языка, в которых воплощается его синтаксический строй, то основной задачей изучения предложения является выделение (определение) его общих и частных структурно-грамматических типов и их языковых функций — назначения выражать ими в пределах данного типа с его определенным грамматическим (категориальным) значением разнообразного конкретного содержания, т. е. по существу решение проблемы о соотношении языковой формы и содержания в предложении [25]. Решению этой задачи и служат разграничение в предложении «словосочетательных» и «предложенческих» связей и функций слов (форм слов) и рассмотрение предложений как многоуровневой структурной и семантической организации и прежде всего уровня структурно-грамматической (предикативной) основы, ее лексического наполнения и уровня ее распространения в порядке «словосочетательных» и «предложенческих» связей, а вместе с тем и двух указанных типов второстепенных членов предложения.

[25] См. в этом плане статью Р. А. Будагова «К теории синтаксических отношений» (ВЯ, 1973, 1).

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1976

Л. С. БАРХУДАРОВ

ПРОБЛЕМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ТРАКТОВКЕ РАЗЛИЧНЫХ ГРАММАТИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ

Грамматическая теория, как известно, прошла в ходе своего исторического развития три этапа, или ступени: грамматика традиционная, структурная и порождающая. В соответствии с этим мы можем различать три типа синтаксической теории — синтаксис традиционный, синтаксис структурный и синтаксис порождающий («генеративный»).

Оговоримся сразу — такая классификация типов грамматической теории является, как любая классификация научных школ и направлений, в значительной степени условной. Во-первых, выделяемые нами три типа грамматической теории не представляют собой чего-то однородного — внутри каждого из них существуют различные течения, направления и разновидности, иногда существенно различающиеся по теоретическим воззрениям и применяемым ими методам исследования. Во-вторых, нельзя забывать и о существовании многочисленных «промежуточных» или переходных концепций и даже целых школ; так, лингвистические взгляды таких ученых, как Бодуэн де Куртенэ и А. И. Смирницкий, знаменуют собой переходный этап от традиционной грамматики к структурной, а поздние работы З. Харриса — от структурной к порождающей. Тем не менее, в целом выделение трех этапов развития грамматической теории и одновременно трех типов грамматического (в том числе синтаксического) описания представляется нам вполне оправданным.

Так называемый традиционный синтаксис (название в значительной степени условное и не раскрывающее сущности и методологии этого направления) безраздельно господствовал в науке о языке с момента ее зарождения вплоть до тридцатых годов текущего столетия.

На этом этапе развития синтаксической теории исследователь, опираясь на данные, полученные путем непосредственного наблюдения над исходным языковым материалом (преимущественно над письменными текстами, как правило, на родном языке исследователя), устанавливал существование в языке определенных типов и разновидностей синтаксических конструкций, подвергал их классификации на основе различных критериев (в большинстве случаев эксплицитно не сформулированных) и устанавливал наличие определенных семантических отношений и формальных средств их выражения между элементами данных конструкций. Это был, по сути дела, подготовительный этап синтаксического описания, этап сбора материала и его предварительного осмысления. Синтаксическая теория этого типа интересовалась, прежде всего, употреблением синтаксических единиц в речи, в связном тексте; при этом немалую роль играли субъективно-оценочные моменты.

Заслуги традиционного синтаксиса не следует преуменьшать или недооценивать — за столетия его существования им был накоплен огромный фактический материал и сделано много глубоких и верных выводов относительно строения основных синтаксических единиц (предложений и словосочетаний), типов синтаксической связи и характера отношений между

компонентами синтаксических структур. В той мере, в какой традиционные синтаксические описания базировались на здравой языковой интуиции самих исследователей — носителей данного языка, они не могли не дать в целом правильного представления о синтаксическом строе описываемого языка и, шире, языка вообще. Более того — многие положения и понятия традиционного синтаксиса (как, например, понятия эллипсиса, «вставления» одного предложения в другое и некоторые другие, а также применение перестройки, или трансформации структуры предложения как аналитической процедуры), подвергнутые критике со стороны представителей структурного синтаксиса, были впоследствии «реабилитированы» и взяты на вооружение школой порождающего синтаксиса.

Однако уже к началу нашего столетия стали явственно вырисовываться недостатки и ограничения, свойственные традиционному синтаксису (как и традиционной грамматике вообще). Пожалуй, наиболее существенным недостатком, резко ограничивающим возможности традиционного синтаксиса, является отсутствие строгой аналитической процедуры исследования, четких и эксплицитно сформулированных методов синтаксического анализа и слишком большая опора на интуицию, на субъективное «чутье» исследователя. В результате многие понятия, положения и правила традиционного синтаксиса оказались расплывчатыми и нечетко сформулированными, а ряд весьма существенных свойств синтаксической структуры языка либо вообще не подвергался описанию в силу кажущейся «самоочевидности», либо не получал достаточно глубокой трактовки и объяснения. Правда, уже на этом этапе развития грамматической теории многие грамматисты прибегали нередко к процедурам и приемам, получившим впоследствии название «анализа по НС», «трансформационного анализа» и др.; однако элементы этих аналитических методов применялись в ту пору бессознательно, ad hoc, и тем самым непоследовательно.

Отсутствие у традиционного синтаксиса строгой и эксплицитной процедуры лингвистического анализа влекло за собой другое отрицательное явление, характерное для этого направления, а именно, смешение и нечеткое различение формальных и семантических критериев, собственно лингвистических, логических и психологических категорий и единиц. Структура предложения описывалась традиционным синтаксисом в терминах так называемых членов предложения, которые, как уже отмечалось в лингвистической литературе, выделялись недостаточно последовательно, на основе иногда формальных, иногда логико-семантических, а иногда и чисто психологических критериев [1]. Безусловно, само по себе стремление увязать понятия синтаксиса с категориями человеческого понятийного мышления было не отрицательной, а положительной стороной традиционного синтаксиса. Однако изучение взаимосвязи языковых и логико-психологических единиц немыслимо без их предварительного размежевания и разделения, а именно этого и недоставало синтаксической теории прошлого.

Показательно, что традиционный синтаксис (как, впрочем, и синтаксис структурный) так и не дал более или менее удовлетворительного определения основной синтаксической структуры — предложения. В большинстве традиционных синтаксических работ (и не только в школьных грамматиках, но и в серьезных теоретических исследованиях) предложение определялось через понятие «мысль» [2], т. е. определение лингвисти-

[1] Об этом см., например, в работах: Т. П. Ломтев, Основы синтаксиса современного русского языка. М., 1958; С. Д. Кацнельсон, Типология языка и речевое мышление, Л., 1972; Л. С. Бархударов, Структура простого предложения современного английского языка. М., 1966.

[2] См., например: «Грамматика русского языка АН СССР», II, ч. 1, М., 1954.

ческой единицы — предложения — давалось через нелингвистическое (логическое или психологическое) понятие, которое само еще не получило точного и общепринятого определения (т. е. неизвестное определялось через еще менее известное). Такого рода определения ничего не говорят о том, какова же собственно языковая характеристика предложения, в чем та особенность (или особенности) его структуры, благодаря которой (или которым) оно отличается от других синтаксических единиц, не являющихся предложениями. Не помогла и ссылка на пресловутую «предикативность», ибо эта последняя представляет собой до того неопределенное и расплывчатое понятие, что каждый волен вкладывать в него, по сути дела, почти что любое содержание. Наиболее распространенное в отечественном языкознании определение предикативности как «отнесенности высказывания к действительности» является неудовлетворительным (как уже неоднократно отмечалось) по той причине, что оно, во-первых, столь же нелингвистично, как и определение предложения через «относительно законченную мысль», а во-вторых, также определяет неизвестное через еще менее известное (если «отнесенность к действительности» означает то же самое, что и «отражение действительности», то оно характеризует не только предложение, но и слово и словосочетание).

Важно подчеркнуть, что фактически, на практике (и это вообще характерно для традиционной грамматики) представители традиционного синтаксиса при опознании предложения и установлении его границ никогда не пользовались своим собственным определением («относительно законченная мысль») — ибо им, как мы уже отметили, практически невозможно пользоваться — и исходили из критерия сугубо формального, а именно, пунктуационного: как предложение рассматривалась любая последовательность слов «от точки до точки» (или, соответственно, вопросительного или восклицательного знака). Поскольку материалом для традиционных синтаксических описаний служила в основном письменная речь, использование этого критерия было до некоторой степени оправдано (как и использование межсловного пробела в качестве критерия границы слова). Ясно, однако, что этот критерий неприменим в отношении устной речи, которая является, как известно, основной и первичной формой существования языка; что касается пунктуации, то она является лишь отражением на письме каких-то иных существенных признаков конструктивного единства предложения, которые нуждаются в раскрытии. Попытки применить для определения предложения в устной речи интонационный критерий, хотя и сыграли важную роль, обратив внимание языковедов на структурную и функциональную роль интонации в языке, в целом окончились неудачей, ибо, как известно, не существует никакой особой «интонации предложения» — все предложение в целом может иметь тот же интонационный рисунок (например, восходящий тон), что и его составные части — словосочетания; и наоборот, словосочетания и синтагмы в составе предложения могут иногда иметь ту же самую «завершенную» интонацию (например, нисходящий тон), что и предложение в целом.

Пожалуй, наиболее правы оказались те синтаксисты традиционного направления, которые усматривали основной признак предложения в его двучленной структуре (подлежащее и сказуемое), а случаи отклонения от этой структуры толковали как эллипсис того или иного члена (обычно подлежащего). Однако эти идеи в рамках традиционного синтаксиса не получили должного развития, а впоследствии, в эпоху господства классического структурализма, и вовсе были отвергнуты, в особенности понятие эллипсиса [3]. К тому же, правильному пониманию сущности подлежащно-

[3] Широко бытовавшее среди структуралистов и многих неструктуралистов мнение о том, что учение о двучленности предложения перенесено в грамматику из логики,

сказуемостной структуры предложения мешало эклектическое логико-семантико-психологическое определение членов предложения, о котором речь шла выше. Правильно подмеченная существенная характеристика структуры предложения (во всяком случае, в индоевропейских языках), а именно, его бинарная схема строения «именная группа + глагольная группа» не получила в рамках традиционного синтаксиса должного раскрытия.

Даже самая, пожалуй, сильная сторона традиционного синтаксиса, выгодно отличающая его от синтаксиса структурного,— интерес к вопросам синтаксической семантики — оказалась скомпрометированной в результате примитивного понимания связи формальных и семантических категорий как прямого одно-однозначного соответствия[4] (ср., например, положение о том, что любое дополнение обозначает якобы «объект действия» или что любому существительному свойственно значение «предметности», любому глаголу — значение «процесса», и т. п.).

Указанные недостатки традиционного синтаксиса были в полной мере осознаны представителями так называемого структурального направления, которые поставили перед собой задачу разработки строгих методов анализа языковой, в частности синтаксической, структуры в синхронно-описательном плане. На этой ступени развития синтаксической теории исследователь, используя определенные, эксплицитно сформулированные аналитические процедуры, такие, как дистрибутивный анализ, анализ по НС, трансформационный анализ и др., устанавливал наличие иерархии связей между элементами предложения и таким путем приходил к построению определенных структурных схем (моделей), отражающих в обобщенном виде наиболее существенные отношения, реально существующие в поверхностной структуре предложения между его конституентами. Синтаксис этого типа — аналитический и строго лингвистический; всякого рода логические и психологические соображения полностью исключаются из исследования, которое ведется на основе чисто языковых (точнее, формально-языковых) критериев. В силу этого схема «членов предложения», ввиду ее эклектичности, заменяется в структурном синтаксисе строго формальными моделями, изображающими строение предложения в виде цепочки словоформ (схема Ч. Фриза), дерева НС, дерева зависимостей или «стемм» (схема Л. Теньера).

Становление структурного синтаксиса знаменовало собой качественно новый этап в развитии синтаксической теории; в лице точных аналитических методов синтаксические исследования получили твердую научную основу. Теоретические положения уже не просто выдвигались, а каждый раз доказывались на основе собственно лингвистических критериев и аналитических процедур. Синтаксис, как и вся синхронно-описательная грамматика, стал подлинно точной наукой. Не следует забывать, однако, что эта строгость лингвистических описаний была достигнута ценой определенного упрощения и схематизации реальной языковой действительности, которая на деле выглядит намного сложней. В этой связи приверженцы традиционной грамматики любят упрекать сторонников структурального направления в стремлении втиснуть все многообразие живой ткани языка в прокрустово ложе искусственных схем, в подмене описания реально существующего языка абстрактно-логическими построениями, представляющими собой, по сути дела, карикатуру на язык. Нельзя сказать,

---

есть плод недоразумения. На самом деле, наоборот, учение о двучленной субъектно-предикатной структуре суждения было перенесено в логику из грамматики, ибо суждения традиционной логики суть не что иное, как предложения естественного языка.

[4] См.: О. И. Москальская, Проблемы системного описания синтаксиса, М., 1974, стр. 13.

что эти упреки полностью лишены оснований. Однако мы считаем в этой связи уместным привести слова выдающегося советского физика Я. И. Френкеля: «Физик-теоретик подобен художнику-карикатуристу, который должен воспроизвести оригинал не во всех деталях, подобно фотографическому аппарату, но упростить и схематизировать его таким образом, чтобы выявить и подчеркнуть наиболее характерные черты. Фотографической точности можно — и следует — требовать лишь от теоретического описания простейших систем. Хорошая теория сложных систем должна представлять лишь хорошую „карикатуру" на эти системы, утрирующую те свойства их, которые являются наиболее типическими, и умышленно игнорирующую все остальные— несущественные — свойства»[5]. То, что относится к теоретической физике, в данном случае справедливо, как нам кажется, и для теоретического языкознания: язык представляет собой несомненно, одну из сложнейших систем и требовать от его описания фотографической точности совершенно нереально. Стало быть, нет оснований ставить в вину структурной грамматике ту схематизацию реальной языковой действительности, которая в ней действительно имеет место.

Вместе с тем нельзя не признать, что структурному синтаксису действительно присущи серьезные ограничения и недостатки, которые очень скоро обнаружили себя и стали преградой на пути развития синтаксической теории. Основным из них является исключительно «поверхностная» ориентированность структурного синтаксиса, почти полное игнорирование им проблем синтаксической семантики. Уделяя все свое внимание анализу поверхностной структуры предложения, представители структурного синтаксиса игнорируют существование иной, так называемой глубинной структуры, определяющей собой семантические отношения между компонентами предложения. Между тем еще многие представители традиционного синтаксиса ощущали наличие в предложении иных типов связи, нежели сугубо формально-поверхностных (ср., например, понятия «логического субъекта» и «логического объекта», встречающиеся в некоторых традиционно-синтаксических работах). Сложная проблема связи и взаимодействия собственно языковых, логических и психологических единиц и категорий, не получившая решения в рамках традиционного направления, была «решена» структурной грамматикой радикальным и простейшим образом — она была выброшена за борт как лежащая вне сферы интересов лингвистической науки. В свое время этот шаг имел прогрессивное значение, дав возможность преодолеть эклектизм традиционной грамматики и сосредоточить внимание лингвистов на выработке процедуры анализа собственно языковых явлений; однако дальнейшее развитие науки насущно требовало решения проблемы взаимоотношения лингвистических и понятийно-мыслительных категорий, а этого структурный синтаксис как раз не мог обеспечить.

Но и в собственно лингвистической области структурный синтаксис далеко не всегда «на высоте»: свойственный ему подход к языку оказался не в состоянии вскрыть глубинную сущность языковых явлений, скрывая от взора исследователя те сферы языка, которые недоступны для проникновения при помощи процедур и методов, рассчитанных на изучение поверхностной сферы языковой структуры. Даже в основном пункте синтаксической теории — вопросе об определении сущности предложения — структурный синтаксис потерпел неудачу. При формально-поверхностном подходе оказалось невозможным найти тот инвариантный признак, который лежал бы в основе структуры любого предложения. Широко распространенное в американской школе структурной лингвистики определе-

[5] «Наука и жизнь», 1972, 4, стр. 80.

ние предложения, принадлежащее Л. Блумфилду, является чисто отрицательным: предложение определяется как «независимая языковая форма, не включенная посредством той или иной грамматической конструкции в какую-либо более сложную языковую форму» [6]. Иначе говоря, предложение с этой точки зрения характеризуется прежде всего независимостью, невключенностью в состав какой-либо синтаксической конструкции более высокого порядка. Развивая это определение предложения, Ч. Фриз писал: «Предложение... есть самостоятельно употребляемое свободное высказывание (a single free utterance), минимальное или распространенное» [7].

Такое определение предложения, безусловно, отражает одну из его важных сторон, а именно способность к самостоятельному употреблению в речи в качестве минимальной единицы общения (минимального «речевого произведения», по терминологии А. И. Смирницкого). Однако это определение ничего не говорит о том, благодаря какой конструктивной особенности или особенностям предложение получает эту способность к самостоятельному употреблению в речи, в чем специфика внутренней грамматической структуры предложения, которая отличает его от любых сочетаний слов, не являющихся предложениями, и дает предложению возможность функционировать в качестве минимального речевого произведения. А ведь именно эта сторона предложения — его внутренняя структурная характеристика — и должна интересовать в первую очередь синтаксическую теорию.

Рассматриваемое определение предложения имеет и другой — пожалуй, более существенный — недостаток: согласно ему, предложение не может включаться в состав другого предложения, поскольку это противоречило бы сущности предложения как минимального самостоятельного высказывания, не включенного грамматически в состав какой-либо более сложной синтаксической единицы. Между тем, как было показано в работах представителей порождающего синтаксиса, именно это свойство предложений (так называемое «самовставление») и дает языку возможность строить из ограниченного набора элементарных структурных схем предложения бесконечное множество высказываний. Определять предложение как минимальное высказывание, грамматически не включенное в состав другого высказывания,— это значит проходить мимо весьма существенного свойства естественного человеческого языка, одной из тех черт, которые делают его универсальным средством общения [8]. Надо сказать, что игнорирование этого явления в структурном синтаксисе не случайно — это лишь одно из проявлений характерного для структурной грамматики жесткого разграничения уровней языковой иерархии. Согласно принятой в структурной грамматике концепции уровней, каждый уровень высшего порядка состоит из единиц уровня низшего порядка, лежащего непосредственно под ним: предложение состоит из словосочетаний, словосочетание — из слов, слово — из морфем, морфема — из фонем; причем единица высшего уровня должна делиться на единицы низшего уровня без какого-либо остатка (т. е. все фонемы обязательно должны входить в какую-либо морфему, все морфемы — в какие-либо слова и т. д.). В соответствии с этим предполагается, что единицы определенного уровня не

[6] Л. Блумфилд. Язык, М., 1968, стр. 179.

[7] Ch. Fries. The structure of English, New York, 1952, стр. 25.

[8] Показательно, что сам Ч. Фриз, вопреки принимаемому им определению предложения как минимальной самостоятельной единицы, не включенной в состав какой-либо более сложной единицы, все же трактует придаточные предложения как «включенные предложения» (included sentences), т. е. как составляющие более крупных предложений (см. гл. XI указанной работы Фриза).

могут члениться на единицы того же самого уровня, т. е., так сказать, «на самих себя»: фонема не может состоять из фонем, морфема — из морфем, слово — из слов и т. д. [9]. Распространяя это требование и на предложение, структурный синтаксис приходит к выводу, что предложение также не может состоять из единиц того же уровня, т. е. из других предложений.

Этому, однако, противоречит факт существования в языке так называемых сложных предложений, составные части которых по своей внутренней структуре идентичны предложениям, за исключением некоторых формальных показателей их зависимости или «включенности» в состав другого предложения. Пытаясь разрешить это противоречие, некоторые представители структурного синтаксиса (например, К. Пайк, М. Хэллидей и др.) вводят различение двух самостоятельных уровней — clause level и sentence level. Терминологическое различение clause и sentence, восходящее к английской школьной грамматике, несвойственно русской синтаксической традиции, в связи с чем передача этих терминов на русский язык вызывает затруднения (обычный перевод clause как «придаточное предложение» или «часть сложного предложения» неточен, ибо существуют и independent clauses, не входящие в состав сложного предложения). Clause — это субъектно-предикативная структура, содержащая личную форму глагола; sentence — любое минимальное законченное высказывание («от точки до точки»). Предполагается, что sentence не может состоять из других sentences, но состоит из определенного числа clauses. Такая трактовка, с нашей точки зрения, приводит лишь к ненужному удвоению терминологии, поскольку clause и sentence с точки зрения своего внутреннего строения оказываются однотипными, а явление «включения» одних предложений в другие не объясняется, а лишь затушевывается (вместо самовставления предложений — sentences — теперь приходится говорить о самовставлении clauses).

Жесткое разграничение уровней языковой иерархии имело еще одно нежелательное последствие, а именно неучет связи и взаимодействия двух единиц синтаксической структуры — предложения и словосочетания. Отношение между ними сводилось, как и у других единиц вышележащего и нижележащего уровней, лишь к простейшему понятию «вхождения» одного в другое — предложение состоит из словосочетаний. Более сложные отношения между ними, в частности, отношение взаимной трансформируемости, играющее столь важную роль в структурном оформлении предложений и в процессе самовставления, долгое время оставалось просто незамеченным.

Мы считаем необходимым сделать оговорку — отмеченный нами узкий и формально-поверхностный подход к описанию синтаксической структуры предложения характерен не для всех направлений структурного синтаксиса. У ряда представителей этого течения (К. Пайк, Л. Теньер, поздние работы З. Харриса) можно найти глубокие и оригинальные мысли, предвосхитившие дальнейшее развитие синтаксической теории и ее переход на третий этап — порождающей грамматики.

Говоря о порождающей грамматике, следует сделать одно существенное разъяснение. В сознании многих языковедов это направление отождествляется в первую очередь с лингвистической концепцией Н. Хомского. Действительно, в определенном смысле Н. Хомского можно считать основоположником порождающей грамматики — в том же смысле, в котором Ф. де Соссюра считают основоположником структурной лингвистики.

[9] Впрочем в отношении словосочетаний структурный синтаксис вынужден сделать уступку, признавая, что словосочетание может состоять из других словосочетаний (на этом базируется принцип непосредственно составляющих).

Однако, как известно, понятие структурной лингвистики отнюдь не тождественно понятию соссюрианства. Более того — вопреки широко распространенному мнению, из всех школ и направлений структурной лингвистики лишь одна копенгагенская школа может с полным основанием считаться идейной преемницей концепции де Соссюра. Другие школы структурной лингвистики имеют иные исторические корни: так, пражский функционализм восходит к традициям русского языкознания, в первую очередь к концепции Бодуэна де Куртенэ, а американский дескриптивизм — к младограмматической традиции. Точно таким же образом направление порождающей грамматики в настоящее время уже несводимо к одной только школе Хомского — и за рубежом, и у нас существуют направления и теории, лежащие в целом в русле идей порождающей грамматики и в то же время весьма далекие от концепции классического «хомскианства». С другой стороны, лингвистические воззрения Хомского включают много идей и положений, существенных для его теории (например, трактовка языка как сугубо психического явления, а языкознания — как составной части психологии; учение о врожденном характере языковых универсалий и др.), которые, однако, никак нельзя считать характерными для порождающей грамматики как особого типа описания структуры языка — опять-таки подобно тому, как ряд идей и положений де Соссюра, существенных для его концепции, оказались нехарактерными для структурной лингвистики как научного направления вообще. Именно поэтому принятие (или, наоборот, непринятие) трансформационно-генеративного подхода к языку, провозглашаемого Хомским, отнюдь не влечет за собой необходимость признавать (или, соответственно, отвергать) все положения его лингвистической теории и тем более лингвофилософии.

Сущность порождающей грамматики заключается прежде всего в том, что она является абстрактной дедуктивной системой, дающей возможность при помощи конечного количества правил описать бесконечное множество правильно построенных высказываний на том или ином языке. Понимаемая в этом смысле, порождающая грамматика является своеобразным антиподом грамматики структурной (в особенности, того ее варианта, который был столь тщательно разработан в рамках дескриптивного направления). Структурная грамматика аналитична и индуктивна — она идет от конкретного языкового материала («корпуса», текста) к абстрактным единицам, моделям и правилам. Порождающая грамматика, напротив, синтетична [10] и дедуктивна — она идет от абстрактных моделей и правил к конкретным высказываниям на данном языке. Структурная грамматика начинает с анализа мельчайших единиц языка, т. е. с низших уровней языковой иерархии, и идет от них к более крупным единицам, т. е. к высшим уровням: от фонем к морфемам и далее к словам, словосочетаниям и предложениям. Грамматика порождающая, напротив, идет от единицы высшего яруса языковой системы — предложения и продвигается от него к менее крупным единицам — вначале словосочетаниям, затем словам и лишь на самом заключительном этапе дает описание морфонологической структуры слов. Модели структурной грамматики статичны; модели порождающей грамматики, наоборот, динамичны. Структурная грамматика исходит из принципа жесткого разграничения уровней языковой иерархии; порождающая грамматика, напротив, стремится к интеграции и

[10] Термин «синтетический» мы употребляем здесь исключительно по отношению к типу языкового описания, но не к речевой деятельности человека — известно, что порождающая грамматика сама по себе нейтральна по отношению как к речевому синтезу («продуцированию»), так и речевому анализу («рецепции», или распознаванию речи).

объединению уровней, вскрывая их взаимодействие в пределах единой системы языка.

Среди лингвистов, скептически относящихся к идеям порождающей грамматики, бытует мнение, что она не вносит ничего нового в понимание структуры языка, поскольку в ее правилах не содержится ничего такого, что не было бы уже известно традиционной грамматике. На этом основании нередко делается вывод, что порождающая грамматика — это шаг назад по сравнению со структурной грамматикой. Действительно, в определенном смысле можно сказать, несколько упрощая дело, что порождающая грамматика есть не что иное, как формализованная традиционная грамматика (этого, кстати, не отрицают ни сам Хомский, ни его последователи). Ее задача — не открывать новые факты, а непротиворечивым и эксплицитным образом описывать уже известные факты грамматического строя языка. Однако эта формализация грамматического описания стала возможной лишь благодаря тому, что в рамках структурной грамматики были разработаны приемы и методы такой формализации. И в этом смысле порождающая грамматика — не простой возврат к традиционной грамматике, а синтез понятий традиционной грамматики с формализованными методами структурной грамматики. Те, кто в этой связи говорят о «шаге назад», не понимают диалектики процесса научного познания, который движется, как принято говорить, «по спирали», возвращаясь к старым идеям и концепциям на новой, более высокой основе.

Выше было сказано, что одной из задач синтаксической теории является определение предложения как основной единицы синтаксиса. Отмечали мы также, что ни традиционный, ни структурный синтаксис так и не дали, по сути дела, какого-либо удовлетворительного определения предложения. Порождающий синтаксис находится в этом отношении, так сказать, в более выгодной позиции по той причине, что порождающая грамматика вообще не дает своим единицам и понятиям никаких определений, за исключением чисто операционных,— правило, порождающее данную единицу, и есть ее определение. С этой точки зрения, определение предложения в порождающей грамматике дается ее первым (начальным) правилом: $S \rightarrow NP + VP$, т. е. предложение есть именная группа плюс глагольная группа. Тем самым подтверждается правота тех представителей традиционного синтаксиса, которые усматривали сущность предложения в его двучленной подлежащно-сказуемостной структуре. Что касается так называемых односоставных или одночленных предложений (существование которых является излюбленным аргументом противников теории двучленности предложения), то они порождаются в ходе дальнейших трансформаций, в результате которых определенные элементы предложения (чаще всего именная группа, т. е. подлежащее) могут при некоторых условиях подвергаться при переходе от глубинной структуры к поверхностной «стиранию» или замене нулем, иначе говоря, эллипсису — понятие опять-таки хорошо знакомое традиционной грамматике.

Указанное правило $S \rightarrow NP + VP$, однако, само по себе еще не обеспечивает порождения б е с к о н е ч н о г о множества предложений из ограниченного набора исходных элементов, поскольку оно не предусматривает возможности «самовключения» одних предложений в другие, о чем речь шла выше. Поэтому необходимо расширить указанное правило таким образом, чтобы придать ему рекурсивный характер, а именно: $S \rightarrow NP + S + VP$. Из этого последнего правила вытекает, что $S \rightarrow NP + (NP + S + VP) + VP$, и далее, что $S \rightarrow NP + [NP + (NP + S + VP) + VP] + VP$ и так далее. Таким путем образуются предложения неограниченной (теоретически) длины и сколь угодно большой степени сложности, по принципу известного детского стихотворения «Дом, который построил

Джек». В ходе дальнейших трансформаций предложения, включенные внутрь другого, могут подвергаться редукции, свертыванию в словосочетания, причастные и деепричастные обороты и пр. Тем самым раскрывается сложный механизм взаимодействия двух основных синтаксических единиц — предложения и словосочетания и перехода первого во второе.

Мы, разумеется, далеки от того, чтобы утверждать, будто все проблемы порождающего синтаксиса уже решены,— напротив, его разработка еще только начинается и не удивительно, что в этой области до сих пор нет ясности не только в отношении деталей, но и в целом ряде исходных понятий. К числу последних следует отнести прежде всего фундаментальные понятия глубинной и поверхностной структуры предложения. Как мы уже имели возможность отметить [11], если исходить из противопоставления глубинной и поверхностной структуры предложения как, с одной стороны, системы выражаемых в предложении смысловых отношений между его компонентами и, с другой, набора выражающих эти отношения формальных средств, то по своему характеру эти два типа структур должны быть качественно различны: в глубинной структуре должны быть представлены лишь семантически релевантные характеристики предложения и только они. Между тем, в трактовке Хомского и представителей его школы глубинная структура предложения выглядит во многом так же, как и структура поверхностная: она включает в себя такие элементы, как определенный порядок слов («подлежащее — глагол-сказуемое — дополнение»,) служебные слова типа предлогов, союзов и пр., т. е. такие характеристики, которые сами по себе не могут считаться семантически мотивированными,— порядок слов в принципе может быть и иным, смысловые отношения между элементами предложения необязательно должны быть представлены в форме предлогов или союзов и т. д.

Причина этого, как мы уже отмечали, заключается в том, что глубинная структура предложения в трактовке школы Хомского недостаточна «глубока» в том смысле, что она слишком близка к поверхностной структуре, слишком тесно «привязана» к строению предложения в определенном конкретном языке — в данном случае, английском. Однако если мы считаем (а именно это и утверждают Хомский и его последователи), что глубинная структура предложения определяет его значение, то из этого должно следовать, что она по своему характеру должна быть универсальна, т. е. предложения в разных языках, имеющие одно и то же значение, должны обладать одной и той же глубинной структурой. Эта структура, стало быть, не должна быть ориентирована на какой-либо определенный конкретный язык, будь то английский, русский или какой-нибудь другой; она должна быть в максимальной степени абстрагирована от особенностей конкретных языков. Более того — глубинная структура предложения должна быть полностью свободна от ограничений, которые накладываются на поверхностную структуру спецификой и природой звуковой материи языка; в частности, она не должна обладать свойством линейности.

Не вполне ясен также вопрос о тех элементах (конечных составляющих), из которых состоит структура предложения на глубинном уровне. По нашему мнению, таковыми должны быть не реальные слова, принадлежащие к определенным частям речи и употребляемые в конкретных морфологических формах, а абстрактные лексические единицы — пучки элементарных смысловых компонентов («сем»), которые мы, вслед за С. Лэмом [12], предлагаем называть «лексемами». Есть основания полагать, что все лексемы могут быть сведены к четырем группам: лексемы субстантив-

[11] См.: Л. С. Бархударов, О поверхностном и глубинном синтаксисе» «Ин. яз. в шк.», 1974, 1, стр. 27.

[12] См.: S. Lamb, Outline of stratificational grammar, Washington, 1966.

ные (названия предметов), лексемы глагольные (названия действий и процессов), лексемы адъективные (названия качеств) и лексемы релятивные (названия отношений). Легко заметить, что в целом эта классификация соответствует выделяемым в поверхностной структуре основным частям речи — существительным, глаголам, прилагательным и служебным словам; однако прямого соответствия между глубинной и поверхностной лексикой нет, ибо в процессе трансформаций при переходе от глубинной структуры к поверхностной нередко имеют место случаи изменения категориальной принадлежности лексических единиц. Так, глубинная глагольная или адъективная лексема нередко оказывается «транспонированной» в поверхностное существительное — явление, известное под названием номинализации (ср. русск. *хождение*, *прыжок*, *белизна* и пр.). Релятивные лексемы в поверхностной структуре отображаются чаще всего не как слова, а как аффиксы или какие-либо другие грамматические элементы.

Что касается типов синтаксических отношений между лексемами в глубинной структуре предложения, то они, по нашему мнению, должны формулироваться в таких терминах, как «действие и его субъект», «действие и его объект», «субстанция и ее признак» и пр. Наиболее перспективными в этом отношении нам кажутся классификации такого рода синтактико-семантических отношений, разрабатываемые в известных работах У. Чейфа и Ч. Филлмора [13].

В качестве примера приведем схематическое изображение глубинной структуры предложения *Мальчик, сидящий на стуле, читает книгу.*

где S — предложение; VP — глагольная группа (предикат); Ag — субстантивная группа в функции деятеля («агента»); O — субстантивная группа в функции объекта; L — локативная группа («обстоятельство места действия»); V — глагольная лексема; N — субстантивная лексема;

[13] См.: W. Chafe, Meaning and the structure of language, Chicago, 1970; Ch. Fillmore, A case for case, «Universals in linguistic theory», ed. by E. Bach and R. Harms, New York, 1968.

R — релятивная лексема; +tr — переходность; —tr — непереходность; —Perf — несовершенность; — P — непрошедшее («настоящее») время; + con — конкретность; + an — одушевленность; — an — неодушевленность;— Pl — немножественное («единственное») число. Схема для наглядности несколько упрощена.

Еще раз подчеркнем: мы отнюдь не утверждаем, будто порождающая грамматика — это некий «верх совершенства» и единственно правильный тип грамматического описания языка. Как раз напротив — как уже было сказано, ее разработка только начинается, и в настоящем виде она еще весьма несовершенна. Столь же очевидным представляется, что порождающая грамматика — отнюдь не единственный возможный подход к изучению структуры языка, которое возможно и с иных теоретических позиций. Дальнейшая разработка как отмеченных нами, так и других проблем порождающего синтаксиса — дело будущего; пока лишь намечаются самые общие контуры грамматической теории, исходные положения которой в части, касающейся характеристики основных черт структуры предложения, мы постарались изложить в настоящей работе.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1976

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

О. Д. МЕШКОВ

ЗАМЕТКИ О КОМПОЗИТНОЙ ОМОНИМИИ

Проблеме омонимии в советской лингвистике уделяется большое внимание. Хорошо известна, например, дискуссия по этой проблеме в связи со статьей В. И. Абаева «О подаче омонимов в словаре» [1]. В основном проблема омонимии обсуждается в свете разграничения полисемии и омонимии. При этом крайними точками зрения являются, с одной стороны, признание омонимами лишь случайных звуковых и/или орфографических совпадений типа *тур* (в танце) и *тур* (животное); с другой стороны, омонимия рассматривается широко и включает в себя многочисленные случаи, когда грань между омонимией и полисимией провести очень трудно. В ряде работ затрагивается вопрос о словообразовательной омонимии, в которую также входят разные явления, трудные для разграничения: омонимия — полисемия суффиксов — многозначность производного в зависимости от значения производящей основы.

Все эти известные виды омонимии, однако, принципиально отличаются от описываемой ниже разновидности омонимии — композитной омонимии, которая до сего времени, к сожалению, не попала в поле зрения лингвистов, при этом сам термин «композитная омонимия» в лингвистической литературе не существует. Единственное упоминание об этом явлении мы встретили в «Словаре лингвистических терминов» О. С. Ахмановой (М., 1966) и в книге Р. А. Будагова «Очерки по языкознанию» (М., 1953).

К композитным омонимам мы относим такие пары омонимичных сложных слов, омонимия которых складывается теми или иными путями (о различных истоках композитной омонимии см. ниже) как следствие сложения двух основ, а не в результате расхождения значений одного и того же сложного слова. В последнем случае мы имеем дело не с композитной омонимией, а с распадом значения изначально одного и того же сложного слова, т. е. с процессом, принципиально не относящимся к структуре сложного слова.

Хрестоматийным примером композитной омонимии в русском языке являются слова *газоход* [1] и *газоход* [2], которые в «Словаре лингвистических терминов» О. С. Ахманова называет «производными омонимами» («омонимами синтаксическими»), указывая, что «их омонимичность... создается различием их внутреннего строения». Это в принципе верное толкование нуждается, однако, в некотором уточнении. Омонимия пары *газоход* [1] и *газоход* [2] создается не только различием их внутреннего строения. Это последнее выступает в совокупности с другими явлениями. В *газоход* [1] (ср.

[1] См.: В. И. Абаев, О подаче омонимов в словаре, ВЯ, 1957, 3; см. также статью «К обсуждению вопроса об омонимах (Обзор статей, поступивших в редакцию)», ВЯ, 1959, 2.

пароход, *теплоход* и др.) компонент *-ход* является усечением глагольной основы *ходить*. Это следует из того, что *газоход* [1] соотносится со словосочетанием «ходит газом» (при помощи газа). В *газоход* [2] (ср. *дымоход*) второй компонент имеет значение «проход, канал» и т. п. для газа и в смысловом отношении *газоход* [2] соотносится со словосочетанием «ход для газа», таким образом, в *газоход* [2] второй компонент — именная основа, а не усеченная глагольная основа, как в *газоход* [1]. Следовательно, само различие во внутреннем строении этих сложных слов вытекает из различия их деривационной (словосложительной) истории. Необходимо также отметить, что возможность возникновения омонимичной пары *газоход* [1] и *газоход* [2] обусловливается и поддерживается двумя рядами слов со вторым компонентом *-ход*: 1 — *газоход*, *пароход*, *теплоход*, *атомоход* и 2 — *газоход*, *дымоход*.

Естественно, что омонимичные слова «неудобны» для целей номинации и язык стремится «избежать» их. Например, для названия технического средства — приспособления для передачи пара — используется слово *паропровод*, а не *пароход*, которое закрепилось за названием средства транспорта. Очевидно, этим же можно объяснить, что техническое приспособление для производства воздуха под давлением («воздуходувка») в английском языке называется *wind machine*, а не *wind mill*, так как последнее слово закрепилось за названием другого предмета («ветряная мельница»).

Вместе с тем, в языках (например, в русском и в английском) функционирует определенное количество композитных омонимов. Возникновение, функционирование и восприятие сложных слов, в том числе образований ad hoc, опирается, как известно, не только на структуру модели (состав и последовательность компонентов модели), но и на структурно-семантическое значение модели. Так, образование и восприятие слов типа «N + + *пад*» (*снегопад*) возможно благодаря тому, что такие слова воспринимаются в значении «падение N» (*водопад*, *листопад*, *камнепад*). Именно поэтому возможно и понятно такое слово, как *стеклопад* (это слово автор настоящей статьи прочитал в старом здании МГУ, где часть холла под стеклянным куполом была огорожена и была вывешена надпись: «Осторожно, стеклопад!»). Если же авторское словотворчество не опирается на структурно-семантическое значение модели, оно не может создать жизнеспособных слов. Так, в стихотворении для детей «Снегопад» («Пионер», 1966, ноябрь) автор употребляет это слово в двух разных значениях — в обычном и в значении «падение в снег»: «Снегопад... снегопад!... Так он и зовется — *Снегопад*, чтобы все *в сугробы падали* подряд!». Однако в связи с тем, что второе, авторское, значение не отвечает структурно-семантическому значению модели «N + *пад*», слово *снегопад* в этом значении не только не может закрепиться в языке, но и не воспринимается даже в том контексте, где делается попытка объяснить это навязываемое ему значение. Если бы слово *снегопад* имело второе значение, то мы могли бы говорить о композитной омонимии: *снегопад* [1] «падение снега» и *снегопад* [2] «падение в снег», при этом омонимия проистекала бы из различных отношений между компонентами сложного слова.

Другим известным примером композитной омонимии в русском языке являются слова *самострел* [1] (род старинного лука с прикладом), и *самострел* [2] (человек, который умышленно ранил сам себя). Восприятие значения этих двух слов поддерживается наличием двух рядов сложных слов с первым компонентом *сам-*. *Самострел* [1] стоит в ряду слов, смысловая структура которых раскрывается словосочетанием «сам делает что-л.», например, *самосвал*, *самовар*, *самолет*, *самокат*. *Самострел* [2] стоит в ряду слов, которые означают «делает сам что-л. по отношению к самому себе», например, *самоотвод*, *самоучка*.

Приведем еще несколько примеров композитных омонимов в русском языке. *Полусвет* [1] (слабый свет, слабое освещение) и *полусвет* [2] (среда женщин легкого поведения, подражающая жизни высшего общества) также являются композитными омонимами, но причина омонимичности здесь иная, а именно — разное лексическое значение вторых компонентов.

Однозначный представляет собой три омонима: 1) тожественный по смыслу, значению, например: *однозначные выражения*, (2) имеющий только одно значение, например: *однозначное слово*, (3) обозначаемый одной цифрой, состоящий из одного знака, например: *однозначное число*. При кажущейся идентичности эти три слова не только имеют три разных значения, но и отличаются значением своих компонентов и соотнесенностью с разными словосочетаниями. В (1) компонент *одно-* означает принадлежность к одному и тому же, а в (2) и (3) *одно-* соответствует числительному «один», при этом в (1) и (2) компонент *-значный* соотносится со словом «значение», т. е. «имеющий то или иное значение», а в (3) компонент *-значный* соответствует слову «знак», т. е. «однозначный = имеющий один знак, состоящий из одного знака».

Композитная омонимия особенно широко распространена в английском языке, что объясняется по крайней мере тремя причинами: 1) предрасположенностью языка к словосложению вообще; 2) большим количеством омонимичных корневых — непроизводных — слов; 3) большой степенью свободы отношений между компонентами сложных слов в этом языке. Это обстоятельство делает весьма интересным и плодотворным изучение проблемы композитной омонимии в английском языке.

Ниже будут проанализированы примеры различных видов композитной омонимии в современном английском языке на материале сложных слов модели «N + N», при этом в рабочем порядке принимается, что всякое соположение двух основ существительных есть сложное слово, иначе говоря, разница между словосочетанием и сложным словом в нашем анализе является несущественной.

Предварительные наблюдения над композитной омонимией английских сложных слов «N + N» позволяют сделать вывод о том, что это явление неоднородно и распадается на следующие виды: 1 — лексическая омонимия, 2 — структурная омонимия, 3 — деривационная омонимия, 4 — смешанный вид, связанный с двумя или всеми тремя видами.

1. Лексическая омонимия композитов принципиально не отличается от лексической омонимии однокорневых (не-сложных) слов. Она возникает, когда компонент (или компоненты) сложного слова является представителем омонимичной пары или выступает в разных значениях. Например: слова *bed-rest* [1] и *bed-rest* [2] — лексические композитные омонимы. Их омонимичность — результат омонимичности их вторых компонентов: *rest*[1] «отдых» и *rest*[2] «подставка». В результате возникают омонимы: *bed-rest* [1] — «a period of resting in bed»; *bed-rest*[2] — «a device used to prop a patient up in bed».

В паре *play-book* [1] и *play-book* [2] первый компонент выступает в разных значениях. В первом слове компонент *play* означает «пьеса; драматическое произведение», а во втором слове *play* — «игра» (спортивная — футбол, хоккей и т. п.). В результате возникает следующая пара омонимов: *play-book*[1] — «a book (a collection) of plays»; *play-book* [2] — «a book containing the diagram of a football team's plays».

Однако, кроме различия в лексическом значении компонента *play*, в этих словах имеется и некоторое различие в смысловой структуре: в слове *play-book*[1] — «a book of plays» смысловая связь компонентов непосредственна, а в случае *play-book* [2] легко усматривается отсутствие одного элемента: «a book containing *diagrams* of plays». Вместе с тем основная причина

омонимичности в паре *play-book* [1] и *play-book* [2]— различие в лексическом значении компонентов *play*[1] и *play*[2], а поэтому их можно считать представителями лексической композитной омонимии.

2. Структурная омонимия композитов — такая омонимия, которая связана с различием в отношениях между компонентами при их одинаковом лексическом значении. Например, в паре *horse-boat*[1]— «boat for transporting horses» (паро́м для лошадей и повозок) и *horse-boat*[2]— «boat drawn by horses» (паро́м или баржа с конной тягой) отношения между компонентами различны: в первом случае предмет, обозначенный первым компонентом («лошадь»), является объектом действия, а во втором — субъектом, точнее средством выполнения действия. Интересным примером структурной омонимии является пара *book-page* [1]—«a page *of* a book»; *book-page* [2]—«a page that is devoted to reviews and notices of books, e. g. in a newspaper or journal», иначе —«a page *about* books».

3. Деривационная омонимия композитов возникает вследствие различной деривационной истории сложных слов, при этом сами эти различия могут носить разный характер:

(а) В словах *gun-room* [1] и *gun-room* [2] отличие деривационной истории состоит в том, что в одном из членов пары *gun* [1] представляет собой усечение от слова *gunner* —«комендор», а другой член пары выступает в обычном, неусеченном виде: *gun*[2]—«ружье». В результате возникают омонимы *gun-room* [1]—«кают-компания младших офицеров» и *gun-room* [2]—«комната для хранения охотничьих ружей».

(б) В *fire-watcher* [1] и *fire-watcher* [2] первый член пары («one who tends a fire») «кочегар» и т. п. образуется непосредственно сложением (*fire* + + *watcher*), а второй член пары соотносится со сложным словом *firewatching*, т. е. является его производным, что, в частности, следует из смысловой связи между словом на *-ing* и словом на *-er*: *fire-watcher* —«one who is engaged in fire-watching»; *fire-watching* —«keeping on the alert esp. at night, to watch for and report the occurrence or spread of fires». Следовательно, *fire-watcher*[2]— «дежурный пожарный».

(в) Совершенно иной характер носит расхождение в деривационной истории слов *fire-company* [1]—«пожарная команда» и *fire-company* [2] — «страховое общество». При некотором различии в значении второго компонента, т. е. при лексической омонимии, основное различие в значении этих слов обязано тому факту, что образование второго из них связано с эллипсом: *fire-company* [2]—«fire (*insurance*) company».

(г) Словарь «Dictionary of New English» [2] приводит слова *autocide*[1] и *autocide* [2]. Одно из них образовалось из *auto* («само») + *cide* («убийство») и означает «самоубийство». Другое возникло в результате слияния усеченных слов *automobile* + *suicide* и означает «самоубийство путем преднамеренной автомобильной катастрофы».

Разные словообразовательные процессы характеризуют и следующие два композитных омонима: *paramedic* [1] и *paramedic* [2]. Первый член этой пары является продуктом обратного словообразования от *paramedical*, которое в свою очередь состоит из *para* («около, рядом, почти» и т. п.) + + *medical* («медицинский»). Образованное таким образом слово означает «лицо среднего и (или) вспомогательного медицинского персонала». Другое образование — *paramedic* [2] представляет собой сложение компонента *para-*, извлеченного из слова *parachute*, со словом *medic* («врач, медик»). Отсюда значение *paramedic* [2]—«медик, сбрасываемый на парашюте для оказания помощи пострадавшим в бою».

---

[2] C. L. Barnhart, S. Steinmetz, R. K. Barnhart, A dictionary of New English 1963—1972, London, 1973.

4. Смешанная омонимия композитов возникает в результате двух или более видов композитной омонимии.

Можно наметить примеры структурно-лексической омонимии. Например, в словах *bedroom* [1] — «room in bed» (в таком значении это слово находим у Шекспира в комедии «Сон в летнюю ночь») и *bedroom* [2]—«a room used to contain a bed, a sleeping apartment». В первом случае компонент *room-* — «место, пространство», а во втором —«комната». Это сопровождается различием в структуре: *room in bed*, *room for bed(s)*.

Примером структурно-лексической омонимии в новейшем английском языке является пара *space-saver* [1] и *space-saver* [2]. В первом члене пары компонент *space-* выступает в значении «место, пространство», а слово в целом означает любой портативный предмет, позволяющий экономить место (*saver* ***of*** *space*), ср. в этой связи *labour-saver*, *time-saver*, *money-saver*. Во втором члене пары компонент *space-* выступает в значении «космос», а слово в целом означает космический летательный аппарат, предназначенный для спасения экипажа космического корабля, терпящего аварию (*saver* ***in*** *space*).

Деривационно-структурная омонимия проявляется там, где различие в деривационной истории сочетается с различием в отношениях между компонентами. Так, слово *fire-curtain* [1] в значении «театральный занавес из огнеупорного материала» и слово *fire-curtain* [2] «огневая завеса» (воен.) отличаются и лексическим значением обоих компонентов (*fire* «огонь» и «артиллерийская стрельба»; *curtain* «занавес» и «завеса»), и деривационной историей. *Fire-curtain* [1] образуется с участием эллипса: *fire-curtain* — «fire (*proof*) curtain» в то время как *fire-curtain* [2] стягивается из словосочетания *curtain of fire*. В этой паре можно усмотреть и структурную омонимию, ибо *fire-curtain* [1] — «curtain to resist (*against*) fire»; *fire-curtain* [2] — «curtain ***of*** fire». Следовательно, в этой паре омонимов объединяются несколько видов композитной омонимии.

Интересный случай композитной омонимии представляет собой слово *playhouse* = «1) a theater for live dramatic productions; 2) a small house for children to play; 3) a child's toy house or doll house».

Некоторые дополнительные замечания о композитной омонимии. Среди композитных омонимов есть такие пары, в которых один член пары является многозначным, не образуя, однако, омонима, но противостоит в этих своих разных значениях другому слову — омониму. Например, слово *bookworm* имеет два значения: 1) «червь, уничтожающий (портящий) книги» и 2) «заядлый читатель». Совершенно очевидно, что эти два значения не образуют омонимии, а представляют собой лишь разные значения одного и того же слова. Независимо ни от одного из этих двух значений возникает слово *bookworm* [2], обозначающее подставку для книг, один конец которой неподвижен, а другой может разворачиваться в виде металлического червяка по мере наполнения книгами.

В некоторых случаях трудно провести грань между многозначностью сложного слова и композитной омонимией. В частности, трудно установить, являются ли многие слова со вторым компонентом *-man* различными значениями одного слова или омонимичными образованиями. Например, *gunman* = «1) a man armed with a gun, esp. a gangster; 2) a man skilled in the use of a gun; 3) one who makes guns». Ср. также *bookman* в значениях «ученый», «книгоиздатель», «продавец книг». В этих случаях возможно и третье решение: компонент *-man* можно принять за суффикс с обобщенным значением «тот, кто имеет отношение к предмету, обозначенному первым компонентом», разный характер этого отношения и результируется в разных значениях слов с компонентом *-man*. Такое решение, однако,

уже связано не с композитной омонимией, а с проблемой значения суффикса или компонента, близкого к суффиксу.

В некоторых случаях образование пар композитных омонимов может быть разорвано по времени несколькими столетиями, например, *book-worm* [1] (XVII в.) и *book-worm* [2]— слово, появившееся в 70-е годы XX в. В других случаях оба члена пары могут возникать приблизительно в одно и то же время, например: *fire-curtain* [1] и *fire-curtain* [2] (оба слова зафиксированы «Приложением к оксфордскому словарю» 1972 г.). Есть омонимы, которые функционируют в текстах, относящихся к разным сферам деятельности человека, например: *flight-line* [1] — «направление полета птиц во время миграции», *flight-line* [2] — «линия, на которой располагаются самолеты и обслуживающие средства». Другие омонимы уживаются в пределах довольно близких сфер, например, *flight-deck* [1] «взлетная палуба авианосца», *flight-deck*[2] — «кабина команды самолета».

Наконец, встречаются пары, в которых один член принадлежит к одному языковому ареалу, другой член — к другому, например: *grass-line* [1] «веревка, сплетенная из травы»; *grass line* [2] «верхний уровень растительности в горах» (Новая Зеландия).

В заключение отметим, что настоящая статья, как это и следует из ее названия, не претендует на сколько-нибудь полное описание композитной омонимии. Ее цель состоит лишь в том, чтобы привлечь внимание к самому факту композитной омонимии, к тому, чтобы показать сложность и разнородность этого явления, подчеркнуть трудности его анализа, которые, однако, могут быть вознаграждены интересными результатами. Можно наметить некоторые проблемы, которые могли бы быть решены при анализе композитной омонимии, например: 1) в каких языках распространена композитная омонимия и какие факторы стимулируют (или тормозят) это явление; 2) какие модели словосложения допускают композитную омонимию (в английском языке, например, кроме модели «N + N», модель «N + + PII» дает некоторое число композитных омонимов: *water-protected* [1] — «protected against water, e. g. water-protected watch»; *water-protected* [2] — «protected by water, e. g. water-protected Great Britain»); 3) какие виды омонимии (лексическая, структурная, деривационная) распространены в том или ином языке и в тех или иных моделях словосложения; 4) каковы критерии и приемы разграничения многозначных сложных слов и композитных омонимов.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1976

Г. А. ОТАИНА

СЛОВА СО ЗНАЧЕНИЕМ КАЧЕСТВА В НИВХСКОМ ЯЗЫКЕ

0. Названная лексико-грамматическая группа слов вначале квалифицировалась как «имя прилагательное». Так, в совместной статье Е. А. Крейновича и В. Н. Савельевой прилагательное выделяется как самостоятельная часть речи [1]. В. З. Панфилов рассматривает их как лексико-грамматический разряд глаголов, указывая вместе с тем на их отличие от тех разрядов глагола, которые обозначают собственно действие [2].

Глагольность качественных слов нивхского языка имеет типологические аналогии в других языках — вьетнамском, тайском, качинском, а также японском, китайском и корейском. Характерно, что в этих языках качественные слова не одинаково трактуются разными авторами. А. А. Драгунов, впервые обосновав вывод о близости прилагательных и глаголов в китайском языке, объединил их в одну более общую категорию предикатива [3]. Рамстедт, анализируя части речи в корейском языке, выделял только глагол, включая в него и качественные слова [4]. А. А. Холодович разграничивает глаголы и прилагательные, отмечая, однако, что среди прилагательных имеется группа слов, которая морфологически и синтаксически близка к глаголу. По мнению А. А. Холодовича, эту группу составляют исконно корейские непроизводные слова [5]. Ю. Н. Мазур объединяет глаголы и прилагательные в одну категорию предикативов [6]. Наиболее полное и последовательное сравнение прилагательных и глаголов корейского языка осуществлено Ф. В. Мальковым [7].

В «предикатив» включаются глаголы и прилагательные во вьетнамском языке. Современные исследователи вьетнамского языка, констатируя близость глаголов и качественных слов, пользуются термином «предикатив», при этом авторы по-разному оценивают степень близости глаголов и прилагательных. Нгуен Ким Тхан, указывая на основное различие глагола и прилагательного (сочетаемость первого с показателем повелительного наклонения), замечает, что эти два лексико-грамматических разряда близки друг другу и разграничение их затруднительно [8]. В отличие от Нгуен Ким Тхана авторы книги «Вьетнамский язык», не отказываясь полностью от термина «предикатив», признают наличие достаточно четких

---

[1] Е. А. Крейнович, В. Н. Савельева, Об имени прилагательном в нивхском языке, «В помощь учителю школ Крайнего Севера», 6, Л., 1956.

[2] В. З. Панфилов, Грамматика нивхского языка, ч. 1, М.— Л., 1962, стр. 34.

[3] А. А. Драгунов, Исследования по грамматике современного китайского языка, М.— Л., 1952, стр. 10.

[4] Г. Рамстедт, Грамматика корейского языка, М., 1951, стр. 85.

[5] А. А. Холодович, Очерк грамматики корейского языка, М., 1954, стр. 181—189.

[6] Ю. Н. Мазур, Корейский язык, М., 1961.

[7] Ф. В. Мальков, Сходство и различия предикативных прилагательных и глаголов в корейском языке, в кн.: «Корейский язык», М., 1961.

[8] Нгуен Ким Тхан, Основные вопросы категории глагола во вьетнамском языке. АКД, М., 1964, стр. 5.

критериев для выделения двух самостоятельных частей речи [9]. Сходство и различие глаголов и прилагательных во вьетнамском языке рассматривалось и другими авторами. Н. В. Станкевич и И. С. Быстров объединение этих двух групп слов в одну категорию предикативов также считают обоснованным [10].

Помимо указанных, есть еще целый ряд языков, в которых прилагательные так или иначе примыкают к глаголу: предикативное прилагательное в японском языке [11], прилагательные в тайском языке [12], качественные слова в качинском языке [13]. Разнообразие точек зрения относительно природы качественных слов в указанных языках свидетельствует о том, что этот вопрос требует дальнейшего обсуждения.

В настоящей статье мы попытаемся дать лексическую и грамматическую характеристику качественным глаголам нивхского языка (далее — КГ) в сравнении с глаголами действия, состояния, процесса, далее условно называемыми некачественными глаголами (НГ).

Работа написана на материалах амурского диалекта, собранных в Николаевском и Ульчском районах Хабаровского края, использованы также опубликованные работы [14].

1. КГ, так же, как и качественные прилагательные русского языка, обозначают качественные признаки предметов, лиц, явлений и т. п. В силу того, что КГ не имеют особых морфологических показателей, отличающих их от НГ, основным различительным критерием выступает семантика: *вадь* «драться»— *вердь* «быть широким», *ныңдь* «искать» — *ныньүдь* «быть скупым». Для различения КГ и НГ можно воспользоваться: 1) постановкой вопроса: КГ отвечают на вопрос *йаҕэдь*? «быть каким?», НГ отвечает на вопрос *йāдь?* «что происходит?», *сидь ныдь*? «что делает?»; 2) учетом сочетаемости: КГ не сочетается с наречием *ӣркы* «чуть не»: *иф ӣркы полдь* «он чуть не упал», *иф ӣркы п'ӿан к'удь* «он чуть не убил свою собаку», но нельзя сказать **иф ӣркы весқардь* «он чуть не сильный».

Формирование категории прилагательных в русском языке, как известно, прошло по этапам: предмет → свойство как предмет → свойство как нечто абстрактное, как признак [15]. В нивхском же языке свойство отождествлялось вначале с процессом, и поэтому процессы типичные, характерные для определенных предметов, стали использоваться для обозначения свойств этих предметов. Об этом свидетельствует тот факт, что среди КГ есть группа слов, являющихся двузначными, они употребляются и в значении НГ, и в значении КГ: *умдь* «сердиться» и «быть злым», *к'унудь* «рассветать, светиться» и «быть светлым», *полмдь* «ослепнуть» и «быть слепым». Впоследствии, вероятно, и остальные группы абстрактных КГ оформились как глагольные и, таким образом, в системе нивхского глагола выделилась группа КГ. Значение подобных двузначных глаголов разграничивается в контексте благодаря различной сочетаемости со второстепенными членами предложения. Примеры: *қан умдь* «собака злая»— *иф умдь*

[9] В. М. Солнцев, Ю. К. Лекомцев, Т. Т. Мхитарян, Н. И. Глебова, Вьетнамский язык, М., 1960, стр. 63, 70.

[10] Н. В. Станкевич, О границах категории прилагательных во вьетнамском языке, «Уч. зап. ЛГУ», 305. Серия востоковедческих наук, 12, 1961; И. С. Быстров, К вопросу о классификации частей речи во вьетнамском языке. Слова со смешанными признаками имени и предикатива, там же.

[11] М. Киэда, Грамматика японского языка, I, М., 1958, стр. 129—132, 235—267.

[12] Л. Н. Морев, Об объеме категории глагола в тайском языке, в кн.: «Языки Китая и Юго-Восточной Азии», М., 1963, стр. 35.

[13] Е. В. Пузицкий, Качинский язык, М., 1968, стр. 82—83.

[14] В. Н. Савельева, Ч. Н. Таксами, Русско-нивхский словарь, М., 1965; их же, Нивхско-русский словарь, М., 1970.

[15] А. А. Потебня, Мысль и язык, Харьков, 1926; его же, Из записок по русской грамматике, 3, М., 1968, стр. 37—67.

«он разозлился». Во втором предложении с НГ можно вставить дополнение (*нерх* «на меня»), чего нельзя сделать в предложении с КГ. Кроме того, в роли определения это слово выступает в разных формах: *ум-ла ган* «злая собака»— *ум нивх* «разозлившийся человек».

Небольшая группа КГ (около 20 слов) может обозначать качественное состояние в том случае, когда они употребляются в роли главного члена безличного предложения: *ных тивдь* «сегодня холодно» (ср. *тыф тивдь* «дом холодный»), *к'лыйн леꞗдь* «на улице скользко» (ср. *тиф леꞗдь* «дорога скользкая»). Таким образом, среди КГ выделяется группа слов, которые в зависимости от употребления могут выражать значение качественного признака, действия и качественного состояния: *чах к'унудь* «вода светлая», *эгур к'унудь* «быстро рассвело», *hурмийн к'унудь* «внутри светло».

КГ выражают признаки изменяемые, переменные, т. е. измеримые. Те признаки, которые являются неизмеримыми, передаются синтаксическим способом, путем соположения имен существительных: *пах тух* «каменный топор» (ср. *пила дух* «большой топор», *пилкар тух* «большущий топор»), *ытык рыф* «отцов дом» (ср. *чуз дыф* «новый дом», *чуз-йо дыф* «дом поновее»).

КГ в нивхском языке имеют соотносящиеся с ними слова-заместители *тоꞗадь* и *hоꞗадь* «быть таким» (говорные варианты *тоγодь* и *hоγодь*), которые обычно рассматриваются в числе указательных местоимений [16]. Если другие указательные местоимения амурского диалекта с суффиксом *-дь*: *тыдь*, *hыдь* «тот», *туӈрыдь*, *hуӈрыдь* «такой», обладая именной словоизменительной парадигмой, действительно соотносятся с именами, то слова *тоꞗадь* и *hоꞗадь* имеют глагольную парадигму и правильнее называть эти слова «местоглаголиями» [17]. Эти слова не выражают понятий качества, а лишь указывают на них, т. е. выполняют дейктическую функцию. К этим же словам примыкает и вопросительное слово *йаꞗодь* «быть каким?». Слова-заместители в нивхском языке образуют пары, первый член каждой из которых является вопросительным словом: *йаꞗодь* «какой?»— *тоꞗадь*, *hоꞗадь* «такой», *йаꞗогут* «каким образом?»— *тоꞗагут*, *hоꞗагут* «таким образом», *йāдь*? «что происходит?» (с лицом, предметом) — *hадь* глагол с обобщенным значением «происходить, делаться», замещает непереходные глаголы, *йайдь* с обобщенным значением «делать что-либо», замещает переходные глаголы; *йāгут/йāгур*? «как?»— *тōгут/hōгут* «так». Слова *тоꞗадь* и *hоꞗадь*, подобно КГ, оформляются как НГ и выполняют те же синтаксические функции: *йаꞗо дыф*? «какой дом?», *тоꞗа дыф*, *hоꞗа дыф* «такой дом» (в функции определения). Тыф *йāꞗодь*? «дом каков?», *тыф тоꞗадь*, *hоꞗадь* «дом такой» (в функции сказуемого). *Тыф йаꞗо-ны-дь*? «Дом будет каким?», *тыф тоꞗа-ны-дь*, *hоꞗа-ны-дь* «дом будет таким» (*-ны* показатель будущего времени). *Тыф йаꞗо-гин*... «каким бы ни был дом...», *тыф тоꞗа-гин*, *hоꞗа-гин* «хоть дом и таков...» (*-гин* показатель уступительного наклонения). Слова-заместители в нивхском языке выполняют дейктическую функцию и морфологически примыкают к глаголу, выявляя тем самым сходство с другими языками [18].

КГ в зависимости от носителя обозначаемых ими качеств распадаются на три большие смысловые группы [19]: 1) качества человека: а) физические особенности — *пандурдь* «быть красивым», *товдь* «быть белым»,

---

[16] В. З. Панфилов, Грамматика нивхского языка, ч. 1, стр. 244.

[17] Там же, стр. 227.

[18] Ю. Х. Сирк, О словах-заместителях глагола в индонезийских языках, в кн.: «Языки Юго-Восточной Азии. Вопросы морфологии, фонетики и фонологии», М., 1970; А. А. Драгунов, указ. соч., стр. 227.

[19] Г. А. Отаина, Лексическая характеристика качественных глаголов в нивхском языке, в кн.: «Рефераты докладов и сообщений», I, Владивосток, 1973.

б) моральные и психические свойства — *hарҕодь* «быть трудолюбивым», *к'еӈқ'оҕадь* «быть добродушным»; 2) качества предметов: а) цвет — *қалҕаладь* «быть белым», б) размер, форму, объем — *кылдь* «быть длинным», *пулквулкудь* «быть шарообразным», в) вкусовые качества — *hапть* «быть горьким»; 3) качества животных: а) масть — *чаӈдь* «быть белым», б) физические свойства — *ӈардь* «быть жирным».

Среди качественных глаголов имеются многозначные слова, образующие две подгруппы. В подгруппу А входят слова, обозначающие качественный признак. В этих КГ производные значения обычно легко устанавливаются, они приводятся вторыми в каждой паре: *урдь* «быть здоровым» и «быть хорошим», *атьҕдь* «быть слабым» и «быть плохим», *мыкырдь* «быть прямым» (не искривленным) и «быть справедливым». В подгруппу Б входят такие слова, которые могут употребляться и в значении КГ, и в значении НГ (см. выше).

В числе КГ отмечены синонимы, под которыми мы имеем в виду такие слова, которые выражают одно и то же качество: а) у разных предметов, б) в разной степени интенсивности. В группу А входят синонимы абсолютные, т. е. такие, лексические значения которых совпадают полностью: *ӈыньүдь* и *мартидь* «быть скупым», *илвздь* и *лискть* «быть чистоплотным». Эти пары отражают говорные различия в пределах амурского диалекта. Первые слова из этих пар зафиксированы на Амуре, вторые — Амурском лимане. Они понятны всем носителям диалекта, но в каждом районе более употребительно одно из указанных слов. Сюда же относятся синонимы, возникшие благодаря заимствованиям из других языков: *hиуладь* и *к'ысӈардь* «быть удачливым, везучим». Слово *к'ыс* «удача; счастье», выступающее в данном случае компонентом сложного слова, имеет параллели в тунгусо-маньчжурских языках. Синонимы этой группы взаимозаменяемы. В группу Б входят слова, различающиеся степенью интенсивности качества, т. е. такие слова, лексические значения которых совпадают частично: *лақадь* «быть тепловатым» — *қ'авудь* «быть теплым», *чилчилыдь* «быть замызганным»— *ӈалсқодь* «быть грязным», *чевчеводь* «быть мокрым»— *тёртёродь* «быть очень мокрым». Синонимы этой группы не взаимозаменяемы. В группу В входят синонимы, характеризующиеся разной сочетаемостью с другими словами в предложении. В подгруппу B_1 входят слова, обозначающие одно и то же качество, но у разных предметов. Здесь выделяются следующие типы оппозиций: а) по форме предметов — *тодь* «быть толстым» об объемных предметах — *виркырдь* «быть толстым» о плоскостных предметах, например, *тӣр тодь* «дерево толстое», но *фитис виркырдь* «одеяло толстое»; б) природное качество — приобретенное качество: *керкерадь* «быть острым» (естественно) — *т'уньдь* «быть острым» (наточенным), например, *паҳ керкерадь* «камень острый», но *тяқо т'уньдь* «нож острый»; в) человек — животное: *ӈардь* «быть жирным» (о животных) — *ӈыүдь* «быть полным» (о человеке); г) человек — животное — предмет в цветообозначении [20] : *валваҕдь* «быть краснокожим» (о человеке) — *пӣрдь* «быть красным» (о масти животных) — *паҕдь* «быть красным» (о предметах).

В подгруппу B_2 входят синонимы, выражающие абстрактное и конкретное понятия: *ӈаладь* «быть одинаковым вообще»— *йарудь* «быть одинаковым по количеству», *йалкредь* «быть одинаковым по объему» (о жидких и сыпучих телах), *веркедь* «быть одинаковым по ширине», *вулкидь* «быть одинаковым по высоте», *раҕадь* «быть одинаковым по толщине», *рурӈудь* «быть одинаковым по форме», *ӈызидь* «быть одинаковым по росту и разме-

[20] Г. А. Отаина, О названиях цвета в нивхском языке, «Труды ДВНЦ АН СССР», Серия историческая, 8 — История, социология и филология Дальнего Востока, Владивосток, 1971.

ру», *ӈытыдь* «быть одинаковым по возрасту». Наличие синонимов группы В говорит о детализации пространственных и других представлений у нивхов.

В группу Г входят синонимы функционально-речевые: а) *маӈгладь* и *к'аӡзладь* «быть могучим», первое слово встречается и в бытовой речи, и в фольклорных текстах, второе характерно для фольклорных текстов; б) *намадь* и *урдь* «быть хорошим», *ыкидь* и *элвердь* «быть плохим». Вторые слова из каждой пары чаще всего функционируют в качестве компонентов сложного слова: *пандэлвердь* «быть некрасивым», *ӄ'оӡаэлвердь* «быть дурного нрава», *ӄ'оӡаурдь* «быть добродушным».

Слова — омонимы из КГ распадаются на две группы, в первую входят омонимы внутри разряда КГ, например, *пердь* «быть тяжелым» и «быть соленым», *ӄ'атӈдь* «быть вспыльчивым» и «быть крепкосоленым». Второе значение в каждой паре явно производное, так как известно, что нивхи стали употреблять соль в пищу лишь в прошлом веке. Во вторую группу входят омонимы, охватывающие и КГ и НГ: *эӡдь* «быть быстрым» и «рождать» (о животных), *к'инӈудь* «быть красивым» и «хорошо относиться», *ӿадь* «быть прогорклым» и «стрелять».

Зафиксированные КГ образуют сорок пар антонимов. Большая часть из них обозначает качества предметов, меньшая — людей. Примеры: *веудь* «быть глубоким» — *ӈыздь* «быть мелким», *лоӄрдь* «быть свежим» (о пище) — *нынүидь* «быть несвежим» (о пище), *энӡаврдь* «быть ленивым»— *hарӡодь* «быть трудолюбивым».

2. Вопросы словообразования в нивхском языке рассматривались в работах В. З. Панфилова как специально, так и в связи с проблемой слова в нивхском языке [21]. При классификации типов сложных слов В. З. Панфилов впервые четко разграничивает сложные слова и словосочетания, по моделям которых образуются сложные слова.

Основным способом образования КГ является основосложение. По способу сложения основ КГ образуют две группы: А — нередуплицированные, Б — редуплицированные.

А. По составу компонентов сложные слова этого типа распадаются на следующие подгруппы: а) основа существительного + основа КГ — *турурдь* «быть стройным» (*тур* «фигура» + *урдь* «быть хорошим»), б) основа НГ + основа КГ — *валтьмаӈгдь* «быть лживым» (*валттъ* «лгать» + +*маӈгдь* «быть сильным»), в) основа существительного + основа НГ — *ӄ'ысӄаврдь* «быть несчастливым» (*к'ыс* «счастье» + отрицательный глагол), д) деепричастие на *-т/-р* + основа КГ — *нокркылыдь* «быть овальным» (букв. «будучи узким, длинный»).

Б. Редуплицированные КГ по характеру удваивающихся основ распадаются на следующие подгруппы: а) удвоение образных слов — *hарhардь* «быть колючим», образное слово *hар* передает ощущение при прикосновении к чему-либо колючему, б) удвоение основ НГ — *кетвкетвдь* «быть липким», ср. *кетвдь* «прилипнуть», в) удвоение основ КГ — *тестездь* «быть медлительным», ср. *тездь* «быть слабым», г) удвоение основ существительных — *луклуктъ* «быть лохматым», ср. *лук* «лохматая собака».

Морфологическое словообразование КГ в отличие от НГ непродуктивно и осуществляется в отдельных случаях с помощью суффиксов *-ки/-ке*, *-у*: *мать-кидь* «быть маленьким», ср. *мать-токонь* «мизинец» (букв. «малый палец»), *тивудь* «быть прохладным», ср. *тивдь* «быть холодным».

---

[21] В. З. Панфилов, Сложные существительные в нивхском языке и их отличие от словосочетаний (К проблеме слова), ВЯ, 1958, 1; его же, Проблема слова и «инкорпорирование» в нивхском языке, ВЯ, 1960, 6; его же, Грамматика и логика, М.— Л., 1963; его же, Грамматика нивхского языка, ч. 2, М.— Л., 1965. стр. 23—39.

Существуют единичные случаи конверсии: *ӄ'унудь* «быть светлым» и и *ӄ'уну* «рассвет»; лексикализации: *ньмариӄ'озийкидь* «быть очень вспыльчивым, нетерпимым». Морфологическое членение: *ньма* «ручная четверть»+ + *ри* усилительная частица + *ӄ'оз* из *эӡздь* «думать» + *йикидь* «не мочь».

Около трети всех КГ являются непроизводными словами. Корень чаще всего в таких словах состоит из закрытого слога: *hапть* «быть горьким», *тамдь* «быть многочисленным», *ӄ'авдь* «быть горячим». Реже встречаются слоги с двумя согласными в конце: *воскть* «быть косым», *т'аӈрдь* «быть ловким», еще реже — со стечением согласных в начале слога: *ньваӈдь* «быть наглым», *п'ӈаӡдь* «быть молодым». Закрытый слог со стечением трех согласных в конце встречается в единичных случаях: *перӄрдь* «быть кривым».

Односложный корень может быть открытым прямым: *ӄ е-дь* «быть худым», *то-дь* «быть толстым», *ма-дь* «быть близким»; закрытым обратным: *ул-дь* «быть высоким», *эр-дь* «быть гладким» (о воде).

В плане словообразования, таким образом, КГ отличаются от НГ наличием особого способа основосложения, непродуктивностью морфологического словообразования, а также конверсии и лексикализации.

3. Последовательность рассмотрения грамматических категорий по возможности соответствует принятой в «Грамматике нивхского языка» как наиболее логичной и удобной и при анализе НГ.

3.1. В нивхском языке понятие совершенности и несовершенности действия отсутствует, однако для случаев, когда глаголы характеризуют различные способы протекания действия, в специальной литературе используется термин «вид», так как видовые показатели, как правило, имеют формообразующую функцию и не изменяют лексического значения глагола.

Вид сохранения качества выделяется нами впервые, он характерен для КГ и выражается суффиксом *-ӷыта* [22]. Образующие этот вид КГ разбиваются на две группы: А) обозначаемое качество продолжает оставаться неизменным. Значение этого суффикса подтверждается взаимозаменяемостью с деепричастным суффиксом *-датар* (см. ниже), например, *чо локрдь* «рыба свежая»— *чо локрӷытадь и чо локртатадь* «рыба остается свежей»; Б) подчеркивается постоянство качественного признака: *чаӈгыта ган* «белая собака», *ныньквер ӷыта умгу* «широколицая женщина».

Из четырех способов, посредством которых НГ образуют вид обычности [23], КГ образуют этот вид только одним способом, а именно: путем сочетания деепричастия на *-т/-р* и вспомогательного глагола *hадь*, сливающегося с деепричастием: *Ты ырух лых ӣрти ыкирhадь* «В это время погода всегда бывает плохой»; *Ты чир ыйв алс тамрhадь* «Эта сопка вообще бывает изобильна ягодой».

Вид становления качества соответствует виду продолженного действия в НГ [24] и образуется с помощью суффикса *-иву*. КГ образуют этот вид почти без исключения. Примеры: *лыӷи ма тарзедь* «кетовая юкола подсохшая»— *лыӷи ма тарзеивудь* «кетовая юкола начинает подсыхать»; *эри ӈыздь* «речка мелкая»— *эри ӈызийвудь* «речка начинает мелеть».

КГ в отличие от НГ не образуют видов многократности и законченности действия. Кроме того, КГ не образуют аналитических форм: а) со значением «попытки совершить действие», образуемой деепричастием на *-т/-р* и глаголом *н'удь* «смотреть»: *ӷӷур н'удь* «попытался позвать», *т'улер н'удь*

---

[22] О значении суффикса *-ӷыта* в НГ см.: В. П. Недялков, Г. А. Отаина, А. А. Холодович, Диатезы и залоги в нивхском языке, в кн.: «Типология пассивных конструкций. Диатезы и залоги», Л., 1974.

[23] В. З. Панфилов, Грамматика нивхского языка, ч. 2, стр. 75—76.

[24] В. З. Панфилов отмечает, что суффикс *-иву* в одном частном случае — у некоторых глаголов — может указывать «на начало, приступ к действию» (там же, стр. 77).

«попытался выглянуть», б) со значением «не добиться чего-либо», образуемой с помощью деепричастия предшествования и глагола *тездь* «быть слабым»: *ҥыҥийрот тездь* «не доискаться».

Таким образом, глагольность качественных слов обусловила возможность образования видов. Однако семантическое значение накладывает на эту возможность значительные ограничения.

3.2. Формы выражения количественной модификации признака — грамматические формы, которые выражают степень проявления действия в НГ и качества в КГ.

3.2.1. Формы выражения усиления признака рассматривались как степени сравнения прилагательных [25]. В. З. Панфилов, выделивший рассматриваемую глагольную форму, указывает способы выражения усиления качества: путем удвоения основы, путем внутренней флексии, посредством суффикса *-кар* [26] и сочетанием этих способов.

Способы выражения интенсивности качества дифференцируются в зависимости от грамматической функции КГ: одни из них используются и в функции определения, и в функции сказуемого, а другие — лишь в функции определения.

Из способов выражения интенсивности качества (которые характерны для КГ как в атрибутивной, так и в предикативной функции) нами выделяется суффикс *-γыт* (в НГ ему соответствует одно из значений вида законченности действия). КГ с показателем *-γыт* распадаются на смысловые группы, обозначающие: а) качество пищи — *ӄала-γыт-ть* «быть совсем зеленым», *тискыр-γыт-ть* «быть совсем сырым», б) свойства, воспринимаемые зрительно — *чилчилы-γыт-ть* «быть совсем замызганным», в) сходство по качественному признаку — *раӡа-γыт-ть* «быть совсем одинаковым по толщине». КГ последней группы требуют обязательного оформления показателем мн. числа, хотя в целом употребление его в нивхском языке факультативно. По-видимому, суффикс *-γыт* в этом случае придает дополнительное, распределительное значение.

В тех случаях, когда показателем повышенной интенсивности выступает интонационная долгота гласного, изменение последнего свидетельствует о повышенной эмоциональности высказывания: *товлā ōла* «весьма белый ребенок»— *товлū ōла* «беленький ребенок», ср.: *товла ова* «белая мука» (*-ла* без долготы выражает постоянство признака).

Способом удвоения основы интенсивность качества в КГ выражается лишь в атрибутивной функции. Абсолютное большинство слов этой группы обозначает признаки предметов и лишь в единичных случаях — людей. Удвоение основ в этом случае имеет часто и распределительное значение, т. е. интенсивность качества характеризует каждый элемент того множества, которое обозначено определяемым именем. Примеры: *Изγыттот ӄалаӄала дюску тьсаγир эспт, ӡотьт ршатот, йэтьт иньта* «Разделав жирные-жирные (куски) мяса, наколов, изжарили, сняли и ели»; *Вымык фазур ӄ'ола-ӄ'ола hāску ӄ'егура* «Раздев его мать, в богатейшие одежды переодела».

Интенсивность качества в атрибутивной функции выражается с помощью суффикса *-кар* в следующих КГ: *вердь* «быть широким», *кылдь* «быть длинным», *ӄардь* «быть жирным», *пилдь* «быть большим», *тодь* «быть толстым», *улдь* «быть высоким». Эти слова обозначают ярко выраженно измеримые свойства — длину, высоту, величину и т. п. Например: *hы ӄоӈарла ӄ'ныk озух толкар ӄой паньдь фуру* «У основания того длинного мыса очень толстая лиственница растет будто бы».

---

[25] Е. А. Крейнович, В. Н. Савельева. указ. соч., стр. 151—153.
[26] В. З. Панфилов, Грамматика нивхского языка, ч. 2, стр. 82.

Будучи глагольными словами, КГ в функции сказуемого не отличаются от НГ. Однако, отличаясь от НГ по своим вещественным значениям, в функции определения они «выработали» свои особые способы выражения интенсивности.

3.2.2. Слабое проявление качества, неполнота его, выражается суффиксом *-йо* (в НГ он сигнализирует о том, что действие проявляется в неполном объеме): *алс ненидь* «ягода сладкая»— *алс нени-йо-дь* «ягода сладковатая», *ӈалсӄо ги* «грязная обувь»— *ӈалско-йо ги* «грязноватая обувь». Около пятидесяти КГ, либо обозначающих количественно неизменяемые признаки (*морӄадь* «быть живым»), либо непосредственно семантикой слова выражающих степень качества (*лаӄадь* «тепловатый»), с суффиксом *-йо* не сочетаются.

Материалы фольклорных текстов свидетельствуют о том, что и КГ, и НГ могут выражать ослабленную степень действия и качества путем удвоения основы, что также находит аналогии в языках Юго-Восточной Азии [27]. Например: *Ни ырӈарк п'рыдь, ҺоӇдь ӑр ыркы, тывыныӇар маӈгмаӈгта* «Я давно пришел, ох и замерз, зашел бы, да стесняюсь немного»; *Умгу Һыматялаӑмадь: виф паньдь варк ӈала-ӈалара* «Женщина на того юношу посмотрела: на ее мужа похож чуть-чуть».

Таким образом, выражение количественной модификации признака в КГ осуществляется разными способами, которые отчасти перекрещиваются и дополняют друг друга. В целом же КГ рассмотренной категории обнаруживают свою специфику как особый разряд глаголов.

3.3. Глагольная форма на *-ла* в КГ является полифункциональной: суффикс *-ла* может указывать на постоянство признака [28], на усиленную степень проявления признака [29], иметь выделительное значение [30]. По признаку сочетаемости с суффиксом *-ла* КГ распадаются на три группы. КГ первой группы, употребляющиеся в атрибутивной функции только с суффиксом *-ла*, характеризуют предмет, реже людей, тем или иным признаком как постоянным качеством. Значение суффикса *-ла* здесь сближается с суффиксом *-ӯыта*, подчеркивающим постоянство признака (см. выше). Примеры: *ҺарӇола нивхгу премия водьӯу* «Трудолюбивые люди получили премию»; *Ыӈтик тыкла дыф п'идь* «Бабушка живет в теплом доме».

Во вторую группу входят КГ, которые не оформляются суффиксом *-ла*: а) из-за конкретности выражаемых значений: *веркедь* «быть одинаковым по ширине», *асӄадь* «быть младшим», б) так как постоянство признака выражается посредством *-ӯыта*: *чаврдь* «быть серым» (о масти).

Слова третьей группы, употребляясь без *-ла*, обозначают временные признаки, а оформляясь им — постоянные. Ср.: *Ни Һиньӈый Һонтӄ ршодь* «Я несу легкий куль», но: *Ыӈтык Һиньӈыйла му лытть* «Отец сделал легкую лодку» (легкую в ходу, что обусловлено конструкцией или материалом).

КГ с суффиксом *-ла* в изъявительном наклонении на *-дь/-ть* могут субстантивироваться: *урдь* «быть хорошим»— *урладь* «хороший», *пандурдь* «быть красивым»— *пандурладь* «красавец». Отдельные КГ при субстантивации получили дополнительное лексическое значение: *Һорладь* «1) вкусный, 2) блюдо из кореньев».

КГ, обозначающие качества людей, могут также субстантивироваться,

---

[27] Ю. А. Горгониев, Грамматика кхмерского языка, М., 1966, стр. 202; Е. В. Пузицкий, указ. соч., стр. 148.

[28] Е. А. Крейнович, В. Н. Савельева, указ. соч., стр. 148.

[29] Takesi Hattori, Versuch einer Phonologie des Südostgiljakischen, отд. отт. из «Journal of Hokkaido Gakugei University», Japan, Section 16A, vol. 13 os. 162, August 6 December, 1962.

[30] В. З. Панфилов, Грамматика нивхского языка, ч. 2, стр. 85—87.

будучи оформленными суффиксом *-к*: *ҡыҡгурлак* «человек с хорошими волосами» (букв. «волосохороший»), *оньвилак* «рослый, великан».

Субстантивировавшиеся КГ принимают все именные падежные суффиксы: *Иф урладьүгир парк йэскидь* «Он торговал только хорошими (товарами)». Здесь суффикс *-үу* — показатель мн. числа, суффикс *-гир* — показатель твор. падежа.

3.4. КГ, выражая качественные признаки в их динамике, обладают категорией времени, отличаясь от НГ лишь тем, что в будущем времени в нераспространенном предложении осложняются дополнительным модальным оттенком вероятности действия [31].

3.5. КГ характеризуются всеми видами наклонений, кроме повелительного. Некоторые КГ могут оформляться суффиксом *-йа* (выражающим повеление в НГ), но в этом случае они имеют не повелительное, а уступительное значение: *Пилйа, матькийа — сык чорҳ видьүу* «И стар, и мал — все ушли на разделку рыбы». НГ имеют форму юссива с показателем *-ҕазо*: *имҡ виҕазо* «пусть они идут». КГ, оформляясь этим суффиксом, выражают пожелание придать те или иные свойства предметам: *к'е пилҕазо* «пусть сеть будет большой», *тыф ҳыркҕазо* «пусть дом будет низким». Форма изъявительного наклонения, образуемая суффиксом *-к* и вспомогательным глаголом *ҳадь*, характерна только для КГ и имеет дополнительное уменьшительно-ласкательное значение: *бла товдь* «ребенок белый» — *бла товлӣк ҳадь* «ребенок беленький».

Форма изъявительного наклонения на *-ра*, осложненная суффиксом *-у*, приобретает значение предупреждения, предостережения: *Четьв нокура, верйогуйа* «Шов (смотри) узкий, сделай пошире».

Нулевая форма изъявительного наклонения (в том числе и НГ) отличается выразительностью и экспрессивностью, сближаясь тем самым с изобразительными словами. Примеры: *Э, вымык ат, ҳаүитли, п'рыв ми фидатар, оваго, рақхо п'рыба чар, п'уйди ыки* «Ну, а его мать, конечно, сидела в своем доме, откуда ни возьмись, и муки, и крупы — полным-полно и не выйти никак». КГ в этом наклонении, в отличие от НГ, не употребляются в функции сказуемого вопросительного предложения.

Сослагательное наклонение КГ образуется только одним способом: суффикс *-ны* + частица *фор(а)*: *тяқо т'уньныдь фора...* «нож был бы острым...».

Синонимичные суффиксы *-бар* и *-ҕар*, выражающие категоричность утверждения, отражают говорные отличия. Первый из них более употребителен в говорах Нижнего Амура, а второй — в говорах Амурского лимана.

Наиболее распространенным способом образования проблематического наклонения является сочетание КГ в форме на *-дь/-ть* и вспомогательного глагола *ҳайра*. Наклонение является той грамматической категорией, в которой особенно ярко отразилась близость КГ и НГ.

4.1. История изучения деепричастных форм и общая характеристика их достаточно полно освещена в литературе [32]. Нивхские деепричастия в синтаксическом плане отчасти сближаются с наречиями. Те и другие могут выполнять функцию обстоятельства при сказуемом, однако деепричастия, будучи глагольными словами, обозначают действие, а большая часть из них выполняет функцию сказуемого придаточного предложения.

---

[31] Г. А. Отаина, Категория времени качественных глаголов в нивхском языке, «Труды ДВНЦ АН СССР», 8 — Материалы по истории Дальнего Востока (история, археология, этнография, филология), Владивосток, 1973.

[32] Е. А. Крейнович, Нивхский (гиляцкий) язык, в кн.: «Языки и письменность народов Севера», ч. 3, М.— Л., 1934, стр. 213—216; В. З. Панфилов, Грамматика нивхского языка, ч. 2, стр. 138—155.

Большинство деепричастий КГ связано с обозначением понятия времени: они указывают на последовательность и длительность действия, на одновременность состояния и действия. Кроме временных, деепричастия КГ выражают причинные и уточнительные значения. Деепричастия КГ, в отличие от НГ, не имеют деепричастных форм с каузативным значением и деепричастий цели.

Деепричастия КГ распадаются на: 1) выполняющие преимущественно роль сказуемого придаточного предложения, 2) выполняющие роль обстоятельства при сказуемом. В первую группу входят деепричастия одновременности (суффикс *-ӈан*), сопроводительные (суффикс *-иво*), результативности (суффикс *-ба/-па*), предела в прошлом (суффикс *-фке*), состояния (суффикс *-ке*), достигательные (суффикс *-ге*), последние выделяются нами впервые. Достигательные деепричастия близки по значению к деепричастиям результативности, от которых они отличаются отсутствием оттенка мгновенности. Примеры: *Лур теӄаге имӈ п'ово лахт видь* «Как только лед стал крепче, они сразу поехали в гости». Остальные деепричастия этой группы не имеют особых отличий от деепричастий НГ.

Во вторую группу входят пояснительные деепричастия (суффикс *-т/-р*), предшествования (суффикс *-тот/-рор*), одновременного состояния (суффикс *-датар/-датат* и *-дурӈур/-дурӈут*). Пояснительные деепричастия обозначают различные качества, обладая которыми, субъект может совершать те или иные действия, выраженные финитным глаголом: *Иф ырдыманӈгр ӈекила умгу гедь* «Он, будучи очень хитрым, взял (женился) великолепную женщину»; *Ты эа, ты эа, тола гой мур, визвизыр пандйа* «О, этот гребень, толстой лиственницей став, густо-густо расти». С помощью пояснительных деепричастий образуются конструкции: а) в сочетании с *твидь* «закончить»— *чам лур твидь* «шаман закончил петь» (значение окончания действия), б) в сочетании с глаголом *нюдь* «смотреть» *γγγур нюдь* «попытаться позвать» (значение попытки совершить действие), в) в сочетании с суффиксом *-ины* и глаголом *к'еварадь* «часто что-то делать»— *ōла тоиныр к'еварадь* «ребенок часто плачет» (значение склонности к чему-либо). Названные конструкции образуют только НГ. Деепричастия КГ, наряду с НГ, образуют в сочетании с суффиксом *-ины* и глаголом *ӯмудь* «стараться, добиваться» (вне этого контекста глагол имеет значение «сражаться, состязаться») конструкцию со значением «стремиться к чему-либо». Например, *Иф ны вескариныр ӯмудь* «Он обязательно хочет быть сильным» (т. е. прилагает усилия). Пояснительные деепричастия КГ, в отличие от НГ, не употребляются в инфинитивной функции.

Значения деепричастий, выражаемых суффиксами *-датар/-датат* и *-дурӈур/-дурӈут*, синонимичны, они характеризуют состояние субъекта в момент совершения действия, выраженного глаголом-сказуемым. Близость значений этих деепричастий подтверждается их взаимозаменяемостью, ср.: *алс ненидатар кыӈдь* и *алс ненидурӈур кыӈдь* выражают один и тот же смысл «ягода, будучи сладкой, замерзла». Обе эти формы близки деепричастиям на *-ке*, от которых, помимо функции, отличаются тем, что не выражают причинной связи.

Между формами на *-датар* и *-дурӈур* существует стилистическая разница, последний суффикс оформляет чаще всего слова с отрицательным значением: *час аркидурӈур тёскть* «часы (как) отставали, (так) и сломались».

Некоторые КГ имеют не все деепричастные формы, что, по-видимому, обусловлено их лексическим значением.

4.2. Под термином «причастие» согласно одной из существующих в литературе по нивхскому языку точек зрения [33] и принятой автором, пони-

[33] В. З. Панфилов, Грамматика нивхского языка, ч. 2, стр. 134.

мается глагольная форма, которая служит определением при имени существительном. Причастия КГ сочетаются с временными, видовыми показателями, с суффиксами выражения количественной модификации признака, сохраняют глагольное управление [34].

Таким образом, совокупность всех грамматических признаков свидетельствует о том, что слова со значением качества в нивхском охватываются глагольной системой. КГ, отличаясь от НГ по вещественным значениям, характеризуются некоторой грамматической «дефективностью». Тем не менее КГ и НГ представляют собой две разновидности единого значения признака.

КГ в нивхском языке по сравнению с соответствующими им словами в корейском, вьетнамском и других языках обнаруживают большую близость к НГ. Качественные слова в указанных языках обладают целым рядом свойств и особенностей, которые позволяют разграничивать глаголы и прилагательные в пределах лексико-грамматической категории предикатива.

Сформировавшаяся группа КГ свидетельствует, что в нивхском языке передается абстрактная идея качества. В мышлении нивхов различается предметность, процессуальность, качество. КГ выражают качество непосредственно своим лексическим содержанием. Наряду с этим идея качества (не изменяемого по интенсивности и во времени) может передаваться синтаксически, путем соположения имен. Качественные признаки передаются также и НГ, оформленными суффиксом *-ла*. Следовательно, КГ являются главным, но не единственным способом передачи идеи качества.

Нивхский язык примыкает к той группе языков, в которой качественные слова являются глагольными. Дальнейшее изучение КГ по другим диалектам даст возможность сделать окончательные выводы о характере параллельных соответствий в нивхском и языках Юго-Восточной Азии.

---

[34] Г. А. Отанна, Причастие в нивхском языке, «Труды ДВНЦ АН СССР», Серия историческая, 8 — История, социология и филология Дальнего Востока, Владивосток, 1971.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1976

ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ

Р. Р. ГЕЛЬГАРДТ

НЕКОТОРЫЕ ОБЩЕЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ИДЕИ И ФОЛЬКЛОРИСТИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ АКАД. Н. Я. МАРРА В ОСВЕЩЕНИИ НАУЧНОЙ КРИТИКИ

В 1966 г. С. Г. Бархударов писал о необходимости строго объективного и тщательного рассмотрения теоретических идей, выдвинутых акад. Н. Я. Марром и акад. И. И. Мещаниновым, а также фактов, которыми они оперировали. Перед историей филологии все еще остается не вполне решенной задача «выявить в трудах этих ученых и всей школы в целом какие-то элементы положительные, так как действительно странным было бы думать, что долгие годы господства „нового учения о языке“ войдут в историю как непрерывный поток ошибок и длинная серия сплошных заблуждений» [1].

И в самом деле, такое впечатление сложилось после лингвистической дискуссии 50-х годов. Впечатление переходило в уверенность. Особенно после знакомства научной общественности с результатами рассмотрения лингвистами многих работ покойного академика. Все они получили резко отрицательную характеристику, распространявшуюся на теорию происхождения языка, концепцию стадиальности в развитии языка и мышления, на теорию единого глоттогонического процесса, на установленные Н. Я. Марром семантические законы (в связи с вопросом об отношении истории языка и истории материальной культуры), на трактовку предмета грамматики, понятия грамматической категории, членов предложения и частей речи, на идеи в области лингвистической географии, лингвистической палеонтологии, лексикологии, родства языков, их смешения, скрещения, исторического развития и проч.

Безоговорочно отрицательную оценку получили и работы Н. Я. Марра, в которых он оперировал фактами младописьменных и бесписьменных языков, материалами дагестанских языков, абхазского, адыгейского, чувашского языка, языков угро-финских, романских, германских, русского языка и др. Многие статьи большого сборника, вышедшего вскоре после дискуссии, так и озаглавлены: «Ошибки Н. Я. Марра...», «Методологические ошибки...», или: «Критика взглядов Н. Я. Марра...», «Критика антимарксистских концепций...», «О некоторых вульгарно-материалистических толкованиях...» и проч. Такое ограничение задач научной критики соответствовало установкам, четко сформулированным в заглавии двух томов этого издания [2].

---

[1] С. Г. Бархударов, Предисловие к кн.: Р. Р. Гельгардт, Избранные статьи. Языкознание. Фольклористика, Калинин, 1966, стр. 16.

[2] «Против вульгаризации и извращения марксизма в языкознании», ч. 1 — М., 1951; ч. 2 — М., 1952.

Поставленная задача «разоблачить раздутый авторитет», выявить то, что не выдерживает критики и что заслуживает названия «болезненного нароста на теле советского языкознания», предопределила тенденциозную односторонность и публицистический стиль оценочных суждений. Весьма сомнительно, что историк отечественной филологии вполне удовлетворится оценкой идей Марра как явления патологического, «заимствованного из мутных источников реакционной буржуазной философии», как «чудовищного извращения», «тарабарщины», «эквилибристики», «жонглирования» и даже «болота мистицизма и поповщины». Более сдержанными были высказывания о Н. Я. Марре этнографов, историков культуры [3] и фольклористов. Все они связывали свою критику с общелингвистическими идеями Н. Я. Марра. Вот почему нашим замечаниям о его работах, причастных к науке об устном народно-поэтическом творчестве, должна предшествовать вводная часть. Это историографический обзор, в котором затрагиваются некоторые проблемы общей лингвистики.

Первый опыт объективной оценки большей части научного наследия Н. Я. Марра был сделан филологом-востоковедом В. И. Абаевым [4]. Факт публикации серьезной научной статьи о покойном академике, имя которого стало едва ли не одиозным, знаменовал собой отказ от остракизма и наметившийся сдвиг к непредвзятой, вдумчивой характеристике роли Марра в истории филологии, трактуемой весьма широко.

Следуя фактам, прочно вошедшим в историю, В. И. Абаев отметил, что «Н. Я. Марр создал, в сущности, новую отрасль кавказоведения: армяно-грузинскую филологию, понимаемую не как простая сумма армянской и грузинской филологии, а как единая дисциплина, основанная на цельной исторической концепции об исконном культурном единстве и непрерывном взаимодействии двух древних христианских народов Закавказья» (стр. 91). Эта характеристика частично совпадает с содержанием рекомендации кандидатуры Н. Я. Марра в Академию наук, подписанной (1909 г.) академиками С. Ф. Ольденбургом, В. В. Радловым, П. К. Коковцевым и др.

По компетентному мнению В. И. Абаева, лексико-семантические разыскания, построенные на основе лингвистических источников, хорошо Марру известных, останутся его ценным вкладом в науку об армянском и картвельских языках (стр. 98). Идея стадиальности не отвергается. О ней В. И. Абаев упоминает также в связи с опытом применения Марром сравнительного метода в лексикологии и семасиологии. Знаменательна уверенность ученого критика в том, что «когда историко-сравнительная семасиология поднимется на уровень подлинной науки... она придет — в той или иной форме — к идее стадиальности и признает правильность многого из того, что найдено Марром. Это касается в особенности того периода лексико-семантических изысканий Марра, когда он еще твердо держался почвы Кавказа и считался с фонетическими закономерностями конкретных языков» (там же).

В. И. Абаев, будучи сторонником теории субстрата, возражал против научно не обоснованных поисков «яфетического субстрата» в самых различных языках. Вероятно, доводы против или в пользу теории субстрата (но не в предложенной Марром глобальной трактовке) следует рассматривать применительно к каждому конкретному объекту лингвистического исследования. Во всяком случае, будущий историк отечественной фило-

[3] См., например: С. П. Толстов, Итоги перестройки работы Института этнографии АН СССР в свете труда И. В. Сталина «Марксизм и вопросы языкознания», «Советская этнография», 1951, 3.

[4] В. И. Абаев, Из истории языкознания. Н. Я. Марр (1864—1934). К 25-летию со дня смерти. ВЯ, 1960, 1 (далее указания на стр. даны в тексте).

логии учтет мнение такого видного представителя современного кавказоведения, каким является В. И. Абаев, который признает ценными находки в армянском языке неиндоевропейских субстратных элементов, оставшихся как пережиток языка первоначальных жителей Армении. Исследования Н. Я. Марра о скрещенном характере армянского языка названы «весьма плодотворными» (стр. 92). Полностью оправдавшим себя считает В. И. Абаев применение теории субстрата и скрещения к языкам сванскому, осетинскому (там же). Что же касается «универсализации идеи языкового скрещения», то она «таила в себе опасность, которая не замедлила вскоре обнаружиться. Когда Н. Я. Марр восстал против односторонней трактовки армянского языка в аспекте только его индоевропейской природы, он был во всеоружии фактов — многочисленных, точных и, в большинстве, доказательных. Но постепенно выискивание яфетических элементов во всех языках обращается у Марра в своеобразную манию» (стр. 92—93). Вообще же путь, пройденный от яфетических элементов в языках Армении к яфетическим элементам в языках всего мира характеризуется как «постепенный отход от точных лингвистических методов» (стр. 93). В критическом плане упомянуто В. И. Абаевым «весьма прямолинейное и упрощенно-социологическое» понимание Марром идеологической надстройки [5], классовости языка, за которую он принимал некоторые отражения в речи классовых идеологических позиций говорящих — представителей разных социальных групп языкового коллектива. Автор статьи затрагивает и другие проблемы, остающиеся дискуссионными или ошибочно разрешенные академиком, который постоянно пребывал в напряженных творческих поисках и нередко сам отказывался от своих прежних утверждений, сделанных в категорической форме. Не останавливаясь на всех замечаниях В. И. Абаева, изложенных в его критическом очерке, упомянем лишь, что автор наметил правильный путь для историографа и показал образец академического стиля, не так уж часто встречающегося тогда, когда возникает настоятельная потребность отграничить ошибки, заблуждения от того, что приближается к научной истине или что допускает возможность различных интерпретаций [6].

Нет сомнения, что научная критика и история филологии впоследствии свяжет некоторые теоретические положения, выдвинутые Н. Я. Марром, с идеями современной лингвистики, а также поставит их в перспективу истории лингвистических учений. Это позволит установитть преемственность (или параллелизм) развития научных воззрений и принципов, теорий и понятий. Так, например, некоторые языковеды решительно отрицали продуктивность теории субстрата, другие же (в их числе и Н. Я. Марр) были ее сторонниками. А. Мартине считал, что в целях группировки социально-языковых ситуаций применение категорий субстрата, суперстрата, адстрата представляется слишком грубым, а поэтому и неприемлемым [7]. По мнению Б. Гавранка, субстрат не относится к главным факторам изменений языка [8]. О непродуктивности теории субстрата говорили многие лингвисты. Предлагалось раз и навсегда покончить с мистической или атавистической интерпретацией субстрата (Е. Уотма). Вероятно, такая категоричность отрицательной оценки распростра-

[5] Вопрос об отношении между языком и надстроечными категориями поставлен в моей статье, озаглавленной «Несколько мыслей о программах курсов общего языкознания и введения в языкознание» (ФН, 1966, 2).

[6] См. также: В. И. Абаев, Лингвистический модернизм как дегуманизация науки о языке, ВЯ, 1965, 3.

[7] А. Мартине, Распространение языка и структурная лингвистика, «Новое в лингвистике», VI. М., 1972; Р. Фаукес, Английская, французская и немецкая фонетика и теория субстрата, там же.

[8] Б. Гавранек, К проблематике смешения языков, там же, стр. 95.

нялась как раз на универсализацию теории субстрата, на отвлечение от исторического и этнологического истолкования субстратных элементов. Сторонники теории субстрата (А. Росетти, М. Павлович, В. Таули и др.) приводили обосновывающие ее факты языков, которые были объектами их изучения, не распространяя своих наблюдений и выводов, как это делал Н. Я. Марр, на все известные им языки.

Этимологические (палеонтологические) разыскания Марра, вероятно, следует сопоставить с лексикологическими исследованиями Б. Мункачи. Полезно было бы учесть еще работы К. Уленбека и Н. Холмера, рассмотревших типологические отношения между языками кавказскими и баскским языком [9].

В контексте теоретических проблем современной лингвистики будут рассмотрены и идеи Н. Я. Марра о смешении, или скрещении, языков как процессе, порождающем новые языковые системы или новые качественные характеристики языка. Подступом к решению этой задачи можно считать некоторые комментарии, сделанные в одной из статей А. Росетти на основании его знакомства с трудами Н. Я. Марра и И. И. Мещанинова [10]. Небезынтересным было бы сопоставить те работы Марра, в которых выражена теория языковых скрещений как всеобщего принципа единого глоттогонического процесса, с такими трудами А. Тромбетти, как «Elementi di glottologia» (1922) и «L'unita d'originae del linguagio» (1905).

Вопрос о глоттогенезе едва ли можно считать не подлежащим дальнейшему обсуждению. Идея Марра о первичности знаково-коммуникативных форм в виде кинем не нова и не оригинальна. Г. Шухардт полагал, что первобытному человеку «во всяком случае нельзя отказать... в языке жестов, которые, являясь в настоящее время спутниками человеческой речи, некогда были в известной степени ее предшественниками» [11].

Против выдвинутой Марром гипотезы о первичности кинетической коммуникации свидетельствует функциональная характеристика участков головного мозга, в которых совпадают координационные структуры, управляющие речью и мимикой, жестикуляцией. В пользу же изначальности преимущественно кинетических коммуникативных знаков выдвигают установленный факт более раннего развития у человеческого зародыша центра мозга, управляющего движением руки [12].

Марр называл «диалектическими» отношения между языком и мышлением. «Ведь сам предмет наш,— заявлял он,— речь как объект исследования — не один, не простая единица, язык не один, а единый в диалектическом единстве языка-формы и мысли-содержания, языка-оформления, с его техникой и мысли-содержания... мышления с его техникой» [13].

Развитие языка предполагает развитие органически связанного с ним мышления. Р. А. Будагов справедливо отметил, что «стадиальные исследования, изолированные от исследований в области мышления, стали

---

[9] См. также: Г. Шухардт, Баскский язык и языкознание, «Избр. статьи по языкознанию», М., 1950.

[10] А. Росетти, Смешанный язык и смешение языков, «Новое в лингвистике», VI.

[11] Г. Шухардт, Происхождение языка, «Избр. статьи по языкознанию», стр. 75—76; ср. также: Б. Рассел, Человеческое познание, М., 1957, стр. 93; А. Г. Спиркин, Происхождение языка и его роль в формировании мышления, сб. «Мышление и язык», М., 1957, стр. 14—15.

[12] См.: И. П. Павлов, Двадцатилетний опыт объективного изучения высшей нервной деятельности (поведения) животных, М., 1938, стр. 49; «Павловские чтения», III, М.— Л., 1949, стр. 320; см. также: «Труды VII Международного конгресса антропологических и этнографических наук», V, М., 1970, стр. 606—607.

[13] Н. Я. Марр, Избр. работы, II, [Л.], 1936, стр. 434 (далее том и стр. даются в тексте).

у нас гораздо беднее, чем они были в прошлом» [14], т. е. в 30 и 40-х годах. Нельзя не признать, что тогда теория лингвистической стадиальности разрабатывалась в связи с качественными характеристиками мышления, изменяющегося в процессе развития человеческого общества. Не имея никакого намерения призывать к пониманию стадиальности, предлагаемому Н. Я. Марром и И. И. Мещаниновым [15], Р. А. Будагов (и это соответствует действительности) утверждает, что тогда «было высказано немало интересных соображений», хотя, как показали в 50-е годы критики теории стадиальности, сторонники ее «часто упрощали вопрос, приравнивая тот или иной строй языка к тому или иному типу мышления». «К чему, однако, привела эта критика?»— спрашивает Р. А. Будагов. И отвечает: «Она привела к тому, что проблема стадиальности, как проблема сложных взаимоотношений между языком и мышлением, вообще была снята. Типология разных языков стала изучаться чисто формально» [16].

Филолог-фольклорист легко заметит, что произведения народно-поэтического творчества и древней художественной литературы служили источниками, позволявшими Марру проводить опыты по реконструированию мышления ранних стадий его развития.

Труды Н. Я. Марра отражают тенденции, наметившиеся еще в науке прошлого столетия. «Известный параллелизм в развитии лингвистики и этнографии XIX в. определяется их историзмом, генетическим подходом к изучению культуры, к диффузии элементов культуры и языка, о чем свидетельствуют лучшие. в особенности ранние, работы Н. Я. Марра» [17].

Предваряя предстоящий труд историка отечественной филологии, я позволил бы себе сказать несколько слов о собственно фольклористических интересах Н. Я. Марра и затронуть некоторые вопросы, имеющие прямое отношение к науке о народно-поэтическом творчестве как одном из компонентов того комплекса научных знаний, который входит в филологию [18].

Отзывы научной критики о фольклористических идеях Н. Я. Марра, о конкретных исследованиях, в которых привлечены источники устной народной словесности, отличаются абстрактностью и недостаточной доказательностью. Например, утверждали, что Н. Я. Марр и В. Я. Пропп стояли в одном лагере наивно мыслящих формалистов. Им приписывался отказ от признания исторической обусловленности образов эпоса и трактовка эпоса «как организма, существующего независимо ни от чего, самом по себе развивающемся и исчезающем» [19] Но ссылка в этой связи на книгу В. Я. Проппа «Исторические корни волшебной сказки» не представляется убедительной. И явно противоречит высказанному критиком суждению (или осуждению) Н. Я. Марра приводимая здесь же цитата из вводной статьи к коллективному труду о Тристане и Изольде, цитата, призванная иллюстрировать и даже доказать приписываемую Н. Я. Марру теорию имманентного, «ни от чего не зависящего» развития эпоса. Однако в цитируемой статье утверждается совсем иное. Здесь сказано:

---

[14] Р. А. Будагов, О предмете языкознания, ИАН ОЛЯ, 1972, 5, стр. 410.

[15] Ср.: И. И. Мещанинов, К вопросу о стадиальности в письме и языке, «Известия ГАИМК», т. VII, вып. 5—6, 1931, стр. 8 и сл.

[16] Р. А. Будагов, указ. соч., стр. 410.

[17] В. Розенцвейг, Основные вопросы теории языковых контактов, «Новое в лингвистике», VI, стр. 9, сн. 13.

[18] Лишь впоследствии, когда будут учтены оставшиеся в рукописях курсы лекций Н. Я. Марра и другие архивные материалы, история филологии получит возможность показать, какое место занимал фольклор в его научных исследованиях.

[19] В. И. Чичеров, Вопросы теории и истории народного творчества, М., 1959, стр. 231.

«основная мысль Н. Я. Марра о сюжете „Тристана и Изольды“ заключалась в том, что сюжет не рождается из ничего, но что его история есть история его развития». Далее речь идет об отражении «мышления космической стадии», обусловленном производственным процессом первобытного общества» [20].

В статье «О порочных взглядах Н. Я. Марра и его последователей» также говорится, что «во всех построениях этого направления фольклористики налицо спонтанное развитие произведения, развитие „самого из себя“, вне жизни и общественной деятельности людей» [21]. Понимание традиционного фольклора как культурного реликта безоговорочно объявлено порочным. Сама обращенность внимания филологов на архаичные жанры народно-поэтического творчества давала повод обвинять исследователей в том, что они «закрывали глаза на действительную жизнь, отворачивались от сегодняшнего дня» [22]. Сравнительно-исторический метод был назван продуктом «либерально-буржуазного литературоведения» [23]. И дальше: «Компаративизм и формализм — типичная черта и веселовщины, и тесно с ней связанной фольклористической концепции школы Н. Я. Марра. Борьба со взглядами Марра в фольклористике таким образом является частью общей борьбы с буржуазным космополитизмом в... филологии» [24].

Фольклорные темы и народно-поэтические источники, занимавшие в исследованиях Н. Я. Марра значительное место, свидетельствовали об интересе этого ученого к народной словесности. Он проявился уже в студенческие годы, когда молодой исследователь стал заниматься сюжетами легенд грузинского, вернее, кавказского эпоса. В самом начале филологических штудий его внимание направляется на грузинский фольклор и средневековую литературу. Находка рукописей древнегрузинского текста «Балавариани» и публикация одной из них под заглавием «„Мудрость Балавара“, грузинская версия „Душеполезной истории о Варлааме и Иоасафе“» [25] наводит на мысль сделать это произведение темой магистерской диссертации.

По первоначальному замыслу, изучение сборника притч Вардана должно было идти «в линии научно-исследовательских задач, поставленных А. Н. Веселовским» (I, стр. 271) и направляться приемами сравнительного исследования художественной литературы и фольклора. Но в процессе работы над этими источниками автор отошел от намеченных методических приемов и методологических принципов.

Тексты сборника стали рассматриваться не в аспекте компаративного литературоведения, а как источник, ценный для «истории армянской литературы известной эпохи» [26].

В фольклоре и произведениях древней литературы он видел не только объект филологического изучения, но и надежные документы, помогающие решить ряд проблем языка и мышления, истории народа, познать достижения общества в его материальном и духовном развитии, которые называются культурой. Марр в своей критике источников, какими может и должен пользоваться историк, не раз возвращался к мысли о ценности показаний, содержащихся в произведениях устной народной словесности.

---

[20] Там же, стр. 232.

[21] В. И. Чичеров, О порочных взглядах Н. Я. Марра и его последователей, «Советская этнография», 1952, 3, стр. 15.

[22] Там же.

[23] Там же, стр. 6.

[24] Там же, стр. 14.

[25] «Зап. восточного отд. Русского Археологич. общества», III, 1889, стр. 223—260.

[26] В. А. Миханкова, Николай Яковлевич Марр. Очерк его жизни и научной деятельности, М.— Л., 1949, стр. 66.

«Сказками и баснями, наравне с мифами, обратившими в этом смысле особое внимание Маркса, никак нельзя пренебрегать, как источниками осведомления о материальной базе за многие сотни тысяч лет исторической жизни человечества, человеческого общества, до сложения письменности и появления письменных памятников, признаваемых доселе единственными или собственными источниками истории человечества» [27].

Н. Я. Марр рассматривал бытование притч Вардана, изменение их во времени, влияние социальной среды и проч. Он установил отражение в текстах ориентации на определенный контингент читателей (слушателей) и включенность произведений в репертуар одной социальной группы. Впервые он открывает для себя некоторые закономерности в результатах миграции сюжетов. «Работая перед окончанием курса над медальной темой по грузинской литературе,— писал Н. Я. Марр,— я был материалами поставлен лицом к лицу с изумительным для себя фактом. Литературные сюжеты персидского народа, мусульманского, оказались воспринятыми как родные, национальные, неродственным с ним народом, притом христианским, именно грузинским, собственно его феодальным сословием, ныне же носителями его пережиточной идеологии — мешаной феодально-буржуазной интеллигенциею. В массовых же народных слоях те же сюжеты оказались запросто сплетенными,— казалось бы, чудовищное скрещение! — с христианскими легендами и исконным родным грузинским, вернее, кавказским, именно, яфетическим, эпосом, сплетенными в одном цельном творчестве, без внимания и к расовой, и к религиозной, и к классовой разнородности происхождения скрещивающихся сказаний» (I, стр. 203—204).

По-видимому, здесь еще есть следы воздействия социологических идей Гребнера [28]. Впрочем Н. Я. Марр не ограничился констатированием перехода сюжета из одного культурного ареала в другой, но отметил существенные трансформации и контаминационные формы, возникшие в новых социальных условиях бытования текстов. Из исследования делается вывод, что «феодальное сословие» в Грузии только восприняло литературные сюжеты персидского эпоса, тогда как низовые народные массы проявили способность к творческой переработке сюжетов. Освоение, трансформация, возникшие вследствие скрещения разнородных элементов, демонстрируют внутренние запросы и стимулы, исходящие от данной социальной среды.

Если бы историк филологии попытался отыскать зачатки некоторых теоретических воззрений Н. Я. Марра, получивших в его поздних трудах полное выражение, то он скорее всего должен был бы обратиться именно к ранним работам молодого ученого. Я имею в виду такие существенные черты его концепции, как признание определяющей роли скрещения в лингвистических процессах и в формировании сюжетов текстов произведений словесного искусства. Но прежде всего привлекает к себе внимание одна имплицитно выраженная идея, быть может, восходящая к социологической концепции Э. Дюркгейма. Сущность этой идеи, получившей в начале текущего столетия признание среди этнографов, сводится к следующему: культурный статус какого-либо народа нельзя уяснить только путем констатации внешних влияний и заимствований, поскольку он есть преимущественно результат реализованных внутренних потенций, «заложенных» в данной культуре. Последняя мыслится как целостная структура систем-

[27] Н. Я. Марр, Одомашнение собаки, сб. «Проблема происхождения домашних животных», вып. I, Л., 1933, стр. 74—75.

[28] F. Gräbner, Methode der Ethnologie, Heidelberg, 1911; ср. еще: W. Pessler, Deutsche Wortgeographie, «Wörter und Sachen. Kulturhistorische Zeitschrift für Sprach- und Sachforschung», XV, Heidelberg, 1933.

но-организованных и функционирующих компонентов, взаимосвязанных и взаимообусловленных.

Н. Я. Марр принадлежал к тем ученым, кто выступал против традиционного в науке следования методическим принципам классической филологии, оперировавшей только письменными источниками [29]. Недоверие к безусловной достоверности их показаний возникло у Н. Я. Марра особенно при исследовании повести «Амирандареджаниани», в тексте которой прослеживались элементы народного творчества по содержанию или по форме. Если они так или иначе пробивали себе путь даже в повествовательные памятники грузинской духовной литературы, то они же с большей легкостью могли влиться свежей струей в средневековую художественную, вообще — светскую литературу.

Мысль о первостепенной важности учета показа местной народной жизни, живой языковой этнографической и фольклорной среды высказывается Н. Я. Марром неоднократно и в связи с разными объектами изучения истории культуры.

Формирование текстов древних памятников художественной литературы, испытавших на себе воздействие со стороны стихии устного народнопоэтического творчества, уясняется в перспективе господствовавших общественных отношений и идеологической борьбы, так как эти факторы воздействовали на распространение текстов в определенной социальной среде, на план их содержания и план выражения. В уже упомянутом исследовании сборника притч Вардана мы читаем: «Если не животный эпос, то животные сказки у армян не прекращали жизни в крестьянской среде, куда они были загнаны преследованием со стороны ревнителей христианского просвещения и равнодушием или презрением образованных классов. Когда же с вульгаризацией вообще армянской литературы в средние века народное течение проложило себе путь в вардановские сборники, то по этому пути вошла в них и струя народного творчества из области животных сказок». И там же: «Если древний состав вардановских сборников является показателем монашеского или духовного направления армянской литературы, то в позднейших наслоениях... прорывается струя народного направления, включая сюда и направление городского населения» [30]. Факты позволили исследователю утверждать, что «средневековый армянский язык был язык средневекового памятника, сборника притч или басен и занимательных рассказов не то для назидания, не то для забавы уже не феодалов и родовой знати, а простого народа, собственно, городского международно настроенного населения» (I, стр. 204).

Сложные взаимоотношения между книжной литературой и фольклором, представляющиеся то процессом диффузии, то параллельным синхронным бытованием в пределах каждой данной социальной среды, выявляются при анализе содержания памятников словесного искусства и их языковой формы. Рассматривая «Грузинский извод сказки о трех остроумных братьях из Русуданиани», Н. Я. Марр раскрыл в тексте этого произведения пласт «устной народной, действительно самобытной словесности». Что касается «книжных мотивов, попавших в эту среду и обогащенных некоторыми подробностями», то они могли «случайно сохранить редкие и тем более ценные черты действительно национального эпоса» [31].

---

[29] Идеи «звуковой филологии» (Lautphilologie) высказывались многими русскими учеными, а в их числе Ф. Буслаевым и А. А. Шахматовым.

[30] Н. Я. Марр, Сборники притч Вардана. Материалы для истории средневековой армянской литературы, ч. 1, СПб., 1899, стр. 581 и 255.

[31] См.: Н. Я. Марр, Грузинский извод сказки о трех остроумных братьях из «Русуданиани», сб. «Восточные заметки», СПб., 1895, стр. 227.

Актуальная проблема отношений между художественной литературой и устной народной словесностью затронута в ряде работ о грузинских повестях XI — XII вв. Автор публикует статьи «Персидская национальная тенденция в грузинском романе Амирандареджаниани» (ЖМНП, июнь 1895) [32], «К вопросу о влиянии персидской литературы на грузинскую (Вис-Рамиани)» (ЖМНП, март, 1896), «Возникновение и расцвет древнегрузинской светской литературы» (ЖМНП, декабрь, 1899) и др. Фактический материал последней статьи, как и другие исследованные Н. Я. Марром источники, в которых обнаруживались связи между художественной литературой и фольклором, позволили утверждать, что «излюбленные сказки если и переходят... в книгу, еще легче переходят из книги в народ». Так, например, древнегрузинская светская литература «наводнила новыми мотивами сокровищницу живой старины» (там же, стр. 229). Однако более интенсивное и регулярное воздействие на письменную художественную литературу оказывает все же устная народная словесность. История древней армянской литературы убеждает, что «если бы новые деятели, выступившие в средние века из простого народа, не внесли живительные струи обновления», то ей грозили бы «неминуемое вырождение и смерть». Речь шла о происходившем в середине века процессе «вульгаризации», о проникновении народно-поэтической среды в Вардановский сборник.

Та же актуальная проблема взаимоотношений фольклора и художественной литературы затрагивается Н. Я. Марром в исследованиях поэмы Шота Руставели «Витязь в барсовой шкуре». К этому произведению он обращался неоднократно [33]. Называя Руставели «народным поэтом», исследователь привлекает факты языка, стиля, устанавливает отражения местной среды в предметно-тематическом содержании текста. Истоки стилистических особенностей поэмы он считает необходимым искать в живой народной речи. Вместо прежних филологических характеристик, согласно которым текст поэмы складывался из сочетания персидских элементов с грузинскими, «вносившимися в поэму грузинским поэтом в порядке личного творчества», исследователь выдвигает и обосновывает новую теорию генезиса ее компонентов. «Поэтому все более и более выясняется необходимость „считаться реальнее с вкладом народного происхождения в творении Шоты“» [34].

Н. Я. Марр не отрицал и не мог отрицать роли влияний и заимствований, происходящих в процессе контактов между народами и отражающихся на их языке, материальной и духовной культуре. Но он не сводил этот процесс к механическому усвоению того, что пришло из внешних источников. Синтез заимствованного дает новое качество. Эта идея высказана в следующем развернутом тезисе: «во влиянии активная роль принадлежит не влияющей стороне, а воспринимающей, и вообще... адаптация часто в наблюдаемых явлениях прикрывает истинную сущность под заимствованной внешностью» [35]. Н. Я. Марр называл «чудовищной» переоценку культурно-исторической школой «творческой силы господствующих иноземных культур» (IV, стр. 131).

---

[32] Ср. еще рец. на груз. кн.: М. Джанашвили, Моисей Хонский и его [роман] «Амирандареджаниани», Тифлис, 1895, ЖМНП, октябрь, 1895, стр. 324—328.

[33] Н. Я. Марр, Вступительные и заключительные строфы «Витязя в барсовой коже» Шоты из Рустава. Груз. текст, русский перевод и пояснения с этюдом «Культ женщины и рыцарство в поэме», «Тексты и разыскания по армяно-грузинской филологии», кн. XII, 1910; его же, Грузинская поэма «Витязь в барсовой шкуре» Шоты из Рустава и новая культурно-историческая проблема. I. Племенная среда. II. Культурная среда и эпоха, ИАН, 1917, 8; см. еще: «Избр. работы», I, стр. 134, и др.

[34] В. А. Миханкова, указ. соч., стр. 250—251.

[35] Цит. по кн.: В. А. Миханкова, указ. соч., стр. 246.

Нельзя было ограничиться постановкой средневековой грузинской и армянской литературы в контекст «литературного быта» того времени. Возникла потребность выйти за пределы текстового материала для его же объяснения реальной действительностью, послужившей жизненной натурой и социальной основой, на которой зародились и оформились изучаемые художественные произведения. В частности, ставя широкие проблемы арменоведения, Н. Я. Марр расширял контингент привлекаемых источников. Исследователь признал недостаточность оперирования теми материалами, какие предоставляет филология в распоряжение историка культуры, и стал обращаться к показаниям этнографии, археологии и др. Уже в ранних работах Н. Я. Марр стал применять комплексный метод изучения, который он впоследствии так настоятельно пропагандировал. Программа полевых собирательских работ, в соответствии с поставленными широкими филологическими задачами, приобретает комплексный характер. Марр указывает на необходимость «сотрудничества смежных обществоведческих наук, интересы которых нередко переплетаются с лингвистическими интересами» (III, стр. 62), и отмечает, что сфера материальной производственной базы и производственных отношений включается в работу филолога, пытающегося раскрыть причинную обусловленность явлений, относимых к области идеологической. Он убежден, что «...каждое явление нужно учитывать в связи с остальными явлениями, „выходящими за пределы речи", не говоря об учете материального базиса» [36].

Фольклорные материалы поставляли лингвистические факты, служили источником, имеющим историческую и этнографическую ценность. Так, записанная им в 1914 г. со слов представителя старшего поколения абхазская пословица «В чьей лодке сидишь, того песню пой» свидетельствовала о более тесном общении абхазов с морем в прошлом. Этот вывод подкреплялся показаниями абхазской речи и преданиями, в которых «интимное общение абхазов с морем» отражено. Исследователь отметил процесс вымирания в абхазской среде переживаний древнего быта. По прошествии небольшого срока со времени первой записи более молодые информанты уже не знали значения слова «лодка» или даже не слыхали этого слова. Но им была известна та же пословица в ином варианте: «На чьем дворе находишься, того песню пой» (I, стр. 73—74).

Н. Я. Марр занят проблемой творческой созидательной роли внутренних сил, развивающихся и накапливающихся в недрах данной этнической группы. Он прослеживает генезис явлений культуры народов Кавказа. Его интересуют народные легенды и сказки, занесенные в исторические хроники. На основе этих источников делаются чрезвычайно широкие обобщения. Они выходят далеко за пределы культуры народов Грузии и Армении. Конкретно-исторический принцип исследования памятников истории народа и его литературы проявился в установлении связи произведения с социальной средой, вызвавшей его к жизни. Н. Я. Марр восстанавливал то, что называется «общим культурным контекстом эпохи» в реальных бытовых национальных, идеологических проявлениях и рассматривал автора текста как представителя определенной социальной среды. Весьма показательно отношение Н. Я. Марра к исследованной им «Истории» Моисея Хоренского. В фольклорных преданиях и легендах, сохранявших в себе отложения глубокой древности, он видит «настоящий источник», из которого Моисей Хоренский черпал сведения о древнейших периодах истории Кавказа, истории Армении. Он писал: «никакая история Кавказа не может быть написана, не считаясь с Хоренским, и происходит это оттого, что источники Хоренского весьма архаичны, весьма близки к среде, сохра-

[36] Н. Я. Марр, К бакинской дискуссии о яфетидологии и марксизме, Баку. 1932, стр. 37.

нявшей в живых устных преданиях сведения о начальной жизни Кавказа, его многочисленных племенах и народах». Позднее, вновь обращаясь к этому историческому труду, Н. Я. Марр отмечал, что Хоренский располагал «прекрасным живым фольклорным материалом» (V, стр. 19).

Исторические предания, отраженные в трудах древних историков и бытующие в фольклоре, привлекаются Н. Я. Марром для сравнительного фольклористического анализа. Исследователь обращается к Геродоту, рассказывавшему, что Киаксар и мидяне пригласили скифов на пир, напоили их вином и всех перебили. Так мидяне спасли свое царство и вернули прежние владения. Тот же мотив вероломства за трапезой сохранился в армянской народной песне, приведенной историком Хоренским. Но в песне жертвами обмана оказываются армяне: «На... пиру, предполагается, армяне с их царем Арташесом были так же перебиты, как скифы, по Геродоту, на званом обеде тех же мидян. Это совпадение скифов Геродота с армянами армянского народного эпоса... теряет характер случайности, когда народное же предание армян дает нам основание утверждать наличие скифского элемента в племенном составе армянского народа» (V, стр. 59). Это племенное предание Хоренский переместил из «доистории», а народный эпос донес его до позднейших эпох. Так, от сопоставления фольклорных мотивов, возводимых в ранг исторических источников, Н. Я. Марр шел к идее этнического субстрата.

Интересны и сопоставления сюжета «книжных легенд об основании Куара в Армении и Киева на Руси», а также имен в сказаниях о построении древнего армянского города Куара тремя героями армянской легенды параллельно русскому преданию о построении Киева тремя братьями — Кыем, Щеком и Хоривом. Н. Я. Марр выдвигает гипотезу, согласно которой в основе легенд, сохранившихся в армянском и русском письменных источниках, лежат скифские и кимерские предания (V, стр. 66). Русская и армянская версии являются, таким образом, сравнительно поздними образованиями.

Что именно в этих и многих других фольклористических идеях и гипотезах может быть принято современной наукой об устном народно-поэтическом творчестве? Или же все факты как основа для обобщений в трудах этого ученого-филолога следует безоговорочно отвергнуть как не выдерживающие критики?

Ответами на эти два вопроса, конечно, не исчерпываются задачи предстоящей научной критики работ Н. Я. Марра в области фольклора, который он связывал со сферой языковедения, с проблемами мышления, с историей материальной культуры народа, с этнографией и проч. «Мы сосредоточиваемся,— писал он,— не на одной речевой стороне человеческой культуры. Вопрос идет не об языке, далеко не об одном языке, но и о вещах, о вещах материальных, объективно существующих в природе или существующих в ней же по представлению человека... Доисторический язык — это особое лишь доисторическое общественное мышление, это доисторические верования и эпос, доисторическое художественное творчество, доисторические формы хозяйственной жизни и продукции» (III, стр. 3).

Вряд ли можно и нужно отрицать продуктивность исследования «филологических реалий» в их отношениях к социальным системам, с которыми они связаны. Таким путем действительно выявляется детерминированность явлений в синхронном и диахроническом аспектах. Но факты современного бытования языка и феноменов материальной и духовной культуры интересовали исследователя лишь как сохранившиеся реликтовые формы, как пережитки, называемые «живой стариной». Цели генетических разысканий сводились к реконструкции прежних состояний и их сдвигов или стадиальных переходов.

Историк филологии, отрицательно оценивающий многие теоретические обобщения, выдвинутые Н. Я. Марром на основе более или менее произвольного подбора языковых и других фактов, может быть, отметит, что творческое воображение автора, свидетельствующее о его богатой одаренности, занимало непомерно большое место в его общелингвистической концепции. Не получат одобрения и некоторые его требования к методике собирания языковых, фольклорных, этнографических и других материалов. Н. Я. Марр настаивал, чтобы эта работа непременно шла в плане «борьбы с типологическим, или морфологическим приемом исследования — так называемым формальным методом», который, по его словам, «есть отсутствие всякого метода» (I, стр. 232). Что касается содержания программ по полевому изучению живого языка, то Н. Я. Марр был сторонником привлечения фольклорных текстов, не присоединяясь к тем ученым, кто отвергал этот источник как лингвистически неполноценный [37]. Не вызывает возражений и мысль о превращении полевой работы по собиранию фактов языка, фольклора, этнографии в подлинно научную деятельность. Вот что он писал по этому поводу: «Собирание материалов нужно производить так, чтобы оно приобрело характер исследования; само собирание... представляет собой исследование. Этого никогда не следует нам забывать» [38].

Отстаиваемый Марром принцип изучения феноменов языка, фольклора в реальных условиях их современного (а с помощью процедуры реконструирования) и прошлого бытования, в связях с другими явлениями материальной и духовной культуры определил комплексный характер программы полевой работы филолога, занятого «исследовательским собиранием». Продуктивность такого комплексного принципа или приема филологических наблюдений и исследований была проверена, в частности, немецкими языковедами, прежде всего теми, кто связан со школой Вреде — Венкера и кто учитывал практику составления «Sprachatlas des Deutschen Reichs» и особенно «Atlas der deutschen Volkskunde» [39]. Продуктивен и опыт чешских филологов, включающих в программу полевых региональных наблюдений многие реалии современной материальной и духовной культуры. Принцип комплексной филологической работы оправдал себя также при исторически ориентированном изучении пережиточных форм как источников, которые позволяют реконструировать прошлые явления культуры материальной и духовной [40].

В основе применявшейся Марром методики подбора фактов лежали принципы методологические. И мы здесь припоминаем, что было сказано Г. Шухардтом о тех областях научных знаний, которые привлекает лингвист, изучающий объекты глубокой древности. «В связи с взаимоотношениями, существующими между языком и его носителями, возникает потребность в многочисленных вспомогательных дисциплинах, причем культура говорящих во всех ее проявлениях не может не стать объектом нашего

[37] См.: Н. Я. Марр, Кавказоведение и абхазский язык, «Избр. работы», I, стр. 59 и сл.

[38] См.: «Проблемы истории докапиталистических обществ», 1935, 3—4, стр. 194.

[39] См., например: H. A. Aubin, Th. Frings, J. Müller, Kulturströmungen und Kulturprovinzen in den Rheinlanden. Geschichte, Sprache, Volkskunde, Bonn, 1926; см. рецензию А. Гётце на эту кн. в журн. «Teuthonista. Zeitschrift für deutsche Dialektforschung und Sprachwissenschaft», Hf. 1, 1924/25; Th. Frings, E. Tille, Kulturmorphologie, «Teuthonista», Hf. 1, 1925/26.

[40] Ср. еще: D. Zelenin, Russische (Ostslavische) Volkskunde, Leipzig, 1927. О методике социально-географических исследований в плане генезиса явлений культуры писал К. Вагнер в статье «Geographisch-historische Volkskunde» («Hessische Blätter für Volkskunde», XXI, 1922); см. еще: W. Pessler, Deutsche Wortgeographie, «Wörter und Sachen. Kulturhistorische Zeitschrift für Sprach- und Sachforschung», XV, Heidelberg, 1933, и др.

пристального внимания. Пока это касается современного нам, доступного точному наблюдению, мы не сталкиваемся с особыми затруднениями, но когда дело доходит до черепов, оружия, надписей как единственных свидетельств, оставленных по себе целыми народами, здесь неминуемы и нарушение границ и вторжение в чужие области.

Нужно стремиться к тому, чтобы антропология ограничивалась антропологией, археология — археологией, языкознание — языкознанием, однако не в том смысле, что они не должны оказывать друг другу содействие, но в том, чтобы основной предпосылкой исследовательской работы было, так сказать, раздельное движение с последующим ударом объединенными силами» [41]. Но для Марра — филолога с преобладающими интересами к проблемам генетическим, к истории и доистории культура во всех ее проявлениях не была «чужой областью».

Н. Я. Марр стремился к тому, чтобы установить глобальную зависимость форм существования языка от общественно-экономических условий и форм общности людей. Однако его убежденность в существовании «полного изоморфизма процессов эволюции языка и общества» [42] породила вульгарно-материалистическую концепцию. Констатируя этот факт, объективная научная критика не станет замалчивать, что Н. Я. Марр (ему так и не удалось произвести коренную ломку и перестройку ранее установившихся воззрений) был филологом с чрезвычайно широким диапазоном научных интересов и что он войдет в историю лингвистических учений как «один из крупнейших русских лингвистов» [43], стоящих по уровню филологической эрудированности в ряду таких выдающихся ученых, какими были Ф. И. Буслаев, А. А. Потебня, А. А. Шахматов, А. Н. Веселовский, Д. Н. Овсянико-Куликовский, И. Ю. Крачковский, В. Ф. Шишмарев, В. М. Жирмунский и некот. др.

Подобно тому, как характеристика грамматических трудов Ф. И. Буслаева и А. А. Потебни не позволяет создать представления об их подлинных вкладах в филологию, обращенность научной критики к лингвистическим идеям Н. Я. Марра вне их связи с проблемами фольклористики, литературоведения, этнографии, истории культуры неизбежно стирает ту «филологическую специфику», о которой столь убедительно писал Р. А. Будагов [44] и которая была присуща целостной научной концепции Н. Я. Марра. Отсюда отнюдь не вытекает, что принципиально отрицается допустимость рассматривать только основные положения марровского учения о языке [45] или только идею смешения, скрещивания, или же теорию субстратных элементов и проч.

«Вульгарный материализм», «антинаучная концепция»... — этими определениями не исчерпывается характеристика Н. Я. Марра, с которой он войдет в историю филологии. Муза истории должна быть строго объективной, правдивой и великодушной. Ее суждения не сводятся к осуждениям. Ей чужды гнев и предубежденность; sine ira et studio — таков один из ее девизов.

---

[41] Г. Шухардт, Баскский язык и языкознание, «Избр. статьи по языкознанию», стр. 169.

[42] Н. С. Чемоданов, Проблемы социальной лингвистики в современном языкознании, «Новое в лингвистике», VII, М., 1975, стр. 21.

[43] Ф. М. Березин, История лингвистических учений, М., 1975, стр. 271.

[44] Р. А. Будагов, Несколько замечаний в защиту филологии как комплексной науки, «Сборник докладов и сообщений Лингвистического общества», IV, Калинин, 1974, стр. 13.

[45] Ф. М. Березин, указ. соч., стр. 271—274.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1976

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

РЕЦЕНЗИИ

***H. Parret.* Discussing language.**—The Hague—Paris, Mouton, 1974. 428 стр.

Рецензируемая книга представляет собой запись диалогов на лингвистические и философские темы с рядом известных специалистов. К сожалению, выбор ученых, к которым обратился Паре, не всегда удачен, причем автор проявляет явную склонность к логическому позитивизму и современному формализму (диалоги сопровождаются обширным «Синтезом» — стр. 297—413, написанным Ж. Буверессом, специалистом в области неопозитивизма и аналитической философии). Это обстоятельство несколько снижает ценность интересного замысла.

Поэтому вполне понятна реакция А. Мартине, который очень убедительно высказался против номинализма и трансцендентного идеализма, ведущих к праздному и бесплодному словопрению; против голословного отказа человеческому языку в коммуникативной функции; против бессмысленных операций с воображаемым «носителем языка», «порождающим» якобы бесконечное число грамматически правильных предложении просто для упражнения в своей уникальной «творческой» способности; против отказа от какой-либо проверки идеалистических домыслов практикой реального функционирования языка как важнейшего средства человеческого общения и др. С присущей ему яркостью, убежденностью и убедительностью Мартине решительно протестует против присвоения выдуманным терминам (например, «таксономист», «таксономическая лингвистика» и т. п.) характера и функции обидных ярлыков; против всяческого принижения языковых фактов, текста; против пренебрежительно-высокомерного отношения ко всякому, кто усомнится в научной правомерности теории, не только не подкрепляемых и не проверяемых фактами, но и идущих прямо вразрез с ними. Мартине убедительно показывает полную несостоятельность «формализаций» и «репрезентаций», недопустимость подмены сомнительными металингвистическими упражнениями подлинной языковедческой теории, которая основывается на прямом живом наблюдении фактов и проверяется языковой действительностью. Очень хорошо, что все его суждения развиваются на фоне изложения основ языкознания и разъяснения принципов и методов исследования языка на всех уровнях. В заключение Мартине выражает надежду на то, что уважение к фактам, к тому, что есть на самом деле, наконец, восторжествует и «мы снова будем иметь дело с людьми, действительно интересующимися языками и языкознанием».

Для М. Халлидея языкознание — общественная наука и ее предметом является язык как общественное явление (the study of language in society): бессмысленно говорить о «социолингвистике», как если бы была возможна «лингвистика» без «социо-». Погоня за «формализациями» и «репрезентациями» приводит к идеализму и трансцендентному редукционизму, что выражается, в частности, в попытках Хомского объединить под названием «performance» (как якобы не имеющему никакого отношения к «научному» языкознанию) все подлинные проявления и свойства языка и речи.

Вместе с тем Халлидей с удовлетворением отмечает все более определенное преодоление идеалистических абстракций и все более распространенное понимание того несомненного факта, что люди не просто говорят, но говорят друг с другом. Халлидей категорически восстает против утверждений, что якобы Хомский сказал новое слово, настаивая на творческой природе языка и якобы борясь с «индуктивистом» и «таксономистом» Блумфилдом. Это положение было давно развито и утверждено именно Блумфилдом, а также Ельмслевом, Фиртом и др.

П. Хартман, известный западногерманский компаративист и теоретик, различает понятия: 1) языка-объекта,

2) языка описания (descriptive language) и 3) языка теории (theoretical language), т. е. языка метатеоретического рассуждения. «Язык описания», таким образом, это просто метаязык в обычном понимании этого термина, т. е. язык, которым пользуются для того, чтобы говорить о языке-объекте. Что же касается метатеории, то ее можно формализовать только при наличии соответствующего аппарата. Особенно осторожно следует подходить к формализации языка описания — это можно делать только при том условии, если будут совершенно очевидны преимущества такой репрезентации языка-объекта, т. е. при совершенно недвусмысленной ассоциативной связи между термином (или символом) и предметом. Но самое главное — это тот несомненный факт, что неформализованный язык ни в какой мере не уступает, на всех уровнях описания, языку формализованному. Это положение сейчас следует особенно настойчиво пропагандировать, дабы препятствовать стремлению во что бы то ни стало добиваться создания и употребления формализованных описаний для возможно большего числа явлений: лишь бы формализовать, часто даже не задумываясь о том, что именно в исследуемом предмете является наиболее важным для его адекватной репрезентации или какие в нем реально реализовавшиеся свойства или параметры наиболее существенны.

Предметом (object) языкознания являются реальные факты употребления языка (language occurrences). Содержанием языкознания (subject) являются научные положения (statements), свидетельствующие о проникновении исследователя в природу объекта,— к таким положениям относятся, например, звуковые законы, описания или наблюдения, касающиеся структуры языка (structure assessments) и т. п. Нельзя заранее отбирать подходящее для данной дедуктивной теории: надо изучать предмет в его подлинном виде, таким, каким он является в действительности. Однако философские взгляды самого Хартмана ориентированы на феноменологию Гуссерля.

С. М. Лэм воспользовался этим случаем для подробного изложения своей «Стратификационной лингвистики», которая представляет собой детально разработанную двухмерную графическую формализацию «отношений отношений к отношениям» в духе глоссематики Ельмслева. Выбор системы обозначений (или формальной репрезентации) определяет, согласно Лэму, всю систему мышления ученого. Хотя на первый взгляд математическая или алгебраическая символика и может показаться более совершенной (т. е. более формальной), на самом деле это совершенно не так. То, что в истории математики больше было сделано для развития алгебры, чем теории графов,— чистая случайность. Для репрезентации основных (наиболее существенных) отношений своей системы Лэм разработал многомерную графическую репрезентацию — «и и или» в соответствии с понятиями Relation и Korrelation, введенными Л. Ельмслевом.

Лэм полностью отрицает претензии «порождающей грамматики» на какую бы то ни было «объяснительную силу» (explanatory power), так как для этого система должна иметь вполне определенное отношение к действительности: «competence» в отрыве от «performance» — бессмыслица; может быть только «competence to perform». Так называемая «порождающая грамматика» — это просто разновидность таксономического описания, лишенного какой-либо психологической основы. Между грамматически правильными и грамматически неправильными предложениями нет простой и однозначной границы: одна из этих категорий переходит в другую постепенно и непрерывно и уж, конечно, не может быть установлена мифическим «информантом», на что указывает также Мартине. Наличие промежуточных случаев, неясностей и переходов неизбежно, так как языковая структура (или «сеть отношений») сама находится в состоянии непрерывного изменения, т. е. непрерывно изменяется в самом процессе своего функционирования, непрерывного употребления в качестве важнейшего средства общения. Это находит отражение в графах путем использования линий разной толщины.

Изображаемая графически сеть отношений напоминает «дерево», но, в отличие от последнего, «ветвится» в обоих направлениях, причем графы для всех уровней совершенно однотипно состоят из линий и сочленений или узлов. В основе всего построения лежат подлинные факты языка, реальные тексты, так как только на этой основе можно проверить научную ценность всякого теоретического построения. Лэм считает также очень важным то обстоятельство, что его система «формальной репрезентации» создана им специально для языкознания, а не заимствована, как в «генеративной (или трансформационной) грамматике», из другой науки.

А. Греймас охватил широкий круг вопросов, связанных с разными аспектами и подразделениями семиотики, лишь вскользь коснувшись того, какими средствами Хомский мог бы обеспечить переход от психологического к трансцендентному субъекту. С точки зрения соотношения семиотики и языкознания, наибольший интерес представляют следующие соображения. Различные направления в логике, сталкиваясь с фактами языка, решают вопрос об истинности или ложности суждения, независимо от того, насколько правдоподобным является в

данном высказывании соотнесение его с данным референтом. В отличие от логика, языковед всегда старается установить именно реальное наличие или отсутствие такого правдоподобия. Превосходство языкознания по сравнению с другими разделами семиотики определяется также и тем, что его предмет — естественный человеческий язык — способен передать содержание, зафиксированное средствами любой другой семиотической системы, тогда как эти последние лишь очень редко оказываются пригодными для передачи сказанного или написанного на естественном человеческом языке. В результате естественный человеческий язык нередко смешивают с логико-семантическими языками, используемыми в качестве научных метаязыков в семиотическом исследовании, поскольку они совпадают с ним в плане выражения.

Среди молодых американских лингвистов особенно выделяется в настоящее время У. Л. Чейф. Его интервью особенно интересно, так как дает очень наглядную картину положения в США, когда языкознание было совершенно задавлено аракчеевским режимом Хомского и его соратников. Достаточно было обратиться к тексту, к реальным фактам языка для того, чтобы вас предали анафеме как не лингвиста, не ученого, занимающегося «performance». Чейф очень убедительно показывает, какой вред это положение принесло языкознанию, каким образом господствующая школа абсолютизировала данную систему «формальной репрезентации», «поработив» целое поколение молодых людей и преградив им путь к подлинному познанию предмета. Чейф настойчиво требует отказа от «редукционизма» — сведения естественного человеческого языка к формально-логическим «репрезентациям», когда вся методика и методология лингвистического исследования искусственно ограничивалась «сидением в кресле и размышлением о предложениях» (sitting in an arm-chair and thinking about sentences).

Как известно, в настоящее время Чейф тяготеет к психолингвистике. Однако поскольку последняя теперь все больше концентрируется на вопросах детской речи, он предложил новое название — «психосемантика». Он дает вполне четкое определение своему направлению: синтезировать данные психологии и языкознания, разработать конкретную методику исследования и проникнуть таким образом в природу взаимодействия между опытной и понятийной сферами познания. Нельзя не пожалеть, что Чейф никак не соотносит своих построений с ленинской теорией отражения.

Если Чейф ищет принципиально новых путей, то другой из опрошенных лингвистов, Д. Лакофф, стремится искать выход из создавшегося положения, оставаясь в рамках «генеративистики», переименовав ее в «генеративную семантику». Вместе с тем он дает очень глубокий анализ сложившейся ситуации, когда вполне выяснилась несостоятельность «стандартной теории» порождающей грамматики.

Лакофф убежден в том, что лингвистика — это наука о естественных человеческих языках во всех их реальных проявлениях и функциях: во взаимодействии членов человеческого общества, в истории, литературе, в реализации неразрывной связи языка и мышления, в той роли, какую играет язык в народном образовании, в решении проблем восприятия и понимания сообщений и многих других. Не утруждая себя действительной и огромной сложностью подлинного предмета, Хомский провозгласил объектом своей якобы «лингвистической» теории нечто, реально не существующее (something that does not exist in the real world), а именно некоторый абстрактный набор грамматических правил, «интернированных» (internalized) в несуществующем мозгу несуществующего же идеального говорящего-слушающего (an ideal speaker-hearer in a homogeneous speech-community etc.), способного производить бесконечное число грамматически правильных предложений просто в порядке упражнения этой своей уникальной способности; все же, что относится к действительному человеческому общению посредством реальных человеческих языков, все это — «performance», никакого отношения к «лингвистической теории» не имеющая. Единственным интересным результатом, по мнению Лакоффа, всего этого выше всякой меры разрекламированного построения является несомненный вывод о бессмысленности и полной научной несостоятельности так называемой «трансформационной грамматики». Этот вывод полезен потому, что он очень наглядно показывает разницу между языкознанием и, например, химией, где теория «идеальных» случаев может оказаться полезной.

Уже в 1967 г. стала совершенно ясной полная несостоятельность претензий на то, что якобы существует некая «глубинная структура» (deep structure), отличимая от структуры логической, включающая в себя все лексические единицы и являющаяся основой для применения так называемых «трансформационных правил». Как известно, именно такой вид имела «глубинная структура» в так называемой «расширенной стандартной теории» (extended standard theory) Хомского. Поэтому «генеративная семантика» начисто отказалась от «глубинной структуры», приняв логическую структуру за основу синтаксического построения речи (предложений), понимая, однако, под «синтаксисом» не раздел логики, а науку о том, какие ряды или последовательности (strings) слов могут выражать

те или иные значения в тех или иных контекстах.

Генеративная семантика полностью отвергает возможность определения синтаксической правильности для изолированного ряда слов: правила синтаксиса существуют не для того, чтобы «порождать» цепочки слов, а для того, чтобы выражать отношения между ними и раскрывать их значение в данных контекстах. Как положительный момент при этом следует отметить то обстоятельство, что Лакофф далек от уверенности в непогрешимости своей собственной теории. Он вполне допускает, что и «генеративная семантика» в конечном счете окажется несостоятельной, так как она не принимает во внимание всю совокупность параметров реальной речи — фактические процессы ее образования и восприятия. Поэтому Лакофф считает «генеративную семантику» лишь частью науки о языке и надеется в будущем на синтез разных направлений.

Нельзя не сожалеть о том, говорит далее Лакофф, что сводить лингвистику к абстрактному теоретизированию по поводу вымышленных трансцендентных объектов стало занятием столь почетным, что многие почти совсем отказались от подлинного изучения реальных языковых фактов. Особенно прискорбно то, что «лингвистические теории», которые ограничивают сферу своих интересов только явлениями, нарочито редуцированными и вырванными из контекста данной семиологической системы, все чаще выходят из моды и все скорее сменяют друг друга, оставляя за собой в лучшем случае лишь совершенно безуспешные попытки применить их положения к описанию конкретного языкового материала. Поэтому Лакофф призывает к подаче материала в виде «ясной научной прозы», а не в виде пресловутых «формальных репрезентаций», так как только при этом условии его можно будет использовать после того, как та или другая «теория» уже давно будет предана забвению. На вопрос «Должна ли лингвистика будет превратиться в социолингвистику?» Лакофф ответил, что языкознание невозможно без исследования и глубокого понимания отношений между языком, мышлением и культурой. Поэтому языкознание всегда было «с о ц и о»лингвистикой, за исключением десятилетнего засилия «трансформационной грамматики».

Политические и идеологические претензии Хомского не выдерживают никакой критики — особенно когда дело доходит до того, чтобы отождествлять структурное языкознание с политическим застоем, а «трансформационную грамматику» с общественным прогрессом. Лакофф в самых резких выражениях порицает Хомского за принижение — вплоть до оглупления — роли крупнейших американских языковедов, которых тот огульно сбрасывает со счетов как «бихевиористов» и «таксономистов», включая сюда Блумфилда, Сэпира, Пайка, Болингера и др. Лакофф также решительно возражает против мнения, что якобы Хомскому принадлежит мысль о грамматических преобразованиях: З. С. Харрис не только автор самой идеи, но и все, что в «Синтаксических структурах» («Syntactic structures» — первая книга Хомского) относится к реальному языковому исследованию, принадлежит не Хомскому, а Харрису.

Понятно, что в число опрошенных был включен и сам Н. Х о м с к и й, который с типичной для него безапелляционной голословностью объявил всю направленную против него критику ошибками оппонентов и недоразумениями в трактовке ими: 1) грамматики как «порождающего устройства»; 2) творческого потенциала (creativity) трансцендентного «порождателя»; 3) соотношения эмпиризма и рационализма; 4) языковых универсалий; 5) структурализма и «таксономической» лингвистики; 6) вопроса о значении и логической семантике; 7) отношения языкознания к философии и др. Поскольку мысли Хомского по всем этим вопросам постоянно повторяются в его непрерывным потоком идущих публикациях и выступлениях и особенно вследствие того, что Хомский оказывается центральной фигурой в рецензируемом ниже подробнейшем «Синтезе» Буверeса, отмечу здесь лишь следующие моменты: 1) отметая возражения Лакоффа и др., Хомский утверждает, что «генеративная семантика» — всего лишь металингвистический вариант «расширенной стандартной теории» (т. е. подновленного варианта «standard theory» — прежнего катехизиса трансформационной грамматики); 2) ко всем начисто отвергаемым предшественникам присоединяется теперь и Ельмслев, работы которого Хомский хотя и «просто не понимает», но тем не менее пренебрежительно квалифицирует как всего лишь раздутую систему терминов.

В своем интервью Д. М а к-К о л и дал подробное объяснение всех оттенков в понимании терминов «генеративной лингвистики», таких, как «syntactic features», «mentalism», «innatism», «creativity» и др., и поставил в связи с этим ряд вопросов. Например: нужно ли обязательно верить в имманентную способность изолированного индивида порождать бесконечное число правильных предложений? Какова генеалогия «генеративной семантики»? и т. д. Что касается последнего вопроса, то, по мнению Мак-Коли, унаследованное Хомским от Харриса «бихевиористское отношение к семантике» привело его к постулированию некоторых «глубинных структур», по существу неотличимых от структур семантических. Поэтому Мак-Коли ищет не только новые идеи, но и новый метаязык

для обозначения избранного им направления. Поскольку философские и логические категории, фигурирующие в этом интервью, рассматриваются Буверессом в систематическом порядке, их целесообразнее прореферировать там.

«Синтез» Ж. Бувересса состоит из шести частей: 1) о методологии лингвистики: 2) о разногласиях по вопросу соотношения рационализма и эмпиризма; 3) о дихотомиях; 4) о теориях значения; 5) о прагмо-семантике и естественной логике; 6) о философии языка.

Основная причина разногласий, выявившихся в процессе «разговоров о языке»,— в той путанице, которую создал Хомский, смешав математическую логику с лингвофилософскими построениями В. фон Гумбольдта. Понятия «порождения» и «продуцирования» имеют вполне определенный логический и логико-математический смысл, когда говорят, что аксиома «порождает» теоремы или группа продуцируется генератором. Но это не имеет никакого отношения к гумбольдтовскому «Erzeugen» — понятию романтическому и относящемуся к живому организму. У Гумбольдта речь идет о непрерывном созидании и воссоздавании (re-creating) языка его носителем в процессе духовного развития человека. В идеях Гумбольдта нет ничего общего с «порождением» на основе строго регламентированных «правил» (rule-governed creativity) или «компетенцией», заключенной в строгие рамки ортологической синхронии.

С глубоким знанием дела Бувересс опровергает все философские претензии Хомского: 1) положение о том, что язык это прежде всего средство для выражения идей — одно из самых тривиальных положений философии, особенно настойчиво развивавшееся еще Дж. Локком; совершенно непонятно, почему именно прогресс лингвистики призван установить уникальность человеческого интеллекта и человеческой природы; 2) к Декарту «генеративная грамматика» вообще не имеет отношения; ее объяснительная сила (explanation) всего лишь повторение карнаповой «экспликации» (explication), т. е. предлагавшаяся этим видным представителем логического позитивизма замена неточно определенного интуитивного понятия (explicandum) точным и формализованным (explicatum); 3) рекурсивная и строго формальная «характеризация» набора (set) грамматически правильных предложений в плане «объяснительной» и, следовательно, «предсказывающей» силы сводится, по существу, к отрицательному предсказанию, а именно к тому, что такое-то грамматически неправильное предложение (в «сильном» смысле) не будет реализовано в нормальном языковом поведении; 4) проведенные интервью, особенно с Мартине, еще раз показали, что пресловутая «компетенция идеального носителя» вообще не существует, почему совершенно непонятна та настойчивость, с которой утверждается обратное, что якобы генеративной грамматикой дано научное описание этой странной фикции и т. п., и т. д.

Защищаясь от представителей генеративной семантики, Хомский обвиняет их в том, что они злоупотребляют предложенной им терминологией, трактуя ее недостатки (т. е. несовершенства метаязыка) как несогласие по существу дела. Но именно Хомскому более чем кому-либо другому свойственно превращать металингвистические различия в существенные и всячески укреплять манихейские и упрощенческие противопоставления всякого рода терминологическими заслонами. При этом просто поражает философский эклектизм Хомского: из совершенно разных школ и теорий он произвольно извлекает отдельные элементы, совершенно не утруждая себя изучением их подлинного и естественного философского контекста. Более того, он позволяет себе огульно охаивать целые философские направления, сначала представив их в виде карикатуры, составленной из наиболее спорных положений отдельных их представителей. Так, например, бихевиоризм вообще уничтожается росчерком пера не только как направление, якобы не имеющее никакого отношения к научной теории (т. е. науке), но и просто как «абсурдное и скандальное» (absurd and scandalous).

Столь же голословно и примитивистски оценивается научно-философски не определенный «ментализм» — просто по признаку «чего-то хорошего», противопоставляемого «чему-то плохому»: раньше-де в США были «нехорошие» бихевиористы — редукционисты-упростители, не признававшие дедуктивных формальных теорий, обладающих удивительной «объяснительной» мощностью; теперь же их свергли и опровергли «хорошие» и утонченные «менталисты», которые могут не только все объяснить, но и предсказать. Напомним, что «объясняется» в генеративной грамматике все та же пресловутая «компетенция», причем «теоретическое значение предсказательной силы» обосновывается лишь весьма неудачным сравнением с физическими теориями; эти последние можно было бы сравнивать разве что с предсказанием языкового поведения. Иначе говоря, при желании можно было бы говорить о предсказании «performance», если бы вообще можно было себе представить одновременный учет элементов, столь различных, как знание языка, биография говорящего, его лингвистическое и филологическое образование, свойства его культурной среды, языковой и экстралингвистический контексты высказывания и мн. др. Понятно, что предсказание поэтому могло бы в самом

лучшем случае носить чисто вероятностный характер.

Метаязыковая путаница еще увеличилась, когда в «Language and mind» Хомский заявил, что объяснение явлений, свойственных человеческому разуму, в дальнейшем будет «физическим» — просто потому, что «тогда значение этого слова будет расширено». Тем не менее «ментализм» генеративной грамматики противопоставляется... эмпиризму в философии, бихевиоризму в психологии и структурализму в лингвистике. Философа все это ставит в тупик. А ведь еще У. Джемс в прошлом веке подробно анализировал различие между грамматической формой и смыслом. Этим же занимались Карнап, Гуссерль, различавший Unsinn и Widersinn, и мн. др.

Особенно прискорбно распространившееся теперь непонимание принципиальной разницы между установками и целями языкознания, с одной стороны, и философии, с другой: совершенно забывают, *что слово «язык» употребляется теми и* другими в разных смыслах. Среди философов и философских направлений, занимавшихся вопросами языка (языкового значения), выделялись стоики, лингвофилософы средневековья, Больцано, Фреге, Гуссерль, Куайн, не говоря уже о современных представителях разных направлений неопозитивизма. Для философа значение — это логически определяемые формы предложений, рассматриваемые через призму исчисления предикатов, т. е. отношение между теми или иными предложениями на данном языке и соответствующими им логическими формами мысли. Но, как показала развернутая и убедительная критика попыток Карнапа провести четкую границу между «синтаксисом» и «семантикой» (с которыми удивительно сходны аналогичные попытки Хомского), формальные объяснения, получаемые путем семантических правил и постулатов, являются совершенно произвольными и лишенными какого-либо научного значения. В отличие от философии, для языкознания «значение» — это прежде всего лексика и «риторический компонент» (rhetorical component).

То обстоятельство, что одно и то же предложение может быть по-разному представлено в плане соотнесения с исчислением предикатов и другими логическими абстракциями, привело Г. Фреге в последней четверти XIX в. к понятию «презумпции» (странным образом у нас это хорошо и давно известное понятие втискивается теперь в метаязык лингвистики в виде кальки с английского «presupposition» — «пресуппозиция»). Как убедительно показывает Бувересс, этот философский термин употребляется теперь без какой-либо научной точности по крайней мере в трех смыслах: 1) нечто, отражающее семантическую структуру данного языка; 2) нечто, относящееся к объективному контексту данного высказывания; и 3) нечто, характеризующее интенции и расположения говорящего, как часть «теории речевых актов».

Неразличение языкознания, философии и логики приносит огромный вред, особенно потому, что перевод языковедческого исследования на формализованный «язык» теоретической логики создает *ложное впечатление простоты, единообразия* и точности и, добавим, заставляет бессмысленно тратить время на попытки овладевать «языками» формул и графов, которые не только не являются серьезно и последовательно разработанными, но и отличаются удивительной «идиолектной» раздробленностью. Иначе говоря, и до сегодняшнего дня не изжит (особенно у нас) своеобразный снобизм «формальных репрезентаторов», попыток «удивлять народ» (épater les bourgeois) разными формулами, картинками, сногсшибательными «парафразами» самых обыкновенных слов и понятий и псевдоалгебраическими изощрениями. Отрадно поэтому, что Бувересс смотрит на положение дел оптимистически; к счастью, то нетерпимое положение, когда вообще нельзя было говорить о реальных произведениях речи в их подлинном соотношении с действительностью (the referential properties of language), не подвергаясь обвинению в якобы «возврате к донаучным и устарелым понятиям», теперь изменилось. Бесплодность трансцендентно-идеалистических «теорий» теперь вполне доказана. Люди пользуются языком не для того, чтобы «генерировать бесконечное число предложений» ad majorem linguae gloriam, а прежде всего для того, чтобы реагировать на внеязыковые «стимулы» (в чем совершенно прав Скиннер), причем, конечно, на основе общественного опыта и фонового знания. Поэтому нет никаких оснований полагать, что так называемая «современная лингвистика» Хомского будет иметь влияние на решение таких проблем классической философии, как природа человеческого интеллекта (the mind), поскольку теперь это в большой степени раздел физиологии мозга, исследующей его точными методами на основе эмпирически проверяемых гипотез.

Решению вопроса о соотношении философии и языкознания препятствует также путаница из-за неясностей и переплетений метаязыкового характера. Имеющиеся три составных термина «philosophy of language», «linguistic philosophy» и «philosophy of linguistics» Бувересс трактует на основе известной работы З. Вендлера [1]. Философия языка (нем.

[1] Z. Vendler, Summary: Linguistics and the *a priori*, сб. «Philosophy and linguistics», ed. by Lyas, London, 1971

Sprachphilosophie) представляет собой одну из областей применения философского метода, т. е. рассмотрение фактов данной конкретной области знания в плане наиболее общих законов развития природы, человеческого общества и мышления. Лингвистическая философия представляет собой разновидность логического позитивизма (оксфордская школа), постулирующего возможность решения философских проблем путем логико-лингвистического анализа отдельных слов, выражений и предложений (фактически отдельных фрагментов или обломков языка, а не языка в его реальной целостности). Философия языкознания — это раздел научной метатеории в духе Рассела, «первого» Виттгенштейна и Карнапа.

В целом рецензируемая книга безусловно заслуживает внимания. Очень интересен замысел, выполненный очень тщательно и квалифицированно Г. Паре. Также интересен и «Синтез» Ж. Бувересса, проявившего прекрасное понимание стоящих перед ним задач и широкую эрудицию. Его раздел книги написан ясно и ярко, в прекрасном стиле.

Что же огорчает советского языковеда при наличии таких больших и несомненных достоинств рецензируемой книги? Во-первых, полное отсутствие даже упоминания о марксистско-ленинской философии, о советском языкознании и его отличительных чертах (в книгу не включено диалогов с представителями советской, марксистской науки о языке, ученых-языковедов, занимающихся естественными человеческими языками, а не туманными и бесплодными рассуждениями о трансцендентных «генотипах», мало чем отличающихся от бестелесных фикций «глубинных структур»). Во-вторых, то совершенно непомерно большое место, которое вновь пришлось отвести извивам хомскианских «теорий»: ведь уже столько раз разъяснялась и показывалась полная несостоятельность всех его построений, философская неграмотность, недопустимость в плане элементарной научной этики. И тем не менее это было, по-видимому, необходимо, потому что и сейчас находятся люди и, что самое печальное, даже в странах, где господствующим философским учением является марксизм-ленинизм, продолжающие серьезно говорить о «генеративной лингвистике» как о «современном языкознании» и с удивительным упорством продолжающие отвлекать молодых ученых от занятия языками. Продолжается рекламирование и «формальных репрезентаций», в которых все больше изощряются снобы, «освободившие» себя от какого бы то ни было соприкосновения с действительностью языкового существования.

О. С. Ахманова

«Орфография тюркских литературных языков СССР». — М., «Наука», 1973. 302 стр.

Девятнадцать литературно-письменных языков обслуживают ныне тюркоязычное население Советского Союза общей численностью около 30 млн. человек. Письменная форма языка играет в нашем социалистическом обществе исключительную роль в деле непрерывного повышения уровня образования и культурного развития народных масс, а также культурного взаимовлияния и обогащения, научно-технического прогресса социалистических наций. Вот почему проблемы развития национальных литературных языков, в том числе вопросы совершенствования и унификации их алфавитов, графики и орфографии, привлекают особое внимание советских языковедов. Актуальны эти вопросы и для литературных тюркских языков, тем более что часть из них является младописьменными, сформировавшимися лишь в советскую эпоху. Поскольку теперь все тюркские алфавиты основываются на русском кириллическом алфавите, то существен также и вопрос, как действующие в тюркских языках графические и орфографические правила соотносятся с системой русского правописания, в какой мере способствуют они легкому и быстрому освоению письменных норм не только родного, но и русского языка, являющегося ведущим языком межнационального общения в нашей стране.

Современное состояние указанных проблем достаточно наглядно представлено в рецензируемой коллективной монографии, в создании которой участвовали квалифицированные в вопросах орфографии специалисты — научные сотрудники Института языкознания АН СССР и соответствующих языковедных институтов тюркоязычных республик и областей. Монография состоит из написанных по единому плану 19 статей об орфографии конкретных литературных языков (азербайджанского, алтайского, башкирского, гагаузского, казахского, каракалпакского, карачаево-балкарского, киргизского, крымско-татарского, кумыкского, ногайского, татарского, тувинского, туркменского, узбекского, уйгурского, хакасского, чувашского, якутского), кото-

рым предпослана обобщающая статья К. М. Мусаева (отв. редактора монографии) «Вопросы разработки и дальнейшего совершенствования орфографий тюркских литературных языков Советского Союза». В статьях рассматривается история разработки орфографии, освещаются основные принципы действующей орфографии, графическое отражение фонетических явлений (прежде всего йотированных и долгих гласных, дифтонгов, ассимилятивных процессов), правописание сложных слов, заимствований, аббревиатур; анализируются также недостатки орфографии и предлагаются пути их устранения. Таким образом, в монографии подводится определенный итог работе, проделанной в области тюркской орфографии с момента перехода на русскую графику, и в то же время ставятся актуальные вопросы совершенствования орфографий, поскольку отставание в этой области отрицательно сказывается на грамотности, мешает овладению культурой речи, затрудняет усвоение русского языка.

В вводной статье отмечается наблюдаемое в настоящее время отставание теории письма от практической работы в этой области. Эту мысль подтверждают и замечания, встречающиеся далее почти в каждой из последующих статей, о том, что теоретическая работа в области графики и орфографии тюркских языков в последние годы заметно ослабла: в орфографических работах мало отражается проблема национальной литературной нормы, особенно в условиях многодиалектности (проблема опорного диалекта) и некоторой вариативности фонетического облика слов, а также связь орфографии с нормами орфоэпии; для орфографий ряда языков дискуссионным является вопрос о доминирующем принципе орфографирования; иногда возникают споры о фонологической значимости отдельных звуков в языке и способах их отражения на письме; отмечается отставание в разработке психологических аспектов овладения графикой и орфографией, что связано в свою очередь с выбором научно обоснованных вариантов букв и диакритических знаков, правильной методикой обучения грамоте и т. п. На части этих моментов автор вводной статьи останавливается более подробно, ставя проблему остро, иногда в полемическом плане. Он не соглашается с мнением тех лингвистов, которые считают совершенствование орфографии чисто практической работой. «Разработка и совершенствование орфографий должны иметь научно-теоретическую базу, это прежде всего научная, исследовательская работа» (стр. 14).

В целом орфографии тюркских литературных языков в настоящий момент не нуждаются в коренной реформе, однако значительный круг проблем требует совместного обсуждения и разрешения, в том числе и в плане возможной унификации по языкам графических приемов отражения аналогичных фономорфологических явлений на базе унифицированных алфавитов. Отметим, кстати, что мысль о единстве знаков алфавита, разработанных для тюркских языков, проходит красной нитью через многие статьи в данной монографии, но особенно последовательно она развивается в вышедшем несколько ранее сборнике, специально этому посвященном [1].

В монографии выделены, например, следующие актуальные орфографические вопросы: 1) степень отражения фонетических явлений на письме, 2) правописание долгих гласных, дифтонгов и йотированных гласных, 3) отражение геминированных гласных и ассимилятивно-диссимилятивных процессов, 4) правописание сложных слов, 5) правописание заимствований.

К. М. Мусаев, оценивая конституирующий принцип орфографии, пишет: «Основным, главным принципом орфографии тюркских литературных языков следовало бы провозгласить ф о н е м н ы й, или ф о н е м а т и ч е с к и й... Фонематический принцип письма обеспечивает единообразное написание каждого слова и морфемы и облегчает чтение, поскольку слова и морфемы имеют стабильное графическое изображение. Он также облегчает письмо, так как возможна проверка написанного слова или морфемы путем сопоставления с другой формой данного слова или морфемы» (стр. 22—23). Основную критику автор направляет против декларируемого в большинстве орфографических правил тюркских языков в качестве ведущего принципа «фонетико-морфологического» или «фонетического в сочетании с морфологическим». На самом деле речь идет о фонематическом принципе, где делается уступка, часто научно не оправданная, фонетическому письму. Таким образом, автор вводной статьи выступает за последовательное проведение фонематического принципа, а фактически и морфологического (или этимологического, этимолого-морфологического, словопроизводственного и т. п.): «каждая морфема (корень, префикс, суффикс-аффикс) пишется всегда одинаково, независимо от положения в слове или предложении» (стр. 19), «фонематический принцип, последовательно устраняя недостатки фонетического, закрепит в тюркских орфографиях и морфологический принцип, базирующийся на нем» (стр. 22).

Итак, на письме необходимо отражать только фонемы, а не их варианты, причем такие фонемы, которые можно во всех позициях сохранить, отображая фонем-

[1] См.: «Вопросы совершенствования алфавитов тюркских языков СССР», М., 1972; см. также: К. М. М у с а е в, Алфавиты языков народов СССР, М., 1965.

ный состав морфемы. Если в первой своей части этот вывод не вызывает возражений, то во второй он, по нашему мнению, содержит ряд спорных моментов, поскольку, по-видимому, искусственно форсирует, правда, вполне естественный для языкового развития процесс взаимного отдаления письма и живой речи, неоправданно увеличивая количество этимологических написаний, оторванных от живых фономорфологических процессов в языке. Прозрачность тюркской морфологии, как нам представляется, только создает иллюзию простоты и легкости проведения такого единого принципа в орфографии, в какой-то мере лишая ее гибкости. Между тем, трудности начинаются уже с определения исходного фонемного облика морфемы, который должен сохраняться «во всех ее позициях». Они еще более возрастают, если принять точку зрения, согласно которой фонемы корневых слов и аффиксов составляют частные подсистемы (причем для первой существенны различия в позициях в односложных и многосложных словах) и, кроме того, в качестве особой подсистемы может быть представлена фонология заимствованных слов. Усиление морфологизма в орфографии ведет, видимо, к возрастанию количества по-новому этимологизированных слов, что неизбежно связано и с ошибочным фономорфологическим членением словоформ на морфемы. В качестве примера можно сослаться на факты из тувинского языка, когда благодаря морфологическому подходу в словах вычленяется новый показатель залога [2] или меняется орфография слова. Это явление отмечено и у Д. А. Монгуша в статье о тувинской орфографии, помещенной в рецензируемой монографии: «...орфография предусматривает передачу корневых долгих [согласных.— *Д. Н.*] одной буквой, на практике долгие согласные, этимологически восходящие к звукосочетаниям, пишутся удвоенными буквами, например: *эккел-* (< *ап кел* < < *алып кел* „принести". Помере углубления знаний о составе слова, естественно, подобных слов обнаруживается все больше (разрядка наша.— *Д. Н.*). Это приводит к изменению написания слова... Если идти по этому пути и дальше, то в орфографию будут вноситься все новые и новые изменения, что сделает ее нестабильной» (стр. 198). Нельзя не согласиться с выводом Д. А. Монгуша о том, что «отражение подобных явлений в орфографии требует тщательного изучения» (там же).

По-видимому, применение в соответствующем именно для конкретного языка соотношении фонематического, фонетического и морфологическо-этимологического принципов орфографии и позволяет создать в настоящее время достаточно удобную систему практического письма, не требующую коренной ломки.

Поскольку фонологическая система каждого тюркского языка по-своему уникальна, решение спорных проблем не всегда возможно в общетюркском плане, однако в ряде вопросов и автор вводной статьи, и специалисты по конкретным орфографиям единодушны. Кроме обозначения йотированных гласных (здесь действительно необходимо выработать и принять единый графический способ), одним из наиболее сложных и запутанных вопросов являются правила написания сложных слов, а из них слитное и дефисное (полуслитное). Используемые разнородные обоснования и правила не позволяют часто однозначно разрешать спорные моменты. Особые сложности, как видно из приводимых материалов, возникают при апелляции к фонетическим (потеря ударения, «фонетическое изменение»), а также семантическим и «понятийным» моментам, которые дают простор субъективным решениям. Учитывая специфику тюркских языков, следует, видимо, опираться здесь и на формальные основания, поскольку аналитизм вообще является действенным способом тюркского слово- и формообразования (см., например, каракалпакскую орфографию, где достаточно простым и ясным основным принципом в правописании сложных слов служит «максимальное раздельное написание»,— стр. 126—127). Такой принцип, как отмечено и в вводной статье, «соответствует большой гибкости тюркских слов в отношении сочетания между собой...» (стр. 41).

Еще более спорным и непоследовательным является орфографирование заимствований из русского языка. Это одна из самых актуальных проблем современной орфографии, имеющая большое общественно-политическое значение в нашей многонациональной стране. По мнению большинства авторов монографии, правильное решение ее должно основываться на предварительном изучении для каждого языка степени развития в нем двуязычия, учета соотношения различных форм общения, а также степени освоения заимствований.

Появление книги об орфографии тюркских литературных языков СССР следует признать своевременным. Подводя итог несомненным достижением в этой области, она будет активизировать деятельность языковедов в деле дальнейшего совершенствования систем письма в тюркских языках. Эта книга имеет и важное прикладное значение как сводный справочник по практической орфографии отдельных языков.

Д. М. Насилов

[2] См.: Н. И. Летягина, Д. М. Насилов, Пассив в тувинском языке, «Советская тюркология», 1974, 1, стр. 14—16.

«Русская разговорная речь». Под ред. Е. А. Земской. — М., «Наука», 1973. 485 стр.

На смену частным наблюдениям над фиксированным диалогом литературных персонажей приходит фронтальное изучение записей живой повседневной речи. Именно такое исследование осуществлено коллективом авторов, руководимым Е. А. Земской. Несмотря на предварительный, как отмечают сами авторы, характер наблюдений и неизбежную фрагментарность охвата материала, перед нами фундаментальное описание практически всех важнейших аспектов объекта: охарактеризованы фонетическая система разговорной речи, ее морфология и синтаксис, специфически разговорные номинации и, наконец, паралингвистический аспект устного речевого общения — проблема жеста.

Уже в «Проспекте» Е. А. Земской содержались многие принципиальные положения, составившие в дальнейшем основу коллективного исследования [1]. Однако «Введение» (гл. I) рецензируемой книги, написанное Е. А. Земской при участии Л. А. Капанадзе и Е. В. Красильниковой, содержит более развернутое и обстоятельно аргументированное обоснование концепции объекта. Разговорной речью (РР) авторы называют непринужденную речь носителей литературного языка. Ее границы устанавливаются с помощью социолингвистических критериев. «Современное... состояние знаний о РР,— пишут авторы,— не позволяет построить определение, основанное на лингвистических данных» (стр. 6). В самом деле, лингвистическая специфика РР есть искомое — ожидаемый итог исследования, и только сведения экстралингвистического порядка — характеристика носителей языка и ситуаций, в которых обнаруживаются манифестанты РР, могут быть предварительно заданы.

Противополагая РР кодифицированному литературному языку (КЛЯ) в целом (стр. 9), авторы проводят между первой и вторым границу на основании трех экстралингвистических признаков, характеризующих РР: 1) неподготовленность речевого акта; 2) непринужденность речевого акта; 3) непосредственное участие говорящих в речевом акте. Наиболее существенным Е. А. Земская и ее соавторы считают второй признак. Непринужденность речевого акта создается тремя компонентами ситуации: отсутствие официальных отношений между говорящими (параметр: отношения); отсутствие установки на сообщение, имеющее официальный характер (параметр: установка), и отсутствие условий, нарушающих неофициальность обстановки (параметр: обстановка). Показано, что основным из трех названных параметров является первый: неофициальность отношений между участниками речевого акта определяет использование говорящим разговорных, а не кодифицированно-литературных форм речи.

Нельзя не согласиться с авторами, что многие широко обсуждаемые в специальной литературе признаки («компоненты») ситуации, создающие разновидности РР, не определяют сами по себе выбор КЛЯ или РР. На наш взгляд, авторами правильно подчеркнута необязательность для РР бытовой тематики; справедливо отмечена также недопустимость отождествления понятий «разговорный» и «устный»; убедительна полемика с О. Б. Сиротининой, считающей признак непринужденности, неофициальности РР второстепенным или вообще несущественным (стр. 14 и сл.). Авторы безусловно правы, утверждая, что устранение признака неофициальности приводит к устной неподготовленной официальной речи: непубличной (дипломатическая беседа, разговор подчиненного с вышестоящим лицом и т. п.) и публичной (выступление на собрании или ученом диспуте, ответ на экзамене и т. п.). Речь официальная максимально приближена по синтаксическому строению и используемой лексике к речи книжно-литературной, хотя, естественно, не копирует ее полностью. Поэтому из программы исследования авторами исключен текстовой материал, порожденный в тех социальных условиях, где языковая этика диктует говорящему особые, регламентированные традицией правила и нормы речевого поведения. «...оппозиция общественная сфера/частная сфера,— указывается на стр. 16,— соответствует разграничению КЛЯ и РР». И далее: «Если называть разговорной речью доклад о международном положении, научное выступление и т. д., то понятие РР теряет всякое содержание» (стр. 17). В итоге литературная РР отграничивается, с одной стороны, от устной официальной речи (публичной и непубличной) и, с другой стороны, от просторечия, т. е. явлений, находящихся за пределами литературного языка.

Одним из наиболее существенных и, несомненно, правильных тезисов является утверждение, что привычным термином «разговорная речь» фактически обозначается не речевой процесс, не акт речи, а «особая языковая система, которая имеет специфический набор языковых единиц и специфические законы их функционирования» (стр. 25). Описание РР как особой системы проводится авторами в аспекте ее сопоставления с КЛЯ под углом зрения изучения явлений синкретиз-

[1] «Русская разговорная речь. Проспект», М., 1968.

ма и расчлененности. Оппозиция «синкретизм/расчлененность» проецируется на все основные аспекты языковой системы; иллюстративные примеры явлений, относящихся к различным ее ярусам, демонстрируют эту оппозицию применительно к плану выражения и плану содержания, синтагматике и парадигматике.

«Введение» завершается описанием методов собирания и систематизации речевого материала.

Высоко оценивая теоретические построения в той их части, где определяются оптимальные границы РР и ее лингвистический статус, нельзя вместе с тем безоговорочно принять некоторые исходные допущения авторов.

Фундаментом их теории является презумпция реальной дискретности объекта, четкой отграниченности его от кодифицированного литературного языка. Подобного рода гипотеза представляется чересчур прямолинейной. Как и другие частные системы в рамках общей системы национального языка, РР обладает свойством потенциальной выделимости, но не фактической выделенности. Для вычленения разговорного «языка» (субъязыка) в качестве самодовлеющего объекта лингвистического описания имеются достаточные основания: разговорный субъязык материально и структурно отличен от субъязыков иных типов (ораторского, лекторского, официально-дипломатического и т. д.). Это, однако, не означает, что он представляет собой материально изолированную часть системы национального языка, не совпадающую ни в каких участках с другими частями общей системы. Напротив, и разговорный, и лекторский, и дипломатический, и любые другие субъязыки устного общения (как, впрочем, и субъязыки письменной сферы) неизбежно совмещены в некоторой части своих параметров — имеют общие области нейтральных единиц и различаются лишь своими периферийными областями.

Для авторов книги РР — это сплошь специфическая система, радикально отличающаяся всеми своими элементами от других систем. Между тем совершенно очевидно, что основные фонетические черты, важнейшая область морфемики, высокочастотная лексика, элементарные модели предложений — все это идентично в разных субъязыках. Специфику РР можно и следует избрать в качестве предмета описания, отсекая нейтральные единицы, как это делают авторы книги, но нет оснований считать ее системой, т. е. относительно замкнутой и самодовлеющей совокупностью единиц и отношений, поскольку она неполна, недостаточна для целей общения: говорящий не ограничивается только специфическими единицами; он вынужден использовать те нейтральные единицы, у которых не существует специфически разговорных эквивалентов. К сожалению, неспецифическая область пересечения субъязыков вообще выпадает из поля зрения авторов книги, если не считать упоминания о ней в главе «Номинация» (гл. V).

Дискуссионным, на наш взгляд, представляется также утверждение, что РР не может рассматриваться как функциональный стиль (стр. 20). Справедливо, что дифференциация стилей (согласно мнению И. И. Ковтуновой, на которое ссылаются авторы) возможна лишь в пределах одной системы. Однако соотношение «РР — КЛЯ» удовлетворяет этому условию, поскольку, как признают сами авторы, обе разновидности существуют в рамках единой системы русского литературного языка. С точки зрения получателя речи специфика РР точно таким же образом противополагается нейтральной языковой области, как и специфика тех функциональных разновидностей КЛЯ, которые авторы книги считают стилями.

Среди последующих глав, реализующих теоретические установки «Введения», наибольшей полнотой охвата структуры яруса характеризуется глава II («Фонетика»), написанная Г. А. Бариновой. Читатель почерпнет много нового из описания количественной и качественной редукции безударных гласных и особенно из описания деформации ударных гласных под влиянием консонантного окружения. Важное значение имеет устанавливаемая автором градация устойчивости согласных (стр. 95). Убедительно характеризует русскую речь констатация доминирующей роли консонантизма (стр. 40): действительно, русское слово вообще отличается некоторой вокалической неопределенностью. Весьма существенной, с другой стороны, является итоговая констатация (стр. 102): «Разговорные явления в области согласных уменьшают консонантную насыщенность потока речи»

Серьезный интерес представляют наблюдения Г. А. Бариновой над сильной редукцией отдельных форм и участков текста, вызываемой фактором частотности этих форм и участков в тематически стандартных условиях (стр. 116 и сл.). Важен в этой связи тезис о том, что «большая часть явлений разговорной фонетики легче и в первую очередь обнаруживается на частотном материале» (стр. 127).

К числу неточностей и спорных моментов можно отнести утверждение, что в КЛЯ существует тенденция к усложнению системы единиц консонантизма (стр. 128). В сравнении с чем обнаруживается это усложнение? Здесь автор явно меняет «систему координат», превращая разговорное произношение в эталон произношения. На стр. 129 указывается, что богатство разговорной интонации объясняется, прежде всего, устной формой РР. Однако совершенно очевидно, что устная форма — необходимый признак

всех типов речи, с которыми исследователь имеет право сопоставлять фонетический аспект РР: заведомо несостоятельна попытка сравнить фонетику РР с письменными формами КЛЯ, вообще лишенными интонационных характеристик до момента их устной реализации. Наконец, сомнение возникает и по поводу границ объекта описания. Хотя автор в отдельных случаях показывает различия норм КЛЯ и РР (например — в разделе об упрощении групп согласных), думается, что многие примеры редукции гласных и ослабления согласных демонстрируют, если и не орфоэпическую норму, то во всяком случае общую тенденцию русского произношения, проявляющуюся в любых (не только разговорных) условиях при ускорении темпа речи. Кстати, остается неясным, с какими фонетическими образцами КЛЯ сопоставлялись разговорные формы произношения.

В основе III главы («Морфология»), написанной Е. В. Красильниковой, лежит гипотеза о меньшей расчлененности некоторых участков морфологической системы РР по сравнению с КЛЯ. Материал этой главы иллюстрирует преобладание синкретизма в разговорной морфологии. Отмечается, в частности, полифункциональность морфологических единиц РР — широкая сфера функционирования именительного падежа, экспрессивное переносное употребление форм лица, времени и наклонения, преобразование семантической структуры, а отсюда и грамматической характеристики слов (примеры типа *два молока*, *два борща*). Из явлений расчлененности упоминаются наличие в РР звательной формы (*Пап! Тань!*) и бо́льшая, чем в КЛЯ, употребительность частиц.

Система морфологии РР исследуется на основе противопоставления имени глаголу; отмечается, что ввиду практического отсутствия в РР причастий и деепричастий в ней имеет место лишь противопоставление «инфинитив — личные формы». В РР широко распространены отличные от КЛЯ, использующего придаточные предложения, причастные и деепричастные обороты, формы сцепления двух предикативных конструкций: *Дайка вон около тебя палочка лежит*. Тенденция, порождающая подобные явления, удачно охарактеризована как экспансия личной формы глагола.

Е. В. Красильникова показывает, что в РР практически нет деепричастия как глагольной формы, выражающей зависимую предикацию: употребительны лишь структурно аналогичные деепричастию формы с отрицанием (*не заходя*, *не сворачивая*), формы с семантикой состояния (*лежа*, *сидя*) и перфектные формы от глаголов, выражающих идею перехода из одного состояния в другое. В целом глагольность деепричастий, как и описываемых далее причастных форм, в РР ослабевает. Причастия, в сущности, становятся прилагательными (стр. 178), Вероятно, в этом можно видеть проявление тенденции к упрощению структуры высказывания — паратаксис личных глагольных форм вместо гипотактического объединения основной и зависимой предикаций, поскольку пользование причастными и деепричастными оборотами в условиях русской флективности требует чрезмерных умственных усилий (ср. разрушающуюся на наших глазах систему склонения сложных числительных).

В выводах, заключающих описание глагольных форм, констатируется отсутствие в системе глагола противопоставления форм предикации и полупредикации, действительного и страдательного залогов. В РР не существует маркированных форм (страдательного залога, причастия и деепричастия); в ней, таким образом, меньший, чем в КЛЯ, морфологический код (стр. 194—195).

Автор в конце главы утверждает, что различия между разговорной и книжной речью представляют собой качественные различия между двумя системами. Цель этого заявления — подтвердить адекватность априорной характеристики РР как полностью своеобразной, отграниченной от КЛЯ системы. Однако качественные различия в принципе свойственны периферийным областям любых двух субъязыков даже в пределах КЛЯ.

Чрезвычайно богата материалом самая обширная IV глава книги — «Синтаксис». Объем главы соответствует значимости предмета: именно синтаксис (а не фонетический, морфологический и номинационный аспекты) создает основу специфики РР. Авторы главы (Е. Н. Ширяев, Е. А. Земская и Е. В. Красильникова), естественно, не стремились осветить синтаксический строй РР в целом, а сосредоточили внимание лишь на отдельных синтаксических и синтактико-морфологических проблемах. К числу наиболее существенных отличий синтаксиса РР от синтаксиса КЛЯ принадлежит функционирование в РР конструкций с предлогами и относительными местоимениями (*от кашля*, *в серой шубе*, *чем писать*) в качестве субстантивных членов — в позициях субъекта и объекта. Детально охарактеризованы разновидности именительного темы и другие функции именительного падежа, зависимый присубстантивный инфинитив (*Папе надо кресло сидеть*), анафорическая, указательная и поддерживающая функции местоимений. По-видимому, следовало упомянуть о «деколлоквиализации» некоторых конструкций, т. е. об утрате ими исключительно разговорной отнесенности. Таковы, например, предложения *У тебя есть где ночевать*? (стр. 231) и *Это там / где метро* (стр. 235). Думается, что пример на стр. 224 *Книжный / я зайду* может быть интерпретиро-

ван (благодаря наличию паузы) не как не имеющий аналогий в КЛЯ, а как сочетание номинативного и двусоставного глагольного предложений — тем более, что сами авторы подчеркивают (стр. 246) конситуативную обусловленность этой конструкции (говорящий видит магазин).

Интересны наблюдения над незамещенными синтаксическими позициями, грамматические и семантические характеристики которых определяются системой языка, т. е. не зависят от контекста и ситуации. Авторы правильно подчеркивают языковую, системную природу незамещенности (стр. 290—291) и справедливо указывают, что возможность «перебивать» системное значение нулевого глагола конситуативно обусловленными значениями (*это вы сардельку*? со значением *выкинули*, а не *едите*) составляет важную черту конструкций РР. Использование нулевых глаголов-предикатов обусловлено не только синтаксическими, но и лексическими системными отношениями. Чрезвычайно специфичен тип высказывания, образуемый двумя предикативными конструкциями, первая из которых имеет незамещенную синтаксическую позицию, а вторая служит необходимым для появления незамещенной позиции контекстом (*А у нас янтарь / брошечка одна сколько стоит*). Характерны для РР также связь свободного соединения (*Я в больницу зуб болит еду*) и высказывания с синтаксической интерференцией (*Они повернули к Сретенке им идти надо было*).

В разделе, посвященном средствам актуализации высказываний, снова подчеркивается отнесенность средств актуализации и правил их применения к языку, а не к речи. Наряду с интонационной расчлененностью, не являющейся здесь предметом специального рассмотрения, для РР характерны лексические актуализаторы (местоимения, слова *да / нет*) и высказывания с повторами.

Порядок слов в РР рассматривается в его отношении к свойству проективности фразы. Установлено кардинальное отличие разговорных высказываний от высказываний КЛЯ: непроективность фразы в РР представляет собой не исключение, как в КЛЯ, а массовое явление. Признак «непроективности высказывания характеризует глубинные особенности синтаксиса РР» (стр. 393). Показательно, что авторы признают употребительность в РР также и проективных высказываний с контактным расположением членов синтаксических групп, однако объясняют этот факт не общностью (совмещенностью) нейтральных областей РР и КЛЯ, а «большой вариативностью РР» (там же).

Высказывания, состоящие из двух предикативных конструкций (сложные предложения), обнаруживают в РР высокую степень расчлененности: для РР характерны постпозиция и интерпозиция союза, интерпозиция главной предикативной конструкции по отношению к зависимой, взаимопроникновение предикативных конструкций (*Ты мусор слышала когда увозили*?).

Глава V «Номинация» (автор Л. А. Капанадзе) содержит рассмотрение вопросов ономатологии разговорной речи. Основная задача главы — выяснить, как даются обозначения предметам и понятиям в РР, каким типам, моделям слов здесь отдается предпочтение (стр. 403).

К числу разговорных номинаций, демонстрирующих синкретизм РР, относятся семантические стяжения способом аффиксальной деривации — замены атрибутивного сочетания существительным, образуемым от основы мотивирующего прилагательного посредством суффиксов *-к(а)* и *-лк(а)*: *вечерка*, *сгущенка*, *тушенка*, *попутка* и т. п. (слово *пятилетка*, упоминаемое в списке, уже в начале 30-х годов являлось не разговорным, а вполне официальным наименованием пятилетнего плана). Аналогом конденсатов типа *сгущенка* являются «субстантиваты», вычленившиеся из определительных словосочетаний посредством элиминирования существительного — *наши институтские*, *девушка в зеленом* и т. п. Автором отмечены продуктивные типы семантического стяжения способом устранения определяемого и замены словосочетания существительным-спецификатором — *диплом* (вм. *дипломная работа*), *декрет* (вм. *декретный отпуск*) и путем устранения определяющего в стереотипных ситуациях — *совет* (вм. *ученый совет*), *язык* (вм. *иностранный язык*).

В сфере глагольных сочетаний наблюдается безобъектное употребление глаголов, требующих в кодифицированном языке обязательной реализации правой валентности: *окончить* (завершить обучение), *сдать* (экзамены, зачеты). Показаны широкие возможности метонимических переносов: *Острая боль / идите / уже свободно* (обращение в поликлинике). В особую разновидность выделены «имена ситуации» (*У нас картошка не бывает // мы студентов на помидоры посылаем*), вероятно, представляющие собой, вопреки мнению Л. А. Капанадзе, примеры многоступенчатой метонимии, логически абсурдной в силу резкой разобщенности семантических планов «номината» и «номинанда».

Тенденции к расчлененности в сфере языковых обозначений предметов речи проявляются, прежде всего, в уже упоминавшихся глагольных номинациях — *На балконе сохнет сними пожалуйста*; *Поставь из чего пить* и т. д. Специфической особенностью РР является широкое распространение дублетных обозначений обыденных вещей, официальные наименования которых либо вообще неизвестны говорящим, либо игнорируются ими (*за-*

жимки, *держалки*, *цеплялки* вм. *прищепки*); использование прономинализированных существительных (*вещь*, *штука*, *дело*, *история*), слов-«губок» (*времянка*, *держалка*), слов-эрзацев (*родинка* вм. *пятнышко* и т. п.).

В целом разговорную ономатологию характеризуют нестационарность наименования, наличие многих наименований у одной реалии и использование одного наименования для обозначения разных реалий, использование окказионализмов, создаваемых автоматически по определенным моделям, частое употребление предикативных структур в номинативной функции. Метафорическое переосмысление, в отличие от метонимического, РР не свойственно.

Характерно, что лишь в этой главе вполне определенно сказано (и проиллюстрировано схемами), что большая часть словаря РР содержит лексемы, совпадающие с соответствующими лексемами КЛЯ и что, таким образом, словари РР и КЛЯ пересекаются (стр. 406).

В книгу включен в качестве приложения раздел «Жест в разговорной речи», написанный Л. А. Капанадзе. Раздел содержит классификацию жестов (жесты незнаковые — ритмические и эмоциональные; жесты-знаки — указательные, изобразительные, жесты-символы) и описание их функциональной значимости в процессе коммуникации.

В заключение следует оценить книгу как большую удачу коллектива авторов: это наиболее полное из существующих описаний подлинно живой повседневной речи, осуществленное на оригинальных и последовательных, если и не во всем бесспорных, теоретических основаниях,— исследование, вскрывшее ряд существенных закономерностей функционирования некодифицированной сферы русского языка.

Ю. М. Скребнев

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1976

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

ПО ПОВОДУ ОДНОЙ РЕЦЕНЗИИ

В голландском журнале «Linguistics» (№ 143 от 1 января 1975 г.) появилась рецензия Дж. Фишмана и Я. Аллони-Файнберга на мою книгу об американской социолингвистике [1]. В этой книге я ставил перед собой задачу познакомить советского читателя с теоретическими установками, проблематикой и методами исследований американских социолингвистов. Полагая, что работы американских социолингвистов представляют интерес для советского читателя и заслуживают серьезного рассмотрения, я в то же время считал необходимым дать соответствующую оценку их социально-философской ориентации с позиций марксистской философии.

Последнее обстоятельство вызвало явное неудовольствие у рецензентов. С явным неодобрением они цитируют высказываемое в книге мнение о том, что использование достижений социологии, опирающейся на марксистскую методологию, является необходимым условием для плодотворного развития социолингвистического направления в советском языкознании. Более того, они пытаются доказать зарубежному читателю, что автор, придерживающийся марксистских взглядов, может дать лишь априорно отрицательную оценку исследований зарубежных ученых, если последние не разделяют этих взглядов. Для того чтобы внушить читателю, что марксистская ориентация несовместима с объективной оценкой научных достоинств той или иной работы, Фишман и Аллони-Файнберг используют следующие приемы:

1. Читателю предлагается подборка произвольно выхваченных из контекста отрицательных эпитетов, якобы относящихся к тому или иному американскому социолингвисту или к американской социолингвистике в целом. Так, например, рецензенты утверждают, что я на стр. 19 обвиняю американскую социолингвистику в том, что она «исключительно ограничена». На самом деле на этой странице речь идет не о социолингвистике, а о структурной антропологии, переносящей формальные приемы лингвистического анализа на изучение культур. При этом замечание о чрезвычайной ограниченности относится к тематике работ, а не к самим ученым. Исследование Лабова, пишут рецензенты, критикуется за то, что оно приводит к выводу о хаотичности и непредсказуемости речевого поведения информантов. На самом деле на стр. 44, на которую ссылаются рецензенты, говорится о том, что к такому выводу приводит не работа Лабова, а тех исследователей, которые изучали речевое поведение, ограничиваясь рамками идиолекта. Фишману как американскому социолингвисту должно быть известно, что Лабов как раз всегда возражал против этого. Абзац, на который ссылаются рецензенты, представляет собой не критику Лабова, а изложение его собственных взглядов.

2. В тех случаях, когда рецензенты не могут не констатировать положительное отношение автора книги к той или иной работе, они делают все возможное, чтобы свести на нет положительную оценку. Так, например, утверждается, что в работе Хаймса единственный положительный момент, с моей точки зрения,— это то, что он сознает необходимость в новых данных для изучения языка в ситуативном контексте. Рецензенты почему-то умалчивают о том, что рассматриваемые в книге работы Хаймса об этнографии коммуникации получают в целом положительную оценку как несомненный шаг вперед «по сравнению со взглядом на язык, культуру и общество как на изоморфные структуры речевого и неречевого поведения» (стр. 30). Вводит читателя в заблуждение и «ироническое» замечание рецензентов о том, что Гамперц «удостоился» похвал лишь за то, что он критикует других американских ученых.

3. Рецензенты приписывают автору отсутствующие в книге высказывания — например, о том, что американские социолингвисты заимствуют методы из «таких нерелевантных областей, как психология и этнография», что Хаймс обвиняется в поверхностности, что незнание советских

[1] А. Д. Швейцер, Вопросы социологии языка в современной американской лингвистике, Л., 1971.

работ лишает американских ученых возможности выработать методологически четкую концепцию национального языка (последнее даже заключено в кавычки и выдается за цитату).

4. В ряде случаев взгляды автора излагаются в искаженном виде. Например, в моей работе приводится мнение американского социолингвиста Хаймса, считающего, что если бы американское структурное языкознание согласилось на более широкое понимание своего предмета, то предметную область психолингвистики, социолингвистики и этнолингвистики можно было бы считать просто лингвистикой. Далее указывается, что изъятие социолингвистических проблем из компетенции языкознания лишило бы эту науку одного из важных разделов. В изложении рецензентов это звучит так: американскую лингвистику из-за ее ограниченности пришлось разделить на ряд «дефисных» или «гибридных» областей, которые в СССР входят во всеобъемлющую науку о языке. Примеров подобного reductio ad absurdum в рецензии немало.

5. Рецензенты пытаются внушить зарубежному читателю, что моей книге присущ запальчивый, обвинительный и догматический тон. Для того чтобы создать такое впечатление, в рецензии как монотонный рефрен повторяется: «автор обрушивается», «автор обвиняет», «автор негодует». В беспочвенности этих утверждений легко убедиться, прочитав мою книгу.

Между тем, рецензенты сводят все содержание книги к набору категорических оценок, главным образом отрицательных и изредка положительных. Их не интересуют ни аргументация, ни взгляды автора по существу (этому посвящено лишь одно предложение), ни информационная ценность книги. Любой случай даже частного несогласия они выдают за уничтожающую критику, за попытку навязать американским ученым марксистскую концепцию (так, положительная оценка советскими учеными некоторых взглядов Хаймса, с оговоркой о том, что не следует преувеличивать близость его взглядов к марксистским, изображается как обвинение в отсутствии марксистского понимания связей между языком и обществом).

В заключение рецензенты обращаются с призывом к сотрудничеству между советскими и американскими социолингвистами, предлагая некоторые конкретные формы такого сотрудничества. Остается непонятным, как увязать такой призыв с данной рецензией, цели которой никак не отвечают задачам научного сотрудничества.

Что касается конкретных мероприятий сотрудничества, предлагаемых рецензентами, то нельзя не отметить, что в этом отношении советские ученые далеко опередили своих американских коллег. Помимо ряда статей и докладов, у нас опубликован специальный выпуск сборника «Новое в лингвистике» (вып. VII, М. 1975), целиком состоящий из статей и монографий американских социолингвистов. Авторы рецензии упрекают меня в привнесении социально-философских и идеологических оценок. Думается, что оценка любого научного направления предполагает анализ его идейных и социально-философских основ. Это, в особенности, относится к социолингвистике, основной целью которой является исследование проблемы «язык и общество». Призыв к отрешению от идеологии звучит весьма странно, когда он исходит от Дж. Фишмана, который в своих собственных работах отнюдь не считает нужным скрывать свои идеологические и политические установки, что, в частности, находит свое проявление в явно тенденциозном освещении вопросов языковой политики в СССР. Да и в данной рецензии идеологическая позиция авторов выражена достаточно недвусмысленно.

Авторы рецензии заканчивают свой отзыв призывом к преодолению «лингвистической, философской и методологической пропасти», разделяющей советских и американских социолингвистов. Если их призыв следует понимать как попытку идеологического «наведения мостов», то следует откровенно сказать, что их ждет полное разочарование. Советские ученые, в том числе и социолингвисты, твердо стоят на марксистско-ленинских методологических позициях и не собираются идти ни на какие компромиссы.

Вместе с тем следует подчеркнуть, что, оценивая работы своих зарубежных коллег с позиций марксистской философии, советские ученые всегда отдавали должное всему ценному и подлинно научному, что содержится в их работах.

Советские социолингвисты активно и плодотворно сотрудничают со своими коллегами за рубежом, в том числе и в США. Думается, что одной из форм такого сотрудничества может быть и научная дискуссия, разумеется, при том условии, что она ведется с соблюдением элементарной добросовестности.

А. Д. Швейцер

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1976

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

В Москве в Институте славяноведения и балканистики и Институте русского языка АН СССР 3—6 ноября 1975 г. проходила конференция по проблемам славянской исторической лексикологии и лексикографии.

Тезисы докладов участников конференции были опубликованы заранее (М., 1975) в специальном издании: «Проблемы славянской исторической лексикологии и лексикографии. Тезисы конференции», вып. 1—2. Славянская историческая лексикология (вып. 1 — Книжная и народная лексика в истории славянских литературных языков; вып. 2 — Семантический анализ древнеславянского слова); вып. 3—4. Теория и практика исторической лексикографии.

Открывая конференцию, чл.-корр. АН СССР О. Н. Трубачев (Москва) подчеркнул, что проблемы славянской, в том числе восточнославянской, лексикологии и лексикографии занимают почетное место в проблематике международных славистических съездов. Как можно судить по опубликованным тезисам, конференция представит собой смотр интересных лексикологических исследований и наблюдений и «самых разнообразных лексикографических начинаний».

Обсуждение теоретических проблем славянской исторической лексикографии началось с определения границ самого жанра (О. Н. Трубачев «Историческая и этимологическая лексикография»), определения признаков его ключевой единицы [Ю. С. Сорокин (Ленинград) «Что такое исторический словарь?»], основных понятий [Н. И. Толстой (Москва) «К проблеме значения слова в славянской исторической лексикологии и лексикографии», Г. А. Богатова (Москва) «История слова — лексикологический и лексикографический аспект описания»].

«Суждения о неуклонной эволюции этимологии в сторону истории» побудили О. Н. Трубачева посвятить свой доклад значению этимологии в разработке и освещении истории языка, гипотезе и реконструкции как основным оперативным понятиям этимологии и этимологической лексикографии. «Действующая сейчас в языкознании антитеза история — этимология есть прямой отголосок... устаревшего противопоставления история — доистория. В целом по-прежнему история понимается языковедами как документированная эволюция. Между тем, чисто внешний характер письменной фиксации в отношении эволюции языка, а также, как правило, относительно поздний характер введения письма заставляют со всей серьезностью, отнюдь не отвлеченно-формально поставить вопрос о том, что этимология слова — это есть его история по преимуществу». История древнейшей части лексики «не только начинается до первых письменных текстов, но и завершается часто во всем существенном до их появления». Во время, засвидетельствованное письменными источниками, для многих слов уже наступает период относительного покоя. «Не нужно строить очень больших надежд на получение полных данных по истории древних слов от наших исторических словарей», предлагается задача «посмотреть и проверить, что же остается из собственно истории на долю исторического словаря».

В докладе Ю. С. Сорокина дана широкая трактовка самого понятия «исторический словарь». Оно должно опираться не столько «на особый объект (прошлое языковое состояние)», сколько на «сам подход к объекту: выдвижение идеи последовательного и закономерного изменения и развития». Подобное требование, предъявляемое к описанию в каждом историческом словаре (на материале прошлых эпох, и даже современности), преломляется различно в зависимости от того, выделяет ли словарь для описания одно историческое языковое состояние или он охватывает несколько таких состояний (ряд звеньев диахронической цепи). Этот момент формирует существенное противопоставление в кругу собственно исторических словарей».

Значительная часть докладов и была посвящена типам словарей исторического жанра, информации о состоянии работы над словарями.

В докладе председателя комиссии по лексикологии и лексикографии при Международном комитете славистов Ш. Пециара (Братислава) «Некоторые проблемы исторических словарей» отмечается, что определение границ периода «зависит от количества и характера дошедших до нас письменных памятников...» и «прежде всего от того, с какого времени начинается литературная традиция...». «Staročeský slovník» обрабатывает словарный состав чешского языка от первых памятников письменности до конца XV в. В отличие от него «Slovenský historický slovník» включает материал второй половины XV—XVIII вв.

Исторический словарь болгарского языка должен отразить лексику древнеболгарских памятников, начиная с Зографского и Маринского кодексов, Супрасльской рукописи, включить лексику памятников среднеболгарского и новоболгарского периодов до эпохи болгарского возрождения XVIII в. Д. Иванова-Мирчева (София) информировала совещание, что наряду с работой над проспектом Исторического словаря болгарского языка, охватывающего очень большой период, коллектив Сектора истории болгарского языка занят подготовкой однотомного словаря на материале древнеболгарских памятников. Справочный аппарат словарной статьи этого словаря даст сведения о распространенности лексемы, фонетических вариантах, этимологии, соответствиях в современных болгарских диалектах. «Таким образом,— говорит Д. Иванова-Мирчева,— мы надеемся подчеркнуть глубокую генетическую и историческую связь между современным болгарским языком и его диалектами, с одной стороны, и древнеболгарским — с другой».

В Москве и Ленинграде готовится несколько типов словарей исторического жанра.

Чл.-корр. АН СССР Р. И. Аванесов (Москва) выступил с большим докладом о «Словаре древнерусского языка XI—XIV вв.». Как отметил Р. И. Аванесов, коллектив сотрудников Института русского языка приступил к созданию картотеки Словаря в 1958 г. За 10 лет была создана уникальная двухмиллионная картотека на основе полной расписки древнерусских памятников XI—XIV вв. самых разных жанров: от записей и приписок писцов на полях рукописей до летописей и церковно-философских сочинений. В Словарь войдет свыше 35 тыс. слов. В настоящее время готово к печати 5 томов (по 1700—1800 слов в каждом). Авторская работа выполнена по 12 томам (из 20).

От известных «Материалов для словаря древнерусского языка» Срезневского Словарь существенно отличается строгостью отбора русских памятников, хронологией, принципами построения словарных статей. В Словарь входит около 40% слов, отсутствующих в «Материалах», отмечено большее количество употреблений слов, богаче фразеология, шире система значений многих слов. В общей сложности в словнике Словаря XI—XIV вв. представлено не менее 10—12 тыс. слов, отсутствующих в «Материалах» Срезневского. Словарь XI—XIV вв. при обязательной иллюстрации каждого слова дает сведения о количестве цитат на каждое слово в картотеке.

Словарь древнерусского языка (XI—XIV вв.) — первая часть в системе словарей древних эпох восточнославянских языков. Его естественным продолжением могут служить не только староукраинский и старобелорусский словари, но и «Словарь русского языка XI—XVII вв.», так как основное богатство последнего — материал памятников XV—XVII вв. Все вместе эти словари составляют систему исторических словарей восточнославянских языков.

На материалы Картотеки ДРС XI—XVII вв. опирается «Словарь русского языка XI—XVII вв.», три выпуска которого (*А*, *Б*, *В*) вышли в 1975—1976 гг. «Словарь русского языка XI—XVII вв.» задуман как общедоступное справочное пособие для широкого круга специалистов, работающих с памятниками письменности разных периодов. Словарь призван также — как отмечается в докладе Г. А. Богатовой — инвентаризировать лексику русской письменности, начало литературной традиции которой акад. Д. С. Лихачев связывает с XI в. В Словаре будет около 70 тыс. слов (в среднем по 4 тыс. в каждом выпуске). Сейчас в издательство «Наука» сдан четвертый выпуск (*Г — Д*). В Институте русского языка АН СССР продолжается работа по редактированию (*Е — О*), обсуждению подготовленных материалов (*П — Р*) и составлению словарных статей (*С — Т*).

Одно из заседаний конференции было посвящено пятидесятилетию Картотеки ДРС, ее основателям и руководителям акад. А. И. Соболевскому, М. Н. Сперанскому, акад. УССР Б. А. Ларину. С 1928 года с Картотекой ДРС связана научная деятельность гл. редактора «Словаря русского языка XI—XVII вв.» чл.-корр. АН СССР С. Г. Бархударова. В докладах и выступлениях говорилось о перспективах пополнения картотеки (С. П. Мордовина, Г. Я. Романова), ее составе (Г. П. Смолицкая, Г. Ф. Одинцов), о значении ее материалов для изучения истории феодальных отношений (А. С. Орешников), этимологических исследований (В. А. Меркулова), исследований диалектной лексики (О. Н. Мораховская), о значении Картотек ДРС XI—XVII вв. и СДР XI—XIV вв. для историко-лексикографической работы (В. Л. Виноградова).

Общим проблемам исторической лексикографии и частным вопросам подготовки «Словаря русского языка XVIII в.», первый том которого (*А — В*) утвержден к печати, посвящены доклады Ю. С. Сорокина («Что такое исторический словарь?»), Л. Л. Кутиной («Лексическая сочетаемость в историческом словаре и ее роль в описании семантики и словоупотребления»), И. М. Мальцевой («Толкование слов в Словаре русского языка XVIII в.»), Е. Э. Биржаковой («Лексикографические источники и их использование в историческом словаре»). В. В. Замкова сделала доклад об источниках словарей русского языка XVIII в. и их специфике. Г. М. Милейковская (Варшава) — об исторической перспективе при описании значения слова в Словарях Академии Российской (1789—1822).

На Украине (Львов) закончено составление «Словаря древнеукраинского языка» и начата работа по собиранию материалов для «Словаря староукраинского языка XVI—XVII вв.». Об этом сообщил Д. Г. Гринчишин в докладе — «О типе „Словаря древнеукраинского языка XIV—XV вв.“». На материале Словаря XIV—XV вв. построен доклад В. Л. Карповой «Словосочетание как объект исторической лексикографии».

В Белоруссии (Минск) в 1973 г. приступили к составлению „Словаря старобелорусского языка“. О работе над этим словарем говорили в своих докладах А. И. Журавский («Основные принципы подготовки „Словаря старобелорусского языка“» и Т. Г. Казачонок («Принципы построения словарной статьи в историческом словаре»).

Созданию словаря отдельного памятника с учетом всех его списков, некоторым проблемам этой трудоемкой, но перспективной работы был посвящен доклад Л. П. Жуковской (Москва) «Словарь памятника письменности в его списках». Такие словари особенно необходимы для памятников, материал которых не вошел в составляющиеся исторические словари. Между тем многие памятники сохранились в сотнях списков, существенно отличающихся по лексике.

Разновидностью лексикографического труда стало составление словоуказателей к памятникам письменности. Как правило, эта работа сопровождает издание памятника письменности [Р. В. Бахтурина (Москва) «Словоуказатели к изданиям древнерусских памятников письменности различных эпох», Е. В. Чешко (Москва) «Некоторые проблемы словоуказателя к изданию среднеболгарских текстов»], иногда же имеет вполне самостоятельный характер. В Ленинграде предполагается создать картотеки-словоуказатели к памятникам XV в. (О. В. Творогов «Словоуказатели как вид лексикографического труда»). Выбор памятников этого периода диктуется его исключительной важностью в истории русского языка.

На конференции широко обсуждались вопросы лексикографической практики.

Л. Л. Кутина (Ленинград) в докладе о лексической сочетаемости и ее роли в описании семантики и словоупотребления показала, что фиксация уровня употребления для исторического словаря является принципиальным требованием. Противопоставление языковых состояний в плане семантики и словоупотребления не всегда осуществляется противопоставлением набора значений. Более глубокое противопоставление лежит в сфере употребления слова, связи его с другими словами (сочетательные свойства), внутрисловных и междусловных отношений. Примером может служить язык XVIII в., выделение которого в особый период в истории русского языка можно обосновать, сопоставляя типы употреблений слов (даже при общности значений).

Т. А. Сумникова (Москва) посвятила свой доклад вопросу обозначения подчинительных связей глагола в историческом словаре. В историческом словаре, построенном на текстах разновременной письменности, должны быть показаны сильные подчинительные связи и их вариативность.

Как показала в своем докладе Н. В. Чурмаева (Москва), для такого исторического словаря как «Словарь древнерусского языка XI—XIV вв.», картотека которого выполнена по принципу полной расписки памятников, возможно и нужно выносить в заглавное слово форму обстоятельственного наречия тогда, когда 1) в памятниках нет имени в свободном, ненаречном, употреблении; 2) в функции обстоятельства выступают формы, которые не соответствуют парадигме имени, как представляется она по данным памятников того же времени; 3) значение наречия непосредственно не соотносится ни с одним из засвидетельствованных значений имени.

Выступление В. Ф. Дубровиной (Москва) было посвящено роли греческих оригиналов древнерусских памятников. Понимание текста древнерусского памятника часто бывает затруднено из-за дословности перевода, ошибочной передачи отдельных мест, искажения текста в результате переписки. Это осложняет лексикографическую обработку ряда древнерусских слов, а иногда делает ее практически невозможной без текста оригинала. Подведение греческих параллелей к слову в тексте является завершением большой и сложной работы над древнерусским и греческим текстами.

Рассмотрению места потенциального и окказионального слова в исторической

лексикографии был посвящен доклад Э. Г. Шимчук (Москва); о проблемах филологической достоверности слова в словарях говорил в своем докладе И. Г. Добродомов (Москва), о вариантах слова сообщила О. А. Черепанова (Ленинград). Р. П. Рогожникова (Ленинград) остановилась на проблемах механизации лексикографических работ. Применение электрографических аппаратов не только убыстряет работу, но гарантирует точность, идентичность с текстом. Это исключает ошибки и освобождает от проверки цитат по источнику. По тезисам доклада Н. Д. Русинова (Горький) о региональных словарях старорусской письменности выступил С. И. Котков (Москва) с предложением централизации этого вида работы ввиду ее сложности и необходимости проведения единых принципов описания, с предложением публикации памятников на местах как материалов, необходимых для словарной работы.

На конференции были прослушаны доклады и сообщения по исторической лексикологии славянских языков.

Р. М. Цейтлин (Москва) посвятила свое выступление перспективам изучения лексики старославянских памятников. Более столетия палеослависты работают над изучением кирилло-мефодиевских переводов, очень много изучено лексикологами. Однако старославянская лексикология как раздел науки еще только формируется. Системное описание лексики старославянских памятников осложняется ограниченностью источников и отсутствием единой лексической нормы. Создание старославянской лексикологии предполагает большую предварительную лексикографическую и лексикологическую работу: лексико-грамматический анализ слов, исследование типов производных слов, анализ слов, объединенных общим семантическим показателем, восстановление потенциально возможных слов. Эта работа требует своих методов исследования и тщательного анализа сохранившихся слов.

М. Куцала (Краков) в докладе «Развивающиеся и исчезающие категории слов (на примерах польского языка)» показал некоторые группы слов, характеризующиеся определенной структурой, которые отмирали или развивались в истории польского языка. На это влияли десигнаты: их исчезновение или возникновение, изменения в общественных отношениях, семантические и семантико-грамматические факторы. В лексической системе языка, как и в грамматической, очевидна тенденция к синтетической и аналитической номинации. Результатам изучения разных групп лексики и лексического состава отдельных памятников или нескольких памятников одного жанра были посвящены выступления Г. В. Судакова (Вологда), Н. Я. Сердобинцева (Саратов), Л. П. Рупосовой (Москва), Г. Я. Томилиной (Нежин), О. С. Мжельской (Ленинград).

Попытка разобраться в составе лексики старославянского языка в генетическом плане относится к 30-м годам. Как показал А. С. Львов (Москва) в докладе «Изучение праславянского слоя старославянской лексики», этот анализ нужен для ответа на вопрос, как шло становление древнего общеславянского литературного письменного языка, сыгравшего исключительно важную роль в культурном развитии славян. Автор приводит данные по количеству праславянской (общеславянской) лексики, калек и искусственно созданных слов и заимствований. О критериях выявления лексического состава раннего древнеславянского языка говорил в своем сообщении М. М. Копыленко (Алма-Ата).

При отнесении ранних славянских переводных произведений к восточнославянским А. И. Соболевский, Н. Н. Дурново и другие ученые опирались на лексические данные,— показателем восточнославянского перевода были слова, которые, по их мнению, не могли быть известны южнославянским языкам. К. И. Ходова (Москва) внесла существенные коррективы в этот круг слов, отметив, что некоторые из них есть в южнославянских памятниках (*вабити* «манить», *гобино* «изобилие», *льгота*, *муха* и др.). Этого же вопроса касается Д. С. Ищенко (Тирасполь) в связи с переводами Огласительных поучений Феодора Студита.

Проблема соотношения книжной и народной лексики в восточнославянских языках разных эпох и территорий нашла отражение в нескольких докладах, сообщениях и прениях. О русской и церковнославянской лексике в смоленской деловой письменности второй половины XVI—XVIII вв. говорилось в выступлении Е. Н. Борисовой (Смоленск), о книжной и народной лексике в основных списках «Повести временных лет» — в докладе Л. М. Устюговой (Оренбург), о книжнославянской лексике в старобелорусском языке — в сообщениях А. Н. Булыко (Минск) и др.

Доклад Т. Н. Кандауровой был посвящен характеру взаимодействия *trat-* и *torot-*лексем в древнерусских памятниках XI—XIV вв. Особого внимания заслуживает возможность появления в памятниках XI—XIV вв. *torot-*лексем в текстах высокой патетики и по отношению к предметам явно конфессиональной отнесенности (указываются условия, при которых эта возможность проявляется).

Типологический аспект изучения проблемы соотношения книжной и народной лексики для начального периода становления современных славянских литера-

турных языков намечен в интересном докладе Е. И. Деминой (Москва).

Л. С. Ковтун (Ленинград) в докладе о славянизмах и инославянских словах в русских азбуковниках подчеркнула особую важность для исторической лексикологии и лексикографии использования материала русских азбуковников. Анализ помет при толкуемых словах дает возможность определить слово языка, в славянском переводе которого оно встретилось. Это проливает свет и на литературные связи Руси с славянским Югом и славянским Западом.

Самое большое количество докладов на лексикологической секции было посвящено проблеме значения слова в славянской исторической лексикологии и лексикографии. На сложность ее в теоретическом и практическом аспекте указал в своем докладе Н. И. Толстой «К проблеме значения слова в славянской исторической лексикологии и лексикографии». Определение «исторического значения слова» принципиально отлично от определения значения слова современного языка и его этимологического значения. Это основная задача исторической семантики. Докладчик указал на ряд мер, которые могут приблизить лингвиста к его цели — «познать и определить семантику языка как форму мышлений и представлений... об окружающем мире и вселенной».

В. В. Нимчук (Киев) указывает на возможность при определении значения слова использования данных диалектов современных славянских языков. Е. М. Верещагин (Москва) предложил при определении синонимов, антонимов и лексико-тематических групп использовать греческие соответствия слову, поскольку славянские канонические памятники являются переводом с греческого. Р. Эккерт (Лейпциг) сделал сообщение «О роли сложных слов и соотносительных с ними сочетаний при определении семантики древнеславянского слова (на примере слов с корнем *дѣл-*)».

Вопрос о семантических взаимоотношениях системно противопоставленных церковнославянских и русских форм в истории русского языка Б. А. Успенский (Москва) предлагает решать в связи со спецификой языковой ситуации в Древней Руси, которую докладчик охарактеризовал как «ситуацию церковнославянско-русской диглоссии». Докладчик наметил основные этапы в эволюции семантических взаимоотношений церковнославянских и русских форм в истории русского языка. О методике исследования слов с противоположными значениями в исторической семасиологии говорилось в выступлении О. И. Смирновой (Москва).

Важность этимологического анализа при реконструкции значения «темных» редких слов в памятниках письменности показала на нескольких примерах Ж. Ж. Варбот (Москва), подчеркнув, что это лишь одна из нескольких взаимно контролирующих операций, наряду с изучением контекста, списков текстов (в том числе оригиналов для переводных памятников), синтагматическим и словообразовательным анализом, а также изучением внешнелингвистических данных.

В конференции приняло участие более 100 ученых из разных городов Советского Союза и других стран, прослушано 60 докладов и сообщений. Среди выступавших в прениях были акад. К. Горалек (ЧССР), М. Куцала, Г. Милейковская (ПНР), Р. Эккерт (ГДР). Участники конференции приняли резолюцию, в которой отмечаются успехи и недостатки в исследовательской работе в области исторической лексикологии и лексикографии. На конференции было отмечено, что одной из насущных задач является необходимость скорейшего издания исторических словарей и улучшение полиграфической базы этих изданий. Вынужденное упрощение древней графики может снизить научную ценность таких изданий как «Словарь древнерусского языка XI—XIV вв.», который построен в значительной мере на материалах редких рукописей.

В резолюции конференции отмечается необходимость изыскания возможностей для форсирования сроков издания всех подготовленных многотомных словарей и ускорения публикаций с тем, чтобы приблизить сроки завершения их выпуска. Желательно и в дальнейшем, например, издавать более одного выпуска «Словаря русского языка XI—XVII вв.» в год, так как все издание рассчитано на 18—20 выпусков.

С целью координации деятельности лексикологов и лексикографов разных республиканских институтов участники конференции просят Совет по лексикологии и лексикографии разработать перспективный календарный план конференций и совещаний по проблемам исторической лексикологии и лексикографии, а также наладить издание серии работ по теоретическим вопросам исторической лексикографии.

Г. А. Богатова, Н. В. Чурмаева
(Москва)

CONTENTS

Articles: F. P. Filin (Moscow), F. P. Sorokoletov, K. S. Gorbačevič (Leningrad). The new edition of the «Dictionary of modern literary Russian» (in seventeen volumes); **Discussions:** B. N. Golovin (Gorkij). Linguistic terms and linguistic ideas; A. V. Desnickaja (Leningrad). Some problems of balkanistics in connection with the study of the Carpathian linguistic area; M. A. Kumaxov (Moscow). Theory of genealogical tree and problems of differentiation of the West Caucasian languages; A. K. Matvejev (Sverdlovsk). Etymologization of substratum toponyms and patterning of toponymic system components; J. I. Roslovec. On the secondary members of the sentence and their syntactic functions; L. S. Barxudarov (Moscow). The problem of the sentence as viewed by different grammatical schools; **Materials and notes:** O. D. Meškov (Moscow). Notes on composite homonymy; G. A. Otaina (Vladivostok). Words denoting quality in the Nivkh language; **From the history of science:** R. R. Gelgardt (Kalinin). Some general linguistic ideas and folkloristic interests of Acad. N. Y. Marr: a scientific critique; **Reviews; Scientific life.**

SOMMAIRE

Articles: F. P. Filin (Moscou), F. P. Sorokoletov, K. S. Gorbačevič (Léningrad). À propos de la nouvelle édition du «Dictionnaire du russe littéraire moderne» (en 17 volumes); **Discussions:** B. N. Golovin (Gorki) Terminologie linguistique et idées linguistiques; A. V. Desnickaja (Léningrad). Problèmes de linguistique balkanique liés à l'étude de l'aire linguistique carpatique; M. A. Kumaxov (Moscou). Théorie de l'arbre généalogique et problèmes de différentiation des langues caucasiques occidentales; A. K. Matvéev (Sverdlovsk). L'établissement de l'étymologie des toponymes venus du substrat et la modélisation des composants des systèmes toponymiques; Y. I. Roslovec. À propos des termes secondaires de la proposition et de leurs fonctions syntaxiques; L. S. Barxudarov (Moscou). Le problème de la proposition dans différentes écoles grammaticales; **Matériaux et notices:** O. D. Meškov (Moscou). Remarques sur l'homonymie des mots composés; G. A. Otaina (Vladivostok). Mots exprimant la qualité en nivkh; **Histoire de la science:** R. R. Gelgardt (Kalinin). Quelques idées linguistiques et intérêts folkloristiques de l'acad. N. J. Marr à la lumière de la critique scientifique; **Comptes-rendus; Vie scientifique.**

Технический редактор *Т. Н. Сенченко*

Сдано в набор 1/III-1976 г. Т-09023 Подписано к печати 7/V-1976 г. Тираж 7230 экз.
Зак. 326 Формат бумаги 70×108¹/₁₆ Усл. печ. л. 13,3 Бум. л. 4³/₄ Уч.-изд. л. 14,6

2-я типография издательства «Наука». Москва, Шубинский пер., 10